



Пьер
Клоссовски

*Ба-
фо-
мет*

Pierre
Klossowski

*Le Ba-
pho-
met*



Programme Pouchkine

*Издание осуществлено в рамках
программы "Пушкин" при
поддержке Министерства
иностранных дел Франции
и посольства Франции в России.*

*Ouvrage réalisé dans le cadre du
programme d'aide à la publication
Pouchkine avec le soutien du Ministère
des Affaires Etrangères Français et de
l'Ambassade de France en Russie.*

PIERRE KLOSSOWSKI

LE BAPHOMET

Mercure de France

1965

ПЬЕР КЛОССОВСКИ
БАФОМЕТ

Составление и перевод В. Лапицкого

Академический проект
2002

Редактор *Б. Останин*



9 785733 102443

ISBN 5-7331-0244-6

- © P. Klossowski, «Le Baphomet»,
Mercure de France, 1965
- © P. Klossowski, «Le Bain de Diane»,
Gallimard, 1980
- © M. Foucault, «La prosé d'Acteon»,
extrait de l'ouvrage Dits et Ecrits,
Editions Gallimard, 1994.
- © В. Лапицкий, перевод, послесловие 2002
- © Академический проект, 2002

СОДЕРЖАНИЕ

Бафомет	7
<i>Замечания и разъяснения к “Бафомету”</i>	153
Купание Дианы	159
<i>Разъяснения</i>	227
<i>Мишель Фуко. Проза Актеона</i>	237
<i>Виктор Лапицкий. Многоликий мономан</i>	257

БАΦΟΜΕΤ

Мишелю Фуко

ПРОЛОГ

Валентина де Сен-Ви, владелица Палансе, чьи земли соседствовали с резиденцией Командора ордена тамплиеров, уже давно с вождением заглядывалась на это процветающее имение.

Брат ее прадедушки по отцовской линии Жан во исполнение данного обета с тем большей легкостью передал по возвращении из последнего крестового похода две трети своих земель в дар ордену Храма, что сам был обделен потомством. Поскольку статьи дарственной обязывали братьев-рыцарей обеспечивать защиту поместья Сен-Ви, отошедшего в наследство его племянницам, получившим тем самым право зваться де Палансе, на протяжении более чем века, пока тамплиеры занимали *господствующий* фьеф, возделанный, расширенный, укрепленный их собственными руками, все земли, прилегающие к соседнему поместью, перешли под юрисдикцию Командора. И вот, если владелец Палансе — как и его тесть — никоим образом не намеревался оспаривать это право в свою пользу, ибо никогда не появлялся в этом доставшемся ему в качестве приданого имении, то вернувшаяся сюда после смерти супруга мадам де Палансе не могла, как с рабством, примириться с тем, на ее взгляд, неправомерным покровительством, которое Храм распространил на ее земли.

Выйдя пятнадцати лет от роду замуж за Гуго де Палансе, она так и осталась бездетной. Ее муж был убит при Куртре, и, оказавшись вдовой во главе ог-

ромных владений, она и не подумала о вторичном замужестве. Это была привлекательная молодая женщина, миловидная лицом, но черствая, холодная и скупая. И если между делом она усыновила своего воспитанника и племянника, малолетнего сира де Бозеана, сироту, в собственность которого должны были перейти обширные поместья, то лишь для того, чтобы получать доходы и с них.

При дворе у нее были свои люди, и поэтому мадам де Палансе оказалась в числе тех немногих, кто в королевстве догадывался о намерениях, вынашиваемых Филиппом в отношении ордена Храма. В безрассудной надежде получить обратно принесенное ее дедом в дар — на самом деле наибольшие шансы присвоить эту неотъемлемую собственность Церкви были у соперничающего с Храмовниками ордена Иоаннитов-госпитальеров — мадам де Палансе, с целью договориться о возможной секуляризации, попыталась прощупать Гийома де Ногаре. Сей зловещий советник Филиппа тут же понял, какую выгоду сумеет извлечь из этой женщины, ради наживы способной на все. Он лицемерно пообещал ей либо возврат земель в случае отчуждения владений Храма, либо, в виде компенсации, выкуп из хранимой в Сен-Ви казны Командора, если ей удастся предоставить в его распоряжение неопровержимые для Храма улики против нравственности Ордена, способные подкрепить приближающееся судебное разбирательство.

Узнав таким образом о главном пункте обвинения, жертвами которого должны были стать братья-рыцари, мадам де Палансе обратила взгляды на своего племянника Ожье. Она не испытывала к этому едва достигшему четырнадцати лет прелестному ребенку ни малейшей привязанности — тщание, с коим она с виду подходила к его воспитанию, диктовалась единственно возможностью присвоить унаследованное им имение. Но стоило ей понять, что для достижения ее химерических целей многое может зависеть от ее воспитанника, как он предстал перед ней в неожидан-

ном свете: когда ее захлестнуло всепоглощающее стремление к собственной выгоде, выбранное для достижения оной средство разожгло в этой бесчувственной натуре не запоздалую нежность, но порок. Поскольку она имела самое смутное представление о той гнусности, каковая, в глазах эпохи, похоже, коренилась скорее в чернокнижии, нежели в сластолюбии, для начала она решила посоветоваться с тем из двух наставников своего племянника, которого предпочитала сама. Другой, бургундский священник и капеллан Палансе, позже утверждал, что именно он и явился виновником всех последующих злоключений. Этот человек (одни утверждают, что он был родом из Германии и звали его Вальдхаузер, другие — что из Сицилии и звали его фра Сильвано), сведущий и в астрологии, и в лечебных свойствах растений, приобрел слепое доверие Мадам де Палансе не только сбывшимися предсказаниями, но и опытами, доказавшими действительность его познаний: так, например, он, как говорили, способен был издали воспроизвести в умах образ человека, которого перед этим погрузил в сон; подвергнув своего ученика подобным опытам, он мог бы оказывать на юного Ожье неодолимое воздействие.

К своей тетушке и опекунше — которую многие сочли бы весьма и весьма соблазнительной, хотя ей и перевалило уже за сорок — юный де Бозеан по воле своих только-только пробудившихся чувств испытывал смутную страсть, для выражения каковой его робость не оставляла иных возможностей, помимо непоколебимого повиновения и преданности.

Недостаток симпатии мадам де Палансе в отношении своего племянника мог смешиваться в его глазах со своего рода строгостью, коей требовали приличия и обычаи тех суровых времен: убедившись в совершенно особом искушении, которому этот отрок, по заявлениям все того же фра Сильвано, способен был подвергать других мужчин, она, поскольку именно на такое средство и намекал низкий Ногаре, сочла, что пришло время не столь строго блюсти дис-

танцию и выказать чуть больше приветливости: этого будет вполне достаточно, чтобы юноша, с наивностью польстившись на многообещающие ласки, воспламенился в своем любовном рвении и без долгих раздумий принял бы тот образ действий, который ему собирались предписать.

Утверждается также, будто сей астролог предсказал Мадам де Палансе, что ее племянник так *никогда* и не возмужает, а сама она сменит пол. Она страстно желала, чтобы первое предсказание сбылось, а второе истолковала в том смысле, что в один прекрасный день окажется благодаря своему богатству столь всемогущей, что это навсегда отобьет у ее кузенов охоту идти ей наперекор. Правда, когда эти предсказания и в самом деле исполнились, она в своем положении уже не могла в этом убедиться.

Сильвано был достаточно ловок, чтобы отговорить ее поначалу от вступления на этот путь: «Вам надлежит знать, Мадам, — сказал он, — что любой прорицатель — непременно и обманщик. Все, что он скажет в переносном смысле, будет принято буквально, если так подкажет честолюбие; вот почему, отказываясь принимать его заявления буквально, мы делаем из лжеца пророка».

В эту позднюю эпоху Святого Ордена — ставшего в своем процветании и беспроцентным заимодавцем, странствующим и оседлым, и королевским казначеем — братья-рыцари, помимо того что располагали оруженосцами и послушниками, подчиняющимися монастырскому уставу, имели право принимать к себе в личное услужение — будь то для нужд охоты или путешествий — молодых благородных мирян; так что постепенно институт пажей, сколь бы сей обычай ни противоречил изначальному уставу Ордена, утвердился во многих Командорствах.

Сир Жак де Моле, Великий Магистр Храма, не потрудился запретить подобную практику; ведь мо-

лодые люди, набираемые на двенадцатом-тринадцатом году жизни, миновав подобающий щитоносцу возраст, либо становились послушниками и приносили обет, тем самым дополняя до нужного число рыцарей Храма, либо возвращались к мирской жизни, но даже и тогда, благодаря установившимся между братьями-рыцарями и их пажами связям создавалась духовная близость между Орденом и многими семьями крупных феодалов. При поступлении на службу подростки-миряне клялись своей честью ни при каких обстоятельствах не разглашать то, свидетелем чего им доведется стать в лоне Братства.

Командор Сен-Ви, хотя и мог бы с легкостью запретить у себя в крепости этот обычай, к нему более или менее притерпелся. Заурядного происхождения, строгих нравов, то ли по скромности, то ли из политических соображений, то ли из чистой порядочности, он и не подумал перечить самым знатным и родовитым братьям-рыцарям, пользуясь тем предлогом, что сам не ищет от подобного обыкновения никаких выгод; про себя же он дожидался возможности провести реформу: если когда-нибудь разразится скандал вроде тех, о которых уже ходили слухи, удобнее было бы списать его на счет этого чуждого монастырскому устройству обычая, чем подвергать дальнейшему сомнению изначальный устав Святого Ордена.

В году тысяча триста седьмом, за несколько недель до того, как Филипп повелел арестовать тамплиеров по всему королевству, ничтожное поначалу дело заронило раздор в лоно Командорства Сен-Ви.

Командор заметил, что вот уже два дня, как брат Ги, сир де Мальвуази, не появлялся ни на службах, ни во время трапез, и удивился тому, что означенный брат не испросил дозволения уединиться в келье, ежели его побуждала к тому болезнь или иная причина, и что никто из братьев-рыцарей не мог или не желал разъяснить ему неподобающее поведение вышеупо-

мянутаго брата, но тут, после вечерни на третий день, двое братьев-послушников сообщили ему следующее: в начале недели, по их словам, брат де Мальвуази встретился с братом Лаиром де Шансо в рефектории братьев-послушников, дабы сыграть партию в шахматы, и свидетелям их игры, насколько они, держась в известном отдалении, могли судить по репликам вышеозначенных рыцарей, вскоре стало ясно, что ставкой в игре был вовсе не какой-либо ценный предмет или сумма денег, но состоящий на службе у брата Лаира юный Ожье, сир де Бозеан, собственной персоной; когда же оный брат оказался в проигрыше, они расслышали, как он объявил победившему рыцарю, что в соответствии с договором уступает ему своего пажа.

На следующий день юный сир Ожье медлил предстать перед своим новым господином, и брат де Мальвуази, потеряв терпение от того, что отрок не явился не только к первой молитве, но и к шестому часу, отправился к брату Лаиру и первым делом обвинил того в уклонении от уплаты своего проигрыша. Брат Лаир пытался его успокоить, но брат де Мальвуази, увидев, с каким высокомерием он относится к по сути своей достаточно легкомысленному делу, лишь мягко упрекая в том, что недолжный гнев помешал ему накануне принять участие в службах и в общих трапезах, впал в еще большую ярость: он даже заявил, будто во время недавнего завтрака сир Ожье по наущению брата Лаира подлил ему снотворного снадобья; наверное, этот последний не считает его достойным произвести юного Бозеана в шитоносцы! И пока он упорствовал, требуя удовлетворения за это оскорбление, из соседних келий появилось, чтобы вмешаться, несколько привлеченных криками и топотом рыцарей; брат Мальвуази немедля удалился; тем не менее брат де Шансо принялся расспрашивать собравшихся о том, что произошло тем временем с сиром Бозеаном; поскольку, по его словам, он не сомневался, что отрок не преминул бы ему сообщить, испытывая он

хоть какую-нибудь неприязнь к тому, чтобы принять участие в столь безобидной шутке; но затем, после тщетных поисков во всех трех укреплениях, вышеозначенный брат Лаир сразу после вечерни приказал оседлать своего коня, и с тех пор ни он, ни его щитоносец в крепость не возвращались.

Колокола как раз отзвонили к погашению огней, когда третий брат-послушник стал настойчиво домогаться, чтобы его в сей поздний час выслушал Командор; он поведал, что за день до спора, вскоре после партии в шахматы, брат Мальвуази, окликнув в коридоре юного сира де Бозеана, велел ему следовать за собою в келью; на что вышеозначенный Бозеан, доселе носивший черное с белым одеяние пажей Храма, осмелился возразить вышеназванному брату-рыцарю, что он не состоит у него на службе и выше его по происхождению, и если когда-нибудь кто-то из Бозеанов преклонит колена перед кем-нибудь из Мальвуази, то разве что по собственной воле; но, поскольку он знает его как друга своего господина, то готов честнейшим образом удовлетворить его по какому бы то ни было поводу, если только брат-рыцарь учтиво его об этом попросит. Брат-послушник добавил, что, сочтя для себя благоразумным удалиться — из опасения, что рыцарь позовет его в свидетели дерзостных речей сира Ожье или потребует оказать содействие, если захочет вдруг выместить на подростке свой гнев, как то обычно бывало с оруженосцами и послушниками, подававшими ему повод к недовольству, — он все же успел увидеть, как брат Мальвуази оглядывается по сторонам; после чего, уверившись, что в проходе клуатра, где они оба находились, их никто не видит, склонился перед сиром де Бозеаном и, схватив правую руку отрока, поцеловал ее со смирением, которое брат-послушник счел, в силу его неуместности, притворным. Что позже юный Бозеан появлялся повсюду в крепости облаченным в ливрею с гербами Мальвуази. Что он был среди виночерпиев во время вечерней трапезы. Что вскоре после повечерия под

тем предлогом, что ему нужно доставить наружу послание брата Мальвуази, он явился к проходу во внешнем ряду укреплений. Что стоящий на карауле, увидев, что он на лошади, но не имеет пропуска от Командора, отказался опустить подъемный мост. Что вооруженные стражники оттеснили его за внутренний ряд укреплений и что в этот самый момент юный Бозеан громко вскричал, что у него есть и другой путь, чтобы выбраться из этого «Храмовища Маммоны, где тебя принуждают служить двум господам».

Командор был человеком суровым и недалеким, но насколько он пребывал в неведении об учениях, издавна передававшихся в лоне Ордена, блюдя единственно букву устава и не вникая в секреты, пестовавшиеся отдельными группами братьев, настолько же выказывал себя бдительным и коварным, присматривая единственно за внешними проявлениями всякий раз, когда дело касалось негласного нарушения исходного распорядка.

Как только Командор завершил свое предварительное расследование, хотя ныне и присно он знал куда больше, ничем не выдавая того, что донесли его собственные источники, — ибо на самом деле завистливая озлобленность братьев-послушников по отношению к пажам служила ему ценнейшей опорой, — дабы прервать молчание, явно предумышленно поддерживаемое вокруг него касательно этих незначительных деталей, он по выходе из-за стола довел до общего сведения, что отныне никто из братьев-рыцарей не обладает более чрезмерной доселе привилегией содержать в его цитадели иных пажей помимо щитоносцев и послушников, право на которых даровано им уставом. И что юные мирыне, которые проживали там и не домогались посвящения в Орден, будут вскорости удалены.

Так как это решение вызвало у братьев-рыцарей всплеск эмоций, Командор собрал капитул и в присутствии прибывшего тем временем Смотрителя Ордена изложил на нем недавнее прискорбное происшествие,

не преминув пожаловаться на то неведение, в котором его держали. Смущенные присутствием Смотрителя, явившегося для передачи всей полноты полномочий Командору прямо от Великого Магистра, большинство братьев присоединилось к его решению.

Уверившись, что заставил уважать предписываемую уставом дисциплину, Командор, ко всеобщему удивлению, велел привести юного сира де Бозеана, облаченного в ливрею де Мальвуази, и потребовал от него повторить то, что тот ему уже поведал.

Достаточно смущенный тем, что оказался в присутствии капитула, и заметив сверх того простершегося *in venia** у ног Командора брата де Мальвуази, юноша запинаясь пробормотал, что у него никогда не было жалоб ни на кого из братства, на что по знаку Командора сир Ожье обнажили ягодицы, на которых любой мог различить следы недавнего бичевания. Со стороны большинства братьев поднялся ропот, тогда как остальные в молчании склонили головы или отвернулись.

Смотритель Ордена, с почтением обратившись к юному сир де Бозеану, призвал его не колеблясь назвать виновника, если не пособника, этого деяния среди братьев и объявить, по доброй ли воле претерпел он его или был к тому принуждаем, чтобы по крайней мере можно было снять обвинение с брата де Мальвуази.

Убедившись, что сир Ожье упорствует в молчании, Командор встал со своего места и, направившись к юноше, взял его за руку и надел ему на палец кольцо — после чего, не говоря ни слова, вновь уселся. Покуда все онемели от удивления, а юный паж, покраснев и потупив взор, тем не менее не пошевелился, по-прежнему не без некоторой развязности подбоченясь одной рукою, Командор внезапно бросил к его ногам белую рясу. Когда же сир Ожье не потрудился ее поднять, по знаку Командора к нему приблизился солдат, который поднял рясу и положил

* Покаянно (*лат.*).

руку на плечо де Бозеана. Командор чуть наклонился вперед, опираясь о подлокотник кресла. Сир Ожье преклонил колени перед Командором и Смотрителем Ордена и склонился перед капитулом. Его отвели в застенок. Одни подумали в этот момент, что, передав ему кольцо и бросив к его ногам белую рясу, Командор дал понять, что безмолвно признает за ним статус щитоносца и тем самым распространяет свое правосудие на личность благородного молодого мирянина. Другие сочли это за жест порицания в адрес тех братьев, которые меж собой ввели сира де Бозеана в ранг щитоносца.

Далее означенный Командор велел брату де Мальвуази подняться и предписал ему в качестве покаяния оставаться у себя в келье — во-первых, за то, что тот использовал в качестве ставки в игре персону отрока, прекрасно зная, что сама игра эта запрещена; во-вторых, за глумление над долготерпением Командора, выразившееся в том, что брат-рыцарь заставил отрока сменить черное одеяние пажа Храма на ливрею с гербами де Мальвуази.

Когда оба наказанных покинули с этим капитул, Командор объявил, что молодой сир Ожье так или иначе лгал; но что на самом деле то ли с братом де Мальвуази, то ли с братом де Шансо его связывает некая тайна. Что Бозеан, не сумев покинуть крепость, ко времени погашения огней сам пришел к нему с жалобой на насилие, жертвой которого он якобы стал. Что в тот момент он утверждал, будто брат де Мальвуази, заманив его под каким-то предлогом в свою келью, учинил ему столь же внезапную, сколь и жестокую порку и не выпускал до тех пор, пока отрок не облачился в ливрею с гербами этого брата-рыцаря; посему он умолял, чтобы его отослали обратно в Палансе. Так как он боялся возвращаться к своему новому хозяину, или по крайней мере делал вид, что боится, и поскольку юный паж в равной степени отказывался возобновить свое служение брату Лаиру, — продолжал Командор, — он сам укрыл его на ночь в соседней келье, и не подумав о том, чтобы выпустить его

из крепости после столь весомых обвинений. Чему, между прочим, был поутру очень рад, узнав от брата-послушника, что вышеозначенный сир де Бозеан сам побудил выпороть себя прежнего оруженосца брата Мальвуази; оный же, отныне щитоносец брата де Буа-Гильбера, предался этому с таким рвением, что сир Ожье, догадавшемуся о его сильнейшей ревности, пришлось, чтобы приостановить подобную месть, подарить ему браслет. Братья-рыцари не могли удержаться от смеха, когда Командор уточнил, что этот оруженосец закован в кандалы, на что он заметил, что в их общине наверняка веет дух зла, коли такая прискорбная деталь могла вызвать веселье у собравшихся на капитул братьев. Командор добавил, что не хочет углубляться в случившееся с сиром де Бозеаном и двумя братьями-рыцарями: ко всему прочему, он отнюдь не убежден в пресловутой шахматной партии, о которой простодушно поведали братья-послушники; но, коли его хотели одурачить, одурачить в свою очередь может и он. За последние часы у него почти не осталось сомнений, что по Командорству рыщет измена. Ибо и в самом деле, если бы сии мрачные события разворачивались именно так, как о них рассказал ему сир Ожье, ничто не помешало бы ему при желании в любой момент их предотвратить, а не, все обдумав, покинуть крепость; почему же он предпочел подчиниться прихотям брата де Мальвуази, а потом попытался ускользнуть, вместо того чтобы при всех испросить право немедленно удалиться из крепости? По тем же самым причинам, кои повлекли за собой его безмолвие перед капитулом. Виновен сей отрок во лжи или не виновен, в его намерения входило предать гласности не только реальные, но и вымышленные беспорядки, насаждаемые здесь братьями де Мальвуази и де Шансо. И в довершение он добавил, что последний был обнаружен в весьма плачевном состоянии, и, когда вновь восстановилось спокойствие, немедленно призвал брата де Буа-Гильбера и попросил его изложить капитулу то опасное предприятие, ко-

торое позволило вернуть вышеупомянутого брата-рыцаря живым.

Брат де Буа-Гильбер сообщил в нескольких словах, что, когда среди ночи щитоносец брата Лаира в одиночку возвратился в крепость, он был едва жив: в Палансе, едва переводя дыхание поведал он, королевские приставы пытаются его господина.

Буа-Гильбер добавил, что, тотчас же оцепив все выходы из соседнего имения силами пятидесяти сарацин-наймитов (присутствие которых хранилось Командором в глубочайшей тайне), он во главе своего эскадрона ворвался в Палансе: обнаружив, что на подступах к усадьбе оборона толком не предусмотрена (ибо, согласно статьям дарственной, покровительство ей оказывал сам Командор), он не преминул опрокинуть и перебить жандармов бальи, после чего проник внутрь имения; что, будучи вынужден прибегнуть к насилию, он счел правильным побыстрее довести его до конца; что в сопровождении десятка своих людей он в конце концов схватил мадам де Палансе, которую застал, когда она держала совет с двумя посланниками Ногаре; что, захватив их, он вырвал брата Лаира из рук пыточных дел мастеров; что, сея среди окрестных подворий огонь и ужас, ему удалось доставить обратно более или менее помятыми и благородную даму, и двух уважаемых господ королевских посланцев, и, насколько ему позволил его эскорт, всех остальных востребованных Командором лиц; те же, кто ускользнул от него живым, несомненно поднимут тревогу на тысячу лье вокруг. И посему следует ожидать, что командорство Сен-Ви рано или поздно будет обложено сенешальством бальи. На этом брат де Буа-Гильбер смолк и отер чело.

Так как известие об этом набеге, предпринятом под покровом ночи без ведома большинства из них, скорее повергло братьев в растерянность, нежели вызвало одобрение, невзирая даже на то, что речь шла о жизни одного из них, а с другой стороны, в своем внешне надежном спокойствии они никак не подо-

зревали, что Королевский Совет способен строить им козни, которые своей изменностью подвигнут Командора на столь крайние меры, — этот последний заявил, что у него были на то достаточные основания: он отнюдь не хотел открыто восставать против королевской власти, какими бы дурными ни были слухи, доведенные до его сведения Смотрителем по просьбе Великого Магистра, он призывает братьев-рыцарей воспользоваться отсрочкой, предоставленной течением событий, дабы стереть мельчайший след лихоимства или постыдных деяний в лоне как Командорства, так и всего Храма. И если Святой Орден в один из ближайших дней будет призван отчитаться перед Папой за свое славное прошлое, он обязан загодя опровергнуть любые клеветнические наветы; даже если бы это плачевное происшествие и не приключилось, Королевскому Совету достало бы изобретательности, чтобы сфабриковать нечто непредвиденное, так что нужно тем паче радоваться, что скандал был вовремя потушен в лоне Командорства и в согласии с уставом Ордена, чтобы каждый приготовился предстать с чистой совестью перед правосудием Церкви, безупречными защитниками которой продолжают оставаться рыцари. Коли такова воля Великого Магистра, то ее надо уважать.

Распустив капитул, Командор попросил остаться Смотрителя и Сенешаля, чтобы вместе выслушать исповедь брата Лаира де Шансо: последний с трудом вошел в залу, поддерживаемый двумя щитоносцами, поскольку палач в Палансе с тщанием искалечил ему ноги. Командор спросил, какого рода признание пытались у него вырвать; брат отвечал, что королевский посланник стремился изобличить его в похищении младого сира де Бозеана, в котором обвинила его мадам де Палансе, он же, как мог, отрицал, что отрок, коего, как он признал, по согласию благородной дамы выбрал себе в пажу, заточен в крепости; что, напротив, обеспокоенный исчезновением юноши, он искренне счел, будто тот вернулся в Палансе;

и что не явился бы туда сам, если бы не надеялся его отыскать. На что королевский посланник, отбросив как лживые подобные утверждения, предал его пыткам: те продолжались до тех пор, пока на исходе своих сил брат-рыцарь не надумал ответить, что в этот день его привела в Палансе завязывающаяся любовная связь. И на этом подобии признания ему предоставили небольшую передышку; он умирал от стыда, когда в имение наконец ворвался брат де Буа-Гильбер.

Командор обратился к брату Лаиру с несколькими словами утешения, призывая покаяться и ни в коем случае не терять надежду на Божественное милосердие, тем более что в подобных крайних обстоятельствах он предпочел покрыть себя бесчестием, но не подтвердить позорящие Святой Орден наветы. И с этим он передал слово Смотрителю.

На просьбу коего со всей честностью и откровенностью поведать, не сама ли мадам де Палансе предложила ему услуги своего племянника, брат Лаир отвечивал, что нет. Прежде чем признаться, когда и как он его встретил и по какой причине привлек к себе в качестве пажа, брат де Шансо, неоднократно выказывая признаки раскаяния и проливая слезы по поводу необузданных беспорядков, причиной коих он стал, раз за разом кляня себя за то, что навлек несчастье на голову того, кого все еще считал невинным, сообщил, что в тот год на протяжении всей Страстной недели его ночь за ночью неотступно преследовало во сне одно и то же видение, хотя он и крепко спал: ему снилось, что он преследует в лесу оленя, а затем зверь вдруг останавливался и поворачивал к нему свою голову: хоть ее и венчали оленьи рога, под ними виднелось юношеское лицо; сквозь раздираемый своей собак мех появлялось обнаженное тело отрока; все это снилось ему, если он не ошибается, одну-две первые ночи; в дальнейшем эти видения разворачивались куда быстрее, чем поначалу, само сновидение, казалось ему, видоизменялось, ибо отрок то скрывался в каком-то логовище, то затаивался в чашобе или

прятался за стволом дерева, и из-за преграды медленно восставали олени рога: наконец, за ними выдвигалось лицо, и отрок обеими руками показывал ему нос. Таким был его сон. Здесь Смотритель прервал брата-рыцаря вопросом, испытывал ли тот какое-либо удовольствие, пока все это ему снилось; брат Лаир отвечал, что сновидение его раздражало и что принужденный раз за разом его видеть, он начал находить в этом раздражении удовольствие, хотя и ощущал, что оно преисполнено печали. И, продолжая свой рассказ, поведал, что, когда пришла его очередь объезжать верховым дозором границы владения Палансе, огибая леса у Сен-Ви, он внезапно наткнулся на богато одетого юного отрока, который, по-видимому, гулял в лесу и любезно его поприветствовал; в изумлении узнав юношу, много раз дразнившего его в вышеупомянутом сне, — так ему показалось, ибо, хотя он и не мог подробно описать черты юноши, его тем не менее тут же обуяло знакомое ощущение, — брат-рыцарь спросил, не родственник ли он хозяйки Палансе или просто находится у нее в услужении; что означенный юноша объявил, что его зовут Ожье, сир де Бозеан, и куда он находится под опекой своей тетушки, госпожи этих мест; что, пока они беседовали, сир де Бозеан, лаская и оглаживая коня брата Лайра, заметил над одной из его бабок омерзительную опухоль, которую конюхи в крепости отчаялись вылечить; что, когда сир Ожье предложил испробовать на этом нарыве пластырь своего собственного изготовления, брат-рыцарь согласился и, посадив юношу на круп коня, отправился с ним в сторону Палансе; что за время пути молодой Бозеан выказал массу познаний, которыми он, похоже, обладал в отношении как лечебных свойств произраставших в округе трав, так и разнообразных пород птиц, выращиваемых, по его словам, им в вольере, — повергнув тем самым брата-рыцаря в изумление; что пластырь в дальнейшем принес несомненную пользу; что во время пребывания в Палансе, отдавая дань почтения благород-

ной даме, он многожды восхвалял образованность ее племянника; что он не удержался от намека, сколь счастлив был бы располагать столь ученым и любезным отроком, достигшим подобающего щитоносцу возраста; что он дошел до того, что обратился к ней с соответствующей просьбой; что хозяйка Палансе категорически ему отказала, ссылаясь на слабое здоровье отрока, что показалось брату-рыцарю весьма сомнительным, поскольку на первый взгляд он счел юношу вполне сформировавшимся и от природы крепким. Что владелица Палансе уступила ему лишь во время следующего свидания, проявив даже известную предупредительность и выделив двух скакунов из своей конюшни, которых отрок с большой сноровкой и привел за собой в день своего вступления в Командорство.

На вопрос Смотрителя Ордена, правда ли, что во время некоторых поездок сир де Бозеан не пользовался своей лошадью, а располагался на крупе коня брата де Лаира, а иногда даже (как утверждали братья-послушники) вышеозначенный сир Ожье располагался между холкой и седлом коня своего господина, брат Лаир заметил, что это было самое удобное положение, чтобы беседовать между собой, как у них вошло в привычку во время прогулок.

На это Командор велел Сенешалю увести брата де Шансо и, оставшись наедине со Смотрителем Ордена, заявил ему, что какие бы события ни случились в ближайшем будущем, никто не посмеет сказать, будто славное древо Святого Ордена принесло дурные плоды: они будут заблаговременно отсечены. Смотритель не сумел полностью скрыть свои чувства: но поскольку он явился передать Командору от Великого Магистра всю полноту власти, то ли из-за усталости, то ли с безнадежностью оценивая положение Святого Ордена, он промолчал, показав тем самым, что внутри крепости за судьбы своих братьев по-прежнему отвечает единственно Командор.

Не успел Смотритель Ордена отпустить Командора, как брат де Буа-Гильбер объявил, что войска се-

нешальства обложили леса Палансе и Сен-Ви; всадники бальи, подойдя на почтительное расстояние к стенам Командорства, без каких бы то ни было заявлений отступили; что по приказу Командора все имеющиеся в наличии силы размещены на укреплениях, а немногочисленные братья патрулируют территорию за рвом. День так без столкновений и закончился; ибо, как стало известно позднее, двадцать второго сентября этого года¹ все бальи в королевстве получили приказ оставаться в ожидании до рассвета тринадцатого октября; так что бальи из Б. не только не побеспокоил Командорство Сен-Ви после налета рыцарей де Буа-Гильбера на Палансе, но ограничился тем, что оповестил Командора, что банда мародеров разграбила имение и захватила мадам де Палансе, вынудив его занять вышеозначенную местность. И посему на следующий день, каковому выпало быть тридцатым сентября, Смотритель без каких-либо помех вернулся в парижскую резиденцию Ордена.

Командор тем не менее расценил — какие бы козни ни строил бальи, — что часы его Командорства сочтены; поэтому после погашения огней на этот пятый день, дабы сия ночь не прошла так же, как предыдущая, он начал писать секретный отчет, предназначенный сиру Жаку де Моле, Великому Магистру Храма, и, завершив его ко времени заутрени, с легким сердцем отправился на службу.

Ибо на самом деле вечером накануне — когда он решил держать при себе юного сира де Бозеана, — отведя примерно часом ранее для сна юноше соседнюю келью, перед тем как отправиться на отдых, хотя

¹ Подготовка расследования посланниками Королевского Совета отдельных частных дел против тамплиеров, подобных замышленному мадам де Палансе, свидетельствует о предварительной стадии намеченной Филиппом общей операции против Храма; если бы брат Лаир остался в руках своих мучителей, его признания были бы обнародованы после одновременного ареста всех тамплиеров, целью которого было поставить Папу перед свершившимся фактом.

все возможности ускользнуть и были заранее пресечены, он решил в последний раз убедиться, что отрок отошел ко сну; разглядывая и вправду безмятежно спящего юношу, он заметил подвешенную к его расстегнутому поясу заржавевшую связку ключей; он изучил их и, забрав у спящего, вызвал к себе одного из братьев-послушников, которому задал вопрос: к каким замочным скважинам в дверях комнат, стальных шкафов, молелен или подземелий крепости подходят эти ключи. Тогда, умоляя Командора не называть его имени, если ему по случайности придет в голову сослаться на его сведения, послушник рассказал, что днем, перед вечерней, садовники видели брата де Мальвуази рядом с башней, прозываемой Башней Раздумий, которая возвышалась в западном углу между первым и вторым поясами укреплений; что в это время к нему присоединился сир де Бозеан, все еще облаченный в черное одеяние пажа Храма (что, казалось бы, противоречило предшествующим показаниям); что оба они вошли в выходящую на огороды небольшую дверь в основании башни, за которой ступеньки вели вниз, в коридор среднего погреба. Справа же при этом оставалась небольшая, довольно широкая, но очень низкая дверь; на протяжении многих лет она стояла запертой, и никому не приходило в голову пытаться ее открыть или взломать. Однако незадолго до ужина по пути к хранившимся в подвале бочкам вышеозначенный послушник с удивлением заметил, что дверь сия приоткрыта: движимый любопытством, куда она ведет, он толкнул ее и, шагнув вперед, обнаружил ведущую наверх узкую винтовую лестницу-улитку; он начал по ней взбираться и, дважды обогнув центральную опору, примерно на четвертом лестничном пролете вынырнул на уровне плит, мостивших пол обширной молельни, представлявшей собою ротонду с высоким сводчатым потолком, дневной свет в которую попадал единственно через три амбразуры в выходящей на огороды стене, так как через витражи пробитого со стороны крепости внут-

ренного окна виднелась какая-то пустая галерея. В молельне возвышался каменный алтарь, венчаемый лишенным образа Спасителя распятием; перед алтарем на подставке догорали два факела; на алтаре же стояла дарохранительница; рассеянно преодолевая последние ступени, послушник споткнулся о незаметный рычаг; в то же мгновение дарохранительница открылась и перед ним предстала сделанная из золота детская головка; сверкающий камень зрачка в обрамлении эмалевого глазного белка следовал взглядом за малейшими движениями брата, каковой отступил на шаг — когда ко всему прочему увидел, как безмолвно шевелятся губы этой головы, — дарохранительница тут же закрылась. Напуганный тем, что увидел, он устремился было к выходу, когда заметил возвышающийся напротив трон, на котором была распростерта какая-то длинная и при этом узкая в плечах ряса, по размеру подходящая мальчику-хористу, но из тонкого льняного полотна, но изукрашенная вышитыми золотой нитью причудливыми изображениями. Сомневаясь, не показывал ли брат де Мальвуази юному сиру де Бозеану, возможно, чтобы подготовить его к посвящению в щитоносцы, все то, что открылось его взгляду, как роскошное облачение, так и орудие в дарохранительнице, в соответствии с неким церемониалом, из которого братья-послушники были строжайшим образом исключены, он решил не говорить никому ни слова об увиденном и уже ступил ногой на верхнюю ступеньку, начиная свой спуск по узкой лестнице, когда, бросив последний взгляд на трон, заметил спешно запрятанные, как подумалось ему, между спинкой трона и стеной смятые части черного одеяния пажа Храма, верхнюю накидку и штаны; когда он вытащил их из укрытия, на пол выпала перчатка; подняв ее, он заметил, что на сгибе одного из пальцев все еще надето кольцо; извлеченное, оно засверкало гравированным гербами Храма бриллиантом. Брат-послушник добавил, что, не осмелившись забрать эту одежду, счел за лучшее оставить все так, как

он это нашел, засунутым вперемешку между стеной и спинкой трона. Что касается кольца... Но тут Командор, оборвав жестом его речи, протянул раскрытую ладонь: брат-послушник без промедления положил на нее свою находку, ошеломленный тем, как быстро оказался ее лишен, ибо при всем чистосердечии своего рассказа ему казалось, что они с кольцом вполне подходят друг для друга.

Как только кольцо оказалось у него в руке, Командор перестал понимать, то ли он движим некоей необоримой силой, то ли действует сообразно своим собственным намерениям; ибо, вновь проникнув в соседнюю келью, он бесшумно подкрался к спящему отроку и, тихонько приподняв левую руку сира Ожье, надел кольцо на его хрупкий безымянный палец. Затем осторожно его снял и, вернувшись в свою келью, поручил брату-послушнику изъять белую рясу, найденную, по его уверению, на троне в вышеуказанном месте, и, сохраняя определенное недоверие к некоторым из сообщенных деталей, все же отдал распоряжение, дабы вооруженные люди присматривали за всеми, кто слоняется вокруг Башни Раздумий. Наконец, он решил и сам позволить себе несколько часов сна, но стоило ему улечься, как у него в мозгу засвербел последний вопрос: за каким таким особым занятием прервал кто-то Мальвуази и Бозеана, коли в своем поспешном бегстве они не потрудились что-либо с собой захватить и даже не подумали о том, чтобы закрыть за собой дверь? Не собирались ли они туда вернуться? Он перебрал в памяти те обстоятельства, о которых вторили друг другу послушники. Не более чем самые простые детали, но все они, принимая во внимание какую-то скрытную волю двоих или троих лиц, по мере того как накапливалось поведенное по этому поводу, все менее и менее согласовывались друг с другом, складываясь в столь несообразное целое, что чем менее эта несообразность казалась правдоподобной, тем более весомой представляла таящаяся в ней угроза. И все же в эту ночь он удержался от того,

чтобы разбудить сира Ожье, дабы снова его допросить, как воздержался и от того, чтобы собственными глазами убедиться во всем, что имело место в Башне Раздумий; он боялся, что если сойдется со всем этим слишком близко, это помешает ему действовать.

И вот, когда, преклонив перед распятием колени, он обращал в молитве свой дух к тому или иному таинству Страстей, его вновь посетил образ оставленных следов, описанных ему послушником; сравнивая со своим собственным другое, более узкое кольцо, которое он положил перед собой, он так пристально вглядывался в бриллиант последнего, что провалился в сон.

Он в одиночку крался вдоль стен первого пояса укреплений на пути к Башне Раздумий, и, обогнув ее, так и не нашел на ощупь ни одной двери, но, провалившись в зияющую, разверстую нору, углубился в извилистые коридоры, столь угрожающе узкие, что он, казалось, задыхался на пороге более просторных помещений; наконец выпрямившись, он наткнулся на карликовые двери, замки с задвижками на которых столь проржавели, что он поломал в них бородки своих ключей; затем свод над ним задрожал от поспешных шагов: Мальвуази и Бозеан со всех ног спасались бегством, и невозможно было определить, ускользнули они наружу или бегут из одного конца галереи в другой; к этим приглушенным отголоскам примешивался то удаленный, то приближающийся отзвук их голосов; Бозеан взახлеб, по-девичьи смеялся, Мальвуази приглушенными окриками призывал его к молчанию...

Командор пробудился; взмолился к Господу, чтобы тот дал ему все это забыть; не сумев принудить свои колени и дальше попирать плиты пола, он вышел из кельи и направился в соседнюю, где сном ангела спал юный изменник; затем, вдруг испугавшись, что отрок заметит, как он неприкаянно замер над его ложем, отступил, перешагивая на ходу через вповалку спящих на полу галереи солдат, вернулся в свою келью, вновь преклонил колени на каменных плитах

пола, бил себя в грудь, разорвал свою рубашку, вяло побичевал себя и в изнеможении потерял сознание.

Ему опять снился тот же сон: теперь, да, на этот раз он был на правильном пути: дверь — нужная, наконец обнаруженная — оказалось совсем не такой низкой и куда более широкой, чем пытался убедить послушник; он с легкостью устремился по ступеням, которые, по его словам, вели в молельню; но и в этом брат-послушник его обманул, поскольку лестница вдруг поднялась прямо к опоясывающей наверху башню галерее, на которой в разлитом вокруг ночном покое Мальвуази, положив одну руку на плечо юного Бозеана, другой показывал ему на Большую Медведицу, разъясняя своему будущему щитоносцу мелодию звезд; Командор был уже совсем рядом с ними, когда, как ему показалось, он оступился... Его головокружение рассеялось в сумеречном пространстве; старые, шершавые и ледяные руки вцепились в теплые юные пальцы; он повалился прямо на ложе отрока, а тот, пробудившись в холодном поту от ужаса при его виде — при виде скользящей к нему в своем плаще высокой тени, — попытался поднятыми навстречу этому призраку ладонями приостановить его слепое продвижение. Поддавшись под весом старого исполина, сир Ожье прекратил какое бы то ни было сопротивление; что вслед за его рыцарями придет черед и самого Командора, он подозревал уже целый час, догадываясь, как тот рыщет между своей кельей и его застенком. И все же юноша был удивлен, что Командор счел нужным зажать его пальцы между зубами, угрожая прокусить их до крови, стоит отроку сделать вид, что он намерен сопротивляться. И его гость лишь тогда набросил на них покрывало, когда почувствовал, как его обхватывают горячечные бедра отрока; затем в поисках нежной кожи на детской груди он просунул лоб ему под мышку, и тогда, пока у него под ухом готово было разорваться сердце сира Ожье, он наконец отведаль того сна, в котором ему отказал Господь.

Обо всем этом, превозмогая нежелание исповедоваться в подобных слабостях, упомянул, не опустив ни одной детали, Командор в своем послании Великому Магистру. Ибо если он и приписывал колдовским чарам кольца, что за одну ночь мог пасть так низко, то все же добавил, что впредь, чем судить других, лучше бы он судил самого себя — за то, что познал этот дар природы и подавил его в своем Командорстве как чуму.

На следующий день он снял наказание, наложенное накануне на брата Ги де Мальвуази, призвал его к себе в келью, обнял и попросил прощения за строгость, с которою к нему отнесся; далее он в нескольких словах обрисовал, с каким коварством мадам де Палансе подготовила своего племянника, чтобы воспользоваться чистосердечием братьев-рыцарей; и пояснил, что поскольку в настоящее время мадам де Палансе подозревается в клевете, он захватил оную персону, каковая в силу статей дарственной, предписывающих братьям-рыцарям защиту поместья Палансе, подпадает под юрисдикцию Святого Ордена; но так как Бозеан обвиняется в клятвопреступлении и измене и оба они отныне подсудны Командорству, сам он перекладывает на брата-рыцаря и его друзей задачу вынесения приговора вышеозначенным персонам, дабы признать их виновными во вменяемых им проступках и позаботиться о приведении наказания в исполнение.

Когда брат де Мальвуази, ничуть не изменившись в лице, спросил у него, где предполагается вершить этот чрезвычайный суд, Командор передал брату-рыцарю связку ключей от низкой двери, добавив, что, несомненно, пришел час, когда Башня Раздумий оправдает свое имя.

Без дальнейших проволочек брат де Мальвуази и был под охраной туда препровожден, к немалому своему удивлению обнаружив в молельне тех из близких ему рыцарей, кто, будучи захвачен врасплох предьявленным ультиматумом, не осмелился пойти на по-

пятную, чтобы не показалось, что они от него отвернулись. Тем не менее брат де Мальвуази попросил Командора привести к нему и брата Лаира де Шансо, с каковым он хотел бы примириться и без помощи которого, по его словам, он не сможет вынести по этому делу никакого приговора. Так что в довершение всего из своей кельи в вышеозначенное место был доставлен и брат Лаир. И когда все собрались, Командор, лично явившийся положить на сидение трона расшитую золотом белую рясу, никак не объяснив свое поведение, объявил, что предписал им заточение; что, по его указанию, как бы ни затянулось обсуждение, им на всем его протяжении будут приносить еду, ибо они не должны экономить время на вынесение того тяжкого приговора, которого от них ждут; что смертный приговор, если они решат его вынести, приведут в исполнение наемники-сарацины. Что он тем не менее не исключает, что в отношении отрока они проявят снисхождение. Что, если говорить о мадам де Палансе, каким бы исчадием ада она им ни казалась, братьям не мешало бы вспомнить, что они являются рыцарями Храма, христианское милосердие и прощение обид которого смягчает гнев воина, если действительно предупредительность, свойственная благородному человеку, заставит их проявить уважение к знатной даме, даже оказавшейся вражеской лазутчицей.

Поцеловав каждого из них в знак примирения и тем самым простившись с братьями-судьями, он велел привести обоих узников, содержавшихся по отдельности втайне друг от друга, в комнаты, сообщавшиеся с молельней либо через проходившую за внутренним окном галерею, либо через дверь, которую он, к своему удовольствию, обнаружил позади алтаря.

Сам же он расположился у незаметной щели в своде молельни, откуда и стал следить, что они делают.

— — — —

Ему показалось, что Мальвуази и семеро остальных братьев только и ждали, когда он удалится, что-

бы немедленно приступить к посвящению неофита; ибо как только он прильнул глазом к щели в своде, то немного, что он мог видеть, сплошь и рядом не ухватывая смысла жестов и тем паче не понимая смысла слов, оказалось не чем иным, как перипетиями и ритуалами первой и второй ступеней посвящения, называемых ступенями *Страха* и *Тени Смерти*, которые предшествуют той, что носит название *Смерть, где твоя победа?* Таким образом он сам присутствовал при возведении на трон жертвы, юного изменника, которого назначенные судьи под видом экзекуции решили восславить.

И в самом деле, стоило им увидеть, что они остались одни, как они первым делом зажгли свечи: встав на колени перед алтарем, они заводят речитативом монотонные песнопения.

Как только наступает тишина, двое сарацин вводят сира Ожье; пока они удаляются, Мальвуази освобождает отрока от оков; целует ему обе руки; ведет от одного брата к другому; и каждый, стоя на коленях, оказывает ему те же почести.

Теперь Мальвуази подводит сира Ожье к подножью алтаря: покуда братья-рыцари остаются простертыми ниц на каменных плитах пола, он освобождает юного Бозеана от черного с белым одеяния пажа Храма; сияющий в своей хрупкой наготе под отблесками переменчивого пламени отрок по знаку де Мальвуази поднимается к раскрытой дарохранительнице, чтобы взять скрытый в ней предмет. Он протягивает вперед руки, потом поспешно отдергивает ладони: что же могло его смутить?

Позади него держится Мальвуази: прижав острие кинжала к пояснице юноши, он, похоже, оставляет ему выбор между двумя видами боли: отрок снова подносит руки к предмету, вновь, его коснувшись, отшатывается: тогда стальное острие погружается в его плоть; по хрупким членам юноши пробегает дрожь, когда, выгнувшись всем телом, он еще раз погружает руки в дарохранительницу: и вот он уже вынимает из

нее таинственный предмет, только что обжигавший, а теперь холодный и легкий: золотую голову, в совершенстве воспроизводящую его черты; Мальвуази прилаживает ее к лицу отрока и таким, каков он есть, нагим, лишь лицо которого прикрывает его же собственное подкрашенное, приукрашенное, сверкающее лицо, таким и отводит его к подножию алтаря; там его останавливает и, спрыснув вином и маслом рану, которую только что нанес ему в ягодицу, смазывает мазью следы от ожогов на ладони и на подушечках пальцев, он встает на колени и, обхватив рукой за талию и уткнувшись подбородком в живот отрока, целует его в пупок; поднимается, потом разворачивает над головой юноши белую рясу с золотым шитьем, его в нее облачает, из-под расширяющихся рукавов она ниспадает складками до самых пят; взяв за руку, он заставляет отрока взойти по ступеням к трону; его усаживает и увенчивает пышную шевелюру юноши митрой, тесемки от которой завязывает под подбородком; затем, хлопнув в ладоши, Мальвуази подает остальным братьям знак, что пора перейти к главному поклонению; семерым рыцарям, которые один за другим поднимаются к нему, юному понтифику, облаченному в митру и маску и нагому под своей рясой, отрок сначала дает поцеловать себе ладони; но, раздвинув бедра, раскрывает и свою благодатную юную мужественность; рыцарь же замирает на коленях, уткнувшись лицом ему в чресла. Обливаясь под своей маской потом, облаченный в митру отрок изнемогает, вцепившись в подлокотники трона; потом, расправив рясу, отвешивает рыцарю пощечину по каждой щеке; тот склоняется, спускается назад и вновь простирается ниц на плитах.

В это время Мальвуази, который держался рядом с тронem, возвращается в середину молельни: не в поисках ли какой-то ритуальной принадлежности, которой недоставало ритуалу? Он направляется к алтарю, когда видит, как позади дарохранительницы один за другим появляются наемники-сарацины: дву-

мя рядами они расходятся направо и налево и располагаются по всему периметру молельни, так что первые двое из них вновь встречаются позади трона. Другие появляются из отверстия в полу и замирают в неподвижности, перекрывая туда доступ.

Мальвуази бросает взгляд на внутреннее окно, за витражом которого в галерее угадываются какие-то тени. В первый раз откуда-то доносится звук трещотки.

Тогда, обходя по очереди семерых простертых на полу братьев, Мальвуази, кажется, сообщает им на ухо какую-то мрачную новость. Вот он выпрямляется, они, словно позабыв о ритуале, беснуются и жестикулируют, выходят из себя, пока в завершение их краткого сговора по поданному в сторону все еще закрытого окна знаку Мальвуази по молельне снова не разносится звук трещотки.

Все еще восседающий на троне сир Ожье поднимает голову к своду и видит, как к нему оттуда спускается длинная веревка со скользящей петлей.

Дрожа как осиновый лист, сорвав с себя митру и золотую маску и далеко отбросив их прямо на каменные плиты, прижав руки к щекам, растрепав свои длинные волосы, он бросается бегом вдоль изгибающихся стен молельни, то и дело наступая на волочащийся подол длинной белой рясы, тут же потерявшей свою белизну и чистоту, прячась, потеряв рассудок, то за алтарем, то за тронном, на котором он только что так величественно восседал. Два доселе неподвижных стражника извлекли его оттуда и бросили к ногам Мальвуази: за колени коего он умоляюще уцепился руками. Мальвуази медленно отступал. Опустилась тишина. Сир Ожье, заметив, что веревка поднялась к самому потолку, пристыженно поднялся на ноги. Тогда к нему приблизился Мальвуази и, возложив руку на его пышную гриву волос, стал говорить что-то юноше на ухо.

Бозеан, несомненно, пришел к мысли, что, если он пойдет на все, чего от него потребуют, ему сохранят жизнь. Теперь, успокоившись, он почти забав-

лялся, глядя, как из-под свода вновь спускается веревка. Тут же претерпев мгновенный приступ удушья, он позволил поднять себя вровень с их лицами. Это еще более его успокоило. Но когда его подняли к самому своду — и было видно, как он ищет все еще свободными руками блок или шкив, за который можно было бы уцепиться, — и когда его вдруг уронили оттуда на руки братьям, падая, он издавал столь ужасающие крики, что брат Лаир де Шансо, не выдержав более сих отвратительных демонстраций, бросился с поднятым кинжалом на Мальвуази; но ранил его всего лишь в плечо. Чрезмерно чувствительного Лаира скрутили и бросили в угол, где он и остался лежать, снедаемый стыдом и печалью.

Снятый с веревки и утешаемый своими наставниками, Бозеан переменился. Пока по кругу ходили чаши с вином, видя, что они начинают терять нить происходящего, он сам принялся с усердием подливать им вино: они делали вид, что не могут терпеть, чтобы им прислуживал столь знатный господин, пичкали его легкой снедью и уже заспорили между собой, чуть ли не бросая жребий, кто из них согреется сегодня ночью у него под боком, когда выходившее в молельню внутреннее окно вдруг отворилось и в нем, подталкиваемая Идрисом, вожаком сарацин-наемников, появилась мадам де Палансе, невозмутимая и высокомерная. Братья выстроились напротив, оставив Ожье в одиночестве перед его тетушкой. Возможно, она обратилась к своему племяннику со словами упрека, ибо — так показалось не отходившему от своего наблюдательного пункта Командору — Ожье опустил голову и заплакал. Удивленные его угрызениями совести, братья спросили у Ожье, не заслуживает ли эта женщина, его жесткосердная родственница, какого-либо наказания? Завороженный видом мадам де Палансе, которую он никак не ожидал здесь увидеть, Ожье внезапно ответил, что ради того, чтобы не видеть ее гибели, он готов претерпеть еще тысячу надругательств, если им все же удастся вообразить что-либо

хуже того, что они учинили над ним, отказав в смерти как в слишком легком наказании. Удивленный столь крутым поворотом и тем более разгневанный подобной вспышкой гордыни в этом еще за миг до того столь, на его взгляд, приятно боязливым и податливым подростке, Мальвуази объявил, что мадам де Палансе пришло время отказаться от своего положения женщины и что, в качестве возмещения за то, что она предоставила Ордену столь мужественного щитоносца, ничто не помешает провозгласить и ее саму тамплиером и принять в ряды братьев; а Ожье, в совершенстве доказавший свои женские способности, отныне принадлежит Идрису, главарю сарацин.

Сброшенная из окна вниз и тут же раздетая догола, мадам де Палансе, не успев оглянуться, оказалась втиснута в кольчугу: и вот так, преклонив колено перед Мальвуази, Валентина де Сен-Ви была посвящена в рыцари: затем ее подняли на ноги и — не обращая внимания ни на ее вопли, ни на дары, которые она клялась им сделать, лишь бы ей дали окончить свои дни среди урсулинок — заголили ей живот; мадам де Палансе, вспомнив слова Сильвано, поняла, что предначертанное ей исполнится буквально; ибо — если в этом следует верить анонимному летописцу — оттуда вдруг появился крохотный спесивый дракончик: — Не поэтому ли сир Гуго и умер без потомства? — воскликнул брат де Мальвуази. И, раздраживая кончиком кинжала сей достойный отпрыск, он вверг ее в полное иступление.

У внутреннего окна, где он занял место мадам де Палансе рядом с ужасным Идрисом, сир Ожье, с веревкой на шее, лишенный своей белой рысы, наблюдал совсем голым за посвящением своей тетушки в рыцари: Идрис, который держал его за конец веревки, заметив, что Бозеан все менее и менее способен скрыть свое совсем детское возбуждение, принялся оглаживать его бока узлом пеньки, нашептывая ему на ухо предостережение: — Берегись, если ты не невинен!

Посвященная ценой своего достойного отпрыска в рыцари, Валентина де Сен-Ви вскричала от ярости: но — разве не было написано, что он так никогда и не возмужает? — Бозеан через миг уже раскачивался в пустоте.

Командор, разочарованный тем, что начальные события ни в чем не изменили идею, которую он составил себе о человеческом естестве, не стал дожидаться конца и покинул свой тайный наблюдательный пункт. Остаток дня он провел в часовне за молитвой и, исповедуясь, покаялся в непотребных взглядах, в то время как по его приказу замуровывали дверь из молельни в Башню Раздумий. На следующий день, выходя после заупокойной мессы, которую он велел отслужить, он провел рукой по еще влажной штукатурке и вздохнул с облегчением.

Свидетелями тому стали королевские посланники, которых он задержал у себя в крепости в качестве заложников; ибо тремя днями позже он привел их к тайной щели, дабы они туда взглянули; они в ужасе отшатнулись. И, удостоверив тем самым перед ними суровость Святого Ордена по отношению к своим недостойным членам, он продолжал относиться к ним со всей человечностью — до того самого дня, когда сам сдался королевским силам.

Вырвись же из сих полных горечи мест! — прошелестел ветерок, проникший в его собственные извивы, когда он проплывал над неузнаваемым Коровьим островом.

Безбрежные леса посреди столицы, холмы, полого спускающиеся к северным валам, исчезла сама Башня Храма: во всей всхолмленной долине Сены ни единого крыла ветряной мельницы; а лишь, насколько хватает глаз, каменистый рельеф, ошетилившийся вдоль обоих берегов металлическими островами, лишь просвечивающая сквозь сернистый туман мельтешащая чернота.

Воспринятые слова раскрутили его ожидания еще большей спиралью: — Вы ли это? — И он развернулся шире по воле этого знакомого дуновения: он узнал ее и, отдаваясь радости, что узнала его и она:

— О дыхание-утешитель в тот вечерний час, когда наш дух осаждают сомнения! Скажи: неужто все бедствия и войны не в силах восторжествовать над сим алчным племенем; доколе будет еще оно плодиться? Поскольку много званых, но мало избранных, не предвещает ли число рождающихся, колеблющееся в зависимости от того, что сулит им там, внизу, жизнь — то суровая, то беззаботная; то спокойная, то смертоносная, — мне здесь новый наплыв получивших отсрочку дыханий? В какой же хаос канет тогда мое рвение! О чем помышляет Создатель? В отчаянном бегстве пред изобилием этих растраченных впустую

душ удаляются сами светила! Ибо пока век за веком отодвигается Судный день, древнейшие из них подстерегают совсем новых и, смешиваясь с ними разнообразно сродству, сживаются друг с другом, дабы изгладить друг в друге свою ответственность и после этого, по двое, по трое, запутавшись друг в друге, прикидываясь нераздельным целым, то и дело наведываются ко мне в крепость, бросая вызов моему испытующему рассудку! Какие распри сулит их воскресение! Ежели так обустроено, что каждому из них суждено когда-нибудь обрести там свой личный прах, за который они будут тогда здесь ответственны, имело ли мне смысл впустую прилагать все свои усилия, втолковывая им это в продолжение карантина, присмотр за которым на меня возложен!

Говоря это, он вознесся высоко над башнями Нотр-Дам. Но ветерок увлек его вдаль от ропота сих проклятых мест:

— Уже давно дожидалась я, которую не переставало волновать твое долготерпение в наставлении испущенных дыханий, о Великий Магистр Храма, когда же наступит это мгновение горечи и усталости! Не хотела я и смущать твою веру в задание, предписанное тебе в должное время Престолами и Властями. Но круговорот событий для нас уже завершен. Пришел час наконец тебя предупредить: число избранных достигнуто. Отныне род людской изменился по своей сущности: впредь она не подлежит ни осуждению, ни спасению. Отсюда и то бесконечное кишение, которым обманывается твой здравый смысл! Столь тяжек гнет усопших, что из-за него нарушилось равновесие в гармонии сфер. И все это громадное количество душ тщетно кружит вокруг самое себя. Знай, что стоит только дыханиям ускользнуть из-под твоего присмотра и обнаружить порождение плоти, как они просочатся в одну и ту же утробу — уже не по двое и не по трое, как тогда, когда они сплавлялись воедино, а по пятеро и по шестеро, — тщась присвоить себе зародыш, на который могли бы сбросить груз

своих былых прегрешений и вновь обрести добродетель: чаще всего в лоне какой-нибудь несчастной умалишенной слишком хрупкое тело призвано явить единство сочленения из семи душ, и вот уже некая персона, буйная, несдержанная, несговорчивая, страдающая от сумасбродства стольких многожды исторгнутых дыханий, столь отличных друг от друга по своему происхождению, древности и уделу, рискует принять на себя их непостоянство! Как только так истрадавшееся тело разрушится, его дыхание возносится сюда, делится сообразно разным в себе потокам, каковые тут же ввязываются в ссору, друг друга преследуют, пока не рассеются в другие, более неистовые! Вот почему насилия и мерзость разврата преумножаются в дольном мире вдвое, десятикратно, во сто крат, и его уже не хватает, чтобы предоставить пути подобным извращениям; и сколь бы ни возрастало число рождающихся, число жаждущих заново родиться усопших неизменно превышает число тел, рождающихся за год. Отсюда в конце концов и вытекает, что самая значительная их часть, вместо того чтобы отыскивать подобное половинчатое решение, предпочитает насилие и мерзость разврата здесь, наверху, оскверняя тем самым твою крепость. До того самого дня, когда Господь соблаговолит создать какую-то новую породу, бремя твоего поручения будет становиться разве что все более и более тяжким: беспоконная анархия душ, их измены, их инцесты в круге, который тебе предоставлен, пойдут по нарастающей! Так как большинство чувствует, что оно избавлено от воскресения, Господь предоставляет их их же собственному суду.

Ветерок на мгновение стих. Дыхание Великого Магистра пребывало в неподвижности. — Ваши ли это слова, супруга небес? Тереза, где вы?

Выстрелы перемежались с возгласами, воплями, звоном колоколов; тут же скрежет зубовный, рыдания и приглушенный хохот хлынули, как мощный порыв ветра, к воздушной скважине, которую обра-

зовал он сам, ввергнутый последними словами ветерка в недоуменный столбняк. Но уже кавалькада братьев-дыханий, как смерч, с развевающимися хоругвями, загоняла и собирала этот поток испущенных вздохов в изолоченное огнями заката кучевое грозное облако; затем, образовав общим стремительным маневром огромную воронку, рыцари излили их проливным дождем внутрь крепостных стен. Крепость же глубоко погрузила в почву свой неведомый фундамент, а верхушки пяти башен воздевала в небесные сферы. На взгляд путешественника или крестьян из соседних деревушек — всего-навсего величественные, мрачные руины; и никто не подозревал, что скрывалось за едва заметной дрожью покрывавшего их плюща, что разворачивалось в зияющих со стороны пустотой залах всего в нескольких шагах от жующего свою жвачку скота.

— Что ты собираешься с ними делать? — раздался шепот во вновь воцарившейся тишине.

Последний из братьев-рыцарей только что пересек подъемный мост: медленно, под скрип с трудом проворачиваемых блоков потайного входа, огромный дощатый прямоугольник вновь принял вертикальное положение. Сверкающая во рву вода словно бы улыбалась, приветствуя восходящую луну. Во внутреннем дворе трижды разнесся звук рога.

Но совсем рядом с его дыханием на траву лощины хлынул безудержный сдавленный смех.

И возвратился к нему разгоряченным веянием:

— А теперь, Великий Магистр Храма, позволь прибегнуть к твоему содействию! Приветь меня, как ты только что принял их! Ибо я исключена из числа избранных и отвернулась от лика Господня!

При этих словах он в ужасе бросился прочь. Нет никаких сомнений, пока он не мог совладать с притягательностью острова, исчезнувшего вместе с иставшим костром его казни, какое-то дыхание, столь же злобное, сколь сладостным был его шелест, последовало за ним с обрыва этих берегов, пытаюсь

обмануть его в печали: оно-то и подражало интонациям святой, которую, как ему поначалу показалось, он узнал. И, чувствуя, что его обгоняют, он вскричал:

— Никогда и никто из Блаженных, как бы он того ни хотел, не в силах даже отвести взгляд свой от лика Господня!

— О самомнение Отцов церкви, объявивших, что мы навсегда прикованы к высшему благу! Если оно и является конечной целью наших желаний, лицемерие его отнюдь не лишает нас воли во всем, что касается низменных наслаждений: Тот, кто переполняет меня, преумножает тем самым и мою способность осознавать тех, кому никогда не увидеть его лика! О невыносимое блаженство разума, который Господь не хочет сломить! Лишь Господь противостоит во мне Господу!

Ветерок, принесший эти звуки, взъярился таким шквалом, что его собственное дыхание оказалось отброшено на бастионы его же крепости — порывы ветра были там нестерпимы: казалось, он, с воем пронесшись сквозь листву соседнего леса, вернулся оттуда, чтобы с остервенением биться сбоку в крепостные башни и завывать в бойницах. Вся эта показная необузданность была на самом деле не более чем учтивым предупреждением в адрес хозяина сего вместилища; и, будучи способна в мгновение ока очутиться внутри, она все же дожидалась его согласия. Но стоило ему только послушать еще мгновение-другое вне своих укреплений, как она продолжает излагать подобные доводы, и он оказался бы отстранен от своих обязательств в отношении Престолов и Властей. Надлежало, чтобы она обращалась к нему со своими домогательствами внутри его твердыни, за этим стоял вопрос канонического права и подчинения непогрешимой доктрине. Посему, сделав вид, что затыкает уши, он через наблюдательную башенку ворвался на винтовую лестницу. За ним захлопнулась маленькая дверь.

Но будь даже эта деревянная дверь бронзовой, а стены высечены из алмаза, ничто из того, что способ-

но отделить или обособить, не имело здесь никакого значения: его собственная увертка была не более чем жестом в ответ на другой жест, и никакое другое “вовне” не имело перевеса над “внутри”, кроме одного только намерения; никакое же намерение не могло на самом деле защититься от проникновения в него другого: здесь всякое намерение оставалось для намерений проницаемым. Верх над другим могло взять только намерение, более других насыщенное в прошлом надеждами на будущее. Чем же было тогда будущее, как не предсказанным в прошлом освобождением? Где еще брало начало предсказание, помимо прошлого? Но каким было бы будущее, которое не является предметом того или иного предсказания? Из какого уголка небес исходило дуновение этого ветерка, обращающегося шквалом само на себя в старинной листве надежды? Словно способное разматывать будущее, только сматывая прошлое в прорицании подобного минувшего рабства: итак, дуя из глубин сего минувшего, оно искореняло из него слова, указывая, до него не добираясь, на освобождение...

Он больше не сомневался, что говорила с ним именно она. Но оценив, что подступы к его крепости наводнены слишком многими враждебными веяниями, способными намеренно заглушить подобный отзвук вплоть до того, чтобы усилить до рева даже то, что созерцательная душа всего-навсего бормотала бы, — отнюдь не осмеливаясь об этом поразмыслить, Великий Магистр утвердился в своем первоначальном раздражении.

И с этим решительно проследовал в Выдувной зал.

II

Несмотря на то, что он всегда выказывал глубочайшее отвращение к идее использования инструментов для вразумления испущенных дыханий, при виде сих приспособлений он подумал, что зря отрицал всякую духовную эффективность этого метода до такой степени, что никогда их не использовал; ибо если они, казалось, чересчур подчеркнуто принимали в расчет физические превратности вразумляемой субстанции, тем не менее, поскольку само по себе это было всего лишь напоминанием по аналогии о субстанции, созданной несовершенной, но совершенствуемой, орудия эти в силу своих рабских функций действовали лишь с тем большей справедливостью, что сам он, дыхание тварное и тем самым несовершенное, отнюдь не возвышался до непредвзятости, достаточно безмятежной для того, чтобы полностью пренебречь их услугами. Более того: орудийный стиль во многом смягчался присутствием священного предмета, в одиночку способного сообщить свой эмблематический характер всей операции. Машинально эти приспособления вершили ритуал.

В Выдувном зале, называемом также залом *Медного змия*, в виде вращающихся вокруг своей оси с соответствующей их рангу медлительностью колонн его дожидались Командор, Смотритель Ордена и Сенешаль. В глубине зала на огромном камине возвышался крест, каковой, в отсутствие фигуры Спасителя, хранил на себе лишь терновый венец и четыре

гвоздя, послужившие орудиями страстей оного; там двое братьев-послушников, чье истовое вращение обрело вид двух рук с закатанными рукавами, уже изготовились схватиться за ручки двойных мехов, кожаные клапаны коих, этакие запрятанные под каминной полкой громадные тестикулы, прикрывали собой выходную трубу; на уровне же очага на угасших углях покоилась длинная и извилистая форма из полого железа — Моисеев *Медный змий*, которого, по рассказам, Саладин некогда передал Великому Магистру Ронселену. Всасывая отторгнутые, выделенные и собранные в пустотах соседней башни души и сообщаясь при этом с камином, двойные мехи исторгали тут, над самым очагом, их первые посмертные крики: когда же Медный змий раскалялся, один из послушников, вооружившись клещами, прилаживал его хвост к патрубку мехов; так и выходило, что под клеймящими признаниями отторгнутой души раскаленный змий разворачивал свои кольца, то и дело меняя их изгиб, согласно которому и выносилось суждение, выдает ли или пытается скрыть испущенное дыхание то, что осталось у него из намерений.

Был ли он творцом или всего-навсего хранителем суеверного обычая, ответственность по сбору подобной информации принимал на себя Командор — при полном попустительстве Великого Магистра, который над всем этим подсмеивался. Ибо на самом деле вновь подпавшее решением Престолов и Властей своим обязанностям Великого Магистра, его собственное испущенное дыхание наделено было способностью само по себе получать информацию об отдельных душах, способностью непосредственной и тайной, владением которой только он и был наделен; получилось же так, что, по-своему восстановив сообщество братьев-рыцарей, он тем самым оказался вновь лицом к лицу с дыханием бывшего Командора; так что как раз из-за этой способности, на коей и зиждился его авторитет, он, судя по всему, и ввел — вместе с дыханием Командора — тот совершенно противоположный его

собственному тип расследования, которому Медный змий придавал видимость ритуала. Что теперь он внезапно поспешил к нему прибегнуть и воздать должное Командору, своему потенциальному сопернику, таковым было следствие только что им пережитого потрясения; он угодил напрямик в ту самую западную, избежать которой ранее стремился, и, с недоверием относясь теперь ко всему своему долгому заморскому опыту, проник в Выдувной зал как в такое место, где надежнее всего окажется защищен от духовных домогательств бескрайних пространств.

И посему, едва завидев, как он входит, Командор и два других высоких чина поняли, что произошло какое-то событие: ибо пока Великий Магистр, все более и более уплотняясь, вращался вокруг своей оси, а его ряса облегла полустертые контуры старческого тела, они различили наверху двойную вспышку его взгляда. Тогда, отвечая на это новым приливом плотности, подобный вид обрели и их собственные вихри, и все, склонившись перед ним, отступили к высоким креслам, установленным вдоль левой стены, откуда и продолжали следить за поведением Медного змия в расположенном в глубине зала камине.

Спев *Veni Creator Spiritus* и прочтя нараспев покаянные псалмы, Командор пригласил Великого Магистра благословить инструменты и братьев-послушников: те же, трижды ударив себя в грудь, привели в действие двойные мехи. Тут же огромные кожаные клапаны с жутким воем раздуваются так, что им впору лопнуть. Это лишь первое мгновение кутерьмы. Послушник с правой стороны прекратил всякие манипуляции и скрестил руки. Послушник с левой стороны занялся своим делом, и из патрубка высвободилось первое дыхание.

В очаге под Медным змием яростно вспыхивают угли; когда он раскаляется добела, правый послушник, ухватившись клещами за хвост змия, прилаживает его к патрубку мехов; металлическая рептилия начинает медленно изгибаться; она содрогается и по

ее поверхности быстрыми кольцами одна за другой расходятся волны, по мере того как еще нечленораздельное бормотание пробегает по всей ее длине; она пытается свернуться сначала в тройное, потом в двойное кольцо и наконец вздымает вверх свою раскаленную полую голову; из полураскрытой пасти вырывается долгое шипение.

— Я хочу пить!.. — переводит Командор.

Из миски, воздетой на конце шеста, ему вливают глоток уксуса. Хлынувший яростным фонтаном между клыков пар не спешит принимать определенную форму, но главное еще впереди. При виде этого призрака Великий Магистр не может удержаться и пожимает плечами. Тем не менее, побуждаемый Командором, он задает ритуальный вопрос:

— Это ты? Кто бы ты ни был, отвечай: по-твоему, это и в самом деле ты?

Внезапно, нависнув одним огромным кольцом, словно собираясь подпрыгнуть, Змий раскрывает пасть, растягивает челюсти и с чудовищной отрыжкой выbleвывает наружу огненную сферу.

— Я тут! — кричит девичий голос.

Столь порывисто произнесла она эти слова из глубины ослепительной сферы, что отбросила дыхания братьев вращаться у самого пола в дальнем конце зала; но вовсе не испуг, а разве что приличие удерживало их в раболепстве; ибо слишком сладостной оказалась исходившая из этой сферы горячность и, поскольку они не могли и далее вдыхать пронзительный запах, заполонивший собою все пространство, — как только они увидели, что дыхание Великого Магистра устремляется к очагу, а Командор, разгневанный тем, что он возвращается к своим собственным методам сбора тайной информации, подает им знак очистить помещение, — все пятеро с поспешностью выскользнули из зала; трое сановников — уже пошатываясь от опьянения, двое послушников — не скрывая более своей веселости.

— Почему ты решила прийти этим путем?

— Снаружи я говорила с тобой внутри тебя самого, но в погоне за достоверностью ты предпочел прибегнуть к этим презренным орудиям!

— Теперь, когда ты здесь, я их уничтожу, о небесный огонь, который ничто не сможет потушить, даже если ты того и захочешь! Когда то или иное среди стольких испущенных дыханий, как мне казалось, украдкой внедряло в мое свои признания, разве не спохватывался я многожды, что вслушиваюсь в них в заблуждении? Подобное недоверие в отношении своих невеликих возможностей часто заставляло меня обращаться за советом к этому раскаленному добела металлическому свидетелю! Жуткие мысли загнали меня, словно обезумевшее в своем логовище животное, вглубь сей избирательной кузницы. Твои ли они были, о Тереза?

— Призываю в том в свидетели самого этого Медного змия, покорного твоему столь мудрому обману: так желает сия эмблема того, что пожирает свой собственный хвост! Ибо, изрыгая все то, что отказывается вернуться когда-либо раз и навсегда назад, изверг он и меня, словно я испустила дух еще раз, поскольку ты менее страшишься бормотания усопших, нежели предостережения духов. То, что ты не сумел выслушать вне твоих границ, тебе таки придется выслушать заново — да еще и внутри своих укреплений. Послушай: сюда приближаются, сами того не зная, два существа, дышат в своих телах как раз в это мгновение. И ни одним из твоих примитивных или изощренных средств ты не сумеешь распознать их подлинные души. Я-то знаю, что им предназначено, знаю, откуда они взялись, знаю, каким повелениям по сию сторону от своего рождения они подчиняются! Он — душа, которую я некогда избавила от тысячи заблуждений...

— О чем ты собираешься мне сказать?.. — дыхание Великого Магистра охватила дрожь, поскольку согласно закону, которому подчиняются отторгнутые от своих тел души, всякое личное признание, полу-

ченное им вне исполнения своих обязанностей, неминуемо изменяло его волю, по мере того как он следовал поверенному другим дыханием.

— Взойди же вновь без боязни вместе со мной по склонам далеких терзаний: я ни в коей мере не воспользуюсь ни твоим положением, ни состоянием и отнюдь не собираюсь отвлекать твое внимание от доверенного тебе священного служения, напротив, я тебя в нем укреплю. То, что я тебе раскрываю, оставалось никому не ведомым: эта печальная история начинается со взаимной лжи; тяжки ее последствия за гранью наших жизней. Один молодой богослов, немало поднаторевший в путях дольного мира, всячески старался поддержать меня во времена первых моих уложений, в тот час, когда гонители пытались свести на нет реформу нашего ордена, и стремился помочь нам с такой самоотверженностью, что я без малейших колебаний выбрала его в качестве исповедника для первых своих монастырей. Столь велико было мое доверие, что накануне отъезда из одного из этих домов святости я захотела исповедаться именно ему; он остановил меня, объявив, что недостойн меня выслушать: все, что он сделал до сих пор для Кармеля, было сделано ради единственного божества, которому он поклоняется: ради меня! Никогда не было у него ни иной веры, ни иной религии, и если и в самом деле существует провидение, то, конечно же, только рядом со мною ждет он от него каких-то знаков своего невероятного спасения; отныне мне одной решать, изгнать его или оставить, если я не хочу иметь на своей совести его погибель... Я его не изгнала, но больше и не видела. Сколь бы высоко я ни возносилась, какими бы наслаждениями ни переполнял меня Господь, каким бы умерщвлениям ни подвергала я, недостойная, в ответ свою плоть — казалось, даже все это не может сравниться с одной только мыслью о подобной напасти. Каждый день я со все большей твердостью удалялась от него и наконец могла различить на горизонте своей жизни лишь темное облако,

каким стал он в своем несчастье. Долго после моей смерти вынуждал он меня тревожить его безутешные ночи; чем больше я о нем молилась, тем сильнее зывал он к моей брэнной форме и тем мрачнее упивался ею, читая и перечитывая фразу, которую в обманчивом чистосердечии написала я в один прекрасный день, повествуя о невинном юношеском флирте: “Я полюбила наряжаться, потому что хотела нравиться. Я очень заботилась о белизне рук моих и о прическе; не щадила также духов и всяких суетных женских украшений, на которые была большой мастерицей”. Но чем легче и прозрачнее я становилась, тем большую весомость и устойчивость обретали для его изнемогающих чувств мои брэнные останки. Черная печаль слишком поразила все его способности, чтобы он когда-либо попробовал встать на тот путь, который предначертал моей мысли Господь, и поэтому он до такой степени напоил грустью свою память, что сам его рас-судок пришел в полный упадок; но так как воля его упражнялась в страдании столь же упрямом, сколь и пагубном, само по себе это было сочтено вполне справедливым, и, испустив дух, моими молитвами он получил новую отсрочку: я впитала муки его воли, но не печаль памяти: ибо, словно чистое отражение тех слов, что я некогда написала, — будто единственно этой отныне неизгладимой фразой он и дышал — его дыхание не только не переставало выискивать меня среди мощенничеств моей юности, но и слова эти стали неотрывны от вдохновения его духа; так он и был послан существовать во второй раз. Но там, смешавшись с родственным ему духом, сила тщеславия которого не знала себе во внушении равных, он подтолкнул его на подделку, создав отвратительное подобие меня самой в состоянии восхищения. И вот, поскольку та доля печали, которую предполагало это коварство, вновь была сочтена вполне оправданной, когда он, покрытый земной славой, опять испустил дух, ему была предоставлена и третья отсрочка. Тем не менее, из-за того что неизгладимые слова все так же пребывали в его дыха-

нии, когда он оказался смешан с духом, каковой в чистоте своей дышал единственно благочестием, сплав этот дал место беспокойному созданию, которое пагубные отголоски все тех же слов низринули в бездну угрызений совести. Вплоть до того самого дня, когда Престолы и Власти сговорились, что там, в дольних, ему суждено будет встретить некую новую натуру. Господь в своем предведении знал, что я никогда не поверю, будто эта новая отсрочка, коли Он вновь пожаловал ее в ответ на мои молитвы, может быть последней: не хочет ли Он на самом деле, чтобы блаженные души без конца вступались за грешников? Не хотел ли бы Он к тому же, дабы та же самая субстанция возвращалась все время той же лишь для того, чтобы пасть еще ниже, поскольку Он знает, что она падет? Почему же тогда Он пожаловал мне эту отсрочку? Не для того ли, чтобы доказать мне, что, раз за разом возвращаясь к существованию, ошибка, если она не сделана раз и навсегда, все более и более отягощается и не меняет ничего в сущности неизменного существа? Но было ли это все еще то же самое существо, за которое я вступалась, — да и те ли слова, что я некогда написала, его совратили? Уж не мои ли собственные молитвы наряду с этой фразой так и удерживали его в плачевном состоянии на протяжении стольких перевоплощений? А может... с тех пор как Господь не освящает более и не осуждает ни одно из существ, может быть, это уже и не ошибка, разраставшаяся от одного пособника к другому без того, чтобы кто-либо был в ней бесповоротно виновен, и уж не осталось ли отныне от всего этого лишь затерянное в безграничных пространствах брожение? Если не происходит ничего такого, чего не хотел бы и о чем не знал бы Господь, это означает, что, зная об этом, Он этого и хотел: Он с самого начала знал, что я не перестану Ему молиться, как знал, внимая моей мольбе, что тем самым в третьем существовании свершится то, чего не позволяли условия первого, единственного, которому следовало бы остаться неизмен-

ным; что со второго существования, дарованного сему испущенному и вновь вдохнутому в другого дыханию, ничто более не делается раз и навсегда, если действительно все еще существует то же самое дыхание, словно дышащее этими неизгладимыми словами; что, в таком случае, если в третьем существовании я и в самом деле добилась господнего Милосердия для того же несчастного, ничто не исключает, что за ним не воспоследуют четвертое, пятое — и так далее до бесконечности — существования, раз за разом превращая в шутку и насмешку вымаливаемое мною Милосердие! И действительно, я готова была побиться об заклад против Господнего предведения, пусть это и сулило выигрыш у самой себя; ибо ведь: либо воспоминание о тех словах сможет в конце концов изгладиться, дабы их истинный смысл проявился в той новой натуре, что была предназначена все той же несчастной душе, — если бы только это столько раз испущенное и вновь вдохнутое дыхание меня тогда забыло бы: но тогда душа сия была бы уже не вполне тою же самой; либо смысл неизгладимых тех слов, отнюдь не прояснившись, полностью затуманится под формой этой новой природы, посланной для его спасения, если действительно сей несчастный дух был все еще достаточно тем же, чтобы обнаружить в ней меня — еще один раз! Ибо действительно: все, от чего в своей личности я некогда отказалась, записав в тех роковых словах, и составило самую суть ее характера: чистая в своей красоте, но неверующая, натура эта дошла до того, что решила подвергнуть в нем испытанию выбор “благой доли”; сам этот дух искупил бы свое первое и единственно неизменное существование, лишь препроводив сию неверующую раз и навсегда к вечности. Итак, они соединяются... Но вот что вознеслось ко мне как стон — вот то, чего в этом частном случае, должно быть, пожелал и Господь, так как он знал об этом в своем предведении всего на свете: отнюдь не разорвав чар, их единение ее закрепило: материю этого таинства, саму извращенность!..

Его взгляд, да, его взгляд остался все тем же, что некогда меня обманул! Отнюдь не безмятежную мечту искал он якобы в моем духе или, как он клялся, вместе со мной! Он искал мой стыд... и стыд душ стал ему пропитанием... Хватает одного лица этой девушки, чтобы подвигнуть его покуситься наконец с ней на то, чего, как он думает, он тщетно хотел некогда от меня! Все, в чем ему тогда было отказано, поимел он от этой натуры, но сам закрывает от нее вечность, которая перед ним самим столько раз была открыта! Таким образом, он не выдержал испытания. Ибо чистая и цельная, именно из-за того, что творит добро по собственной инициативе, она и не верует! и подчиняться во зле своему своеобразному супругу — для нее это опять же способ вершить добро! И посему она верит, что действительно вершит добро, тогда как он верит, что действительно творит зло! Ибо всегда он имеет в виду лишь отсутствующую меня, лишь мою тень преследует через все столетия, лишь мое сознание хочет оскорбить! Настолько он отчаялся от того, что не смог употребить меня так, как сейчас на свой лад злоупотребляет ею!.. предоставляет ее своим друзьям... дошло до того, что он понуждает ее продавать себя! И так же, как выставил меня всем напоказ, прикрыв мою мысль снятой с постыдного сладострастия маской, точно так же делает он мою постыдную копию и из этой несчастной... Смотрите! смотрите же!..

— Нет, Тереза, я не хочу ничего видеть! — простонал Великий Магистр, задыхаясь от ужаса, и, свернувшись вокруг самого себя, выдохнул: — Кто бы мог поверить, кому в голову могло прийти поверить, что столь ослепительная ясность окажется к тому же склонной к непомерной снисходительности! Разве нужно, чтобы зрелище сих переменчивых созданий пробуждало вашу заботливость, чтобы утрата этих прихотей, которая слишком хорошо потакает безопасности наших собственных... ах! — вдруг произнес он.

Вновь впавшая в безмолвие огненная сфера обрела цвет жидкого золота: на ней вырисовался овал не-

кого лица, со смеженными очами, с полуоткрытыми губами.

— Вот такую мне и запрещено ее видеть! — прошелестело дыхание Великого Магистра. — Да спасет же меня Устав, тот святой Устав, который даже здесь сохраняет нас от пробуждений плотского сердца... — И, вновь собой овладевая:

— О Тереза, хоть того и недостойный, я остаюсь ответственным за покой в высших кругах... Слушать вас — уже подвергать его сомнению!.. Ваша могущественная речь опрокидывает сам порядок действий...

Тогда, дабы поведать вопрошавшему ее вихрю о неприметном тайнике своего сердца, она в свою очередь увидела его таким, каким в белой рясе осужденного он некогда предстал среди языков пламени: лысый череп и бледное, землистое лицо с большим носом и тонкими губами; в глубине орбит под светящимся лбом в глазах его читались лишь удивление и печаль. Так тотчас же проявилось воздействие того, что он хотел ей ранее показать.

Тереза медленно смежила веки, потом их вновь подняла и с сочувствием взглянула прямо на него. И хотя она отчетливо сознавала свою эфемерность, румянец окрасил ее щеки, древний-древний румянец, словно кровь, некогда пугливая в присутствии мужчины, сломала льды забвения и пробудилась от сумрачной холодности.

Тронутому столь возвышенным простодушием Великому Магистру было не так-то легко прибавить суровости в разговоре с этой горделивой душой:

— Уж не будет ли по меньшей мере дерзостью утверждать, будто все, что вы отсекли от себя, следуя взлетам вашего сознания, можно хоть на миг приписать субстанции, чья природа с такою полнотой противоречит вашей? Не означает ли это оставить про запас как раз то, что вы навсегда отвергли? Что, с другой стороны, некогда испущенное, но извратившееся в процессе своего плотского существования дыхание оказалось воссоединенным с другими со-

творенными вслед за ним душами; что тем самым оно дерзнуло при взаимном неведении настолько омрачить их существование, что никто из них никогда не был уверен, прожил ли он раз и навсегда во плоти собственную жизнь и познал ли свое бессмертие без очищения в дальнейших существованиях... что оные, тем не менее, поддались еще большему развращению, — я бы еще мог принять, что все это с необходимостью вытекает из непостоянства тварных существ, но — хотя мне отнюдь не хочется предполагать, будто подобное непостоянство оказалось настолько непреодолимым, что определенно вытеснило благодать в субстанцию, — угодно ли Господу закрыть число избранных или нет — и совсем не нам здесь пытаться высчитывать это таинственное число, на что вы способны, ученая Тереза, — не мог ли Он в своем всемогуществе просто ограничить подобное веление собственной мудрости? Что я говорю? Принуждать Его к столь недостойному Его славы средству, дабы Он черпал среди *peccati** этих освященных созданий материю для еще одного, нового создания?.. Я-то видел в вас лучезарное отражение высочайших сфер блаженства, а вы все еще питали в глубине клоаки этого недоноска — вплоть до того, что вверили ему в форме непостижимого воссоздания самой себя то, что испокон веку отошло в небытие?

— Ах! да хоть бы я отошла туда вся целиком, Великий Магистр, какая тебе разница! — провозгласил огненный шар, тут же утративший святой облик. — Да пусть Господь меня уничтожит! Он не может уничтожить меня, не пожертвовав собой! Пусть Он собой жертвует! Пусть наполнит собою ту пустоту, что от меня останется! И, коли я теряюсь среди этих приближающихся к своему распаду дыханий: когда тела их наконец испустят, еще до твоего вопроса из глубин их выдыхания поднимется такая разноголосица, что ты ни за что не распознаешь, какой кому принадлежит голос! Слишком много долгов они понаделали, чтобы

* Я согрешил (*лат.*).

здесь на них не набросились дыхания, ссудившие им свою испорченность: обещанные наихудшим из вихрей, души этой четы будут рассеяны! Вот почему я, единственная, кому дано их видеть, не смогу для них ничего, если покажусь здесь такой, какую меня знает Господь: эти души не способны видеть меня без богохульств! Мне нужно идти навстречу богохульству, мне нужно самой принять его форму! Тем самым я отвращу от них те порочные дыхания, которые в себя вберу! О Магистр, в твои руки слагаю я свою безмятежность!

— И этого, значит, все еще мало! Не заставляй меня поступаться своими обязанностями! — вскричал Великий Магистр, задыхаясь на земле перед дымящейся пастью Медного змия. Но, тщетно взыскуя в раскаленной сфере черты нежного лика:

— Ты прожила девой! Девой ты и воскреснешь! — возопил он. — Тебе не место здесь, среди моих братьев! Если я оставлю тебя тут, на Святой Орден обрушится Господне проклятие!

— Как осмеливаешься ты напоминать мне о плотском существовании! — произрела сфера, выстреливая высокими языками пламени прямо в очаг, так что начала плавиться сама металлическая эмблема. — Знай, что тысяч и тысяч тел, как мужских, так и женских, не хватило бы, чтобы исчерпать мою мощь!

Густые клубы пара неторопливыми извивами поднялись над камином. Наступило мгновение тишины: вдалеке пророкотал раскат грома, и вновь опустилось безмолвие. И вдруг скрежет по витражам, и, наконец, отскакивая от камней очага и от пепла, десятками, а потом и сотнями, обрушились градины.

Внезапно ночь прорезал звук рога. Разнеслись призывающие и приказывающие голоса. Во дворе откликнулся шум кавалькады и, сразу же, ржание коней.

В дверь зала постучали. Поскольку ничей голос не откликнулся, Сенешаль и два щитоносца вступили внутрь. Там они обнаружили вытянувшегося ничком на плитах пола Великого Магистра, а рядом с ним — отверстую и остывшую пасть Медного змия. Сене-

шаль осторожно дотронулся до его плеча. Великий Магистр приподнял голову:

— Сир Жак, только что прибыл Король и просит предоставить ему на несколько дней приют. Опять назревает бунт.

— Почему он каждый раз говорит о бунте, когда в насмешку у нас укрывается! — быстро поднимаясь, произнес сир Жак. — Хорошо! Отведите ему все правое крыло и северную башню. Немедленно доставьте к нему в комнату сундук с экю. Сколько их в пришедшем с Кипра?

— Две тысячи ливров! — прошептал Сенешаль.

— Добавьте туда то, что пришло из Лондона. Иначе он будет шнырять вокруг да около до самого дня Всех святых! Мы примем его с учтивостью и милосердием, но пусть они останутся настолько безмолвными и отчужденными, насколько сие возможно. Приготовьте все согласно ритуалу первой ступени. Ни в коем случае не включайте предвещающих вторую ступень знаков! Уберите ее эмблемы и замените их способными занять воображение образами. Если он будет задавать по этому поводу вопросы, вместо ответа просто бейте себя в грудь. Чем больше винишься, с тем большим пониманием качает он головой. Король полагает, что гарантии по-прежнему у него. Этого ему хватает.

Отпустив их, Великий Магистр направился к башне, прозываемой Башней Раздумий. В свое время там по его приказанию накануне процесса была замурована молельня. На его памяти он веки вечные не осматривал эту башню. В состоянии испущенного дыхания проскользнуть туда мог бы любой, от последнего холопа до Короля или Папы. Что никто туда не проникал, кроме, быть может, братьев, не вызывало в этом смысле сомнений, поскольку никакой отклик так и не выдал по сию пору, что кто-либо видел оставшееся внутри молельни. Несомненно, подобная осмотрительность была необходима всякий раз, когда Король возвещал о своем посещении. Иногда он про-

сто-напросто появлялся, не предупредив о своем присутствии. С тех пор как его приняли в члены Братства, ему, под предлогом смирения, было дозволено, облачившись в рясу храмовника, смешиваться с толпой братьев. Он сохранил этот обычай, с еще большим коварством прибегая к нему в состоянии испущенного дыхания.

III

Великий Магистр сосредоточил все оставшееся в его дыхании от воли на этом далеком событии. Поддавшись продувавшему винтовую лестницу сквозняку, он восстановил на том же самом месте решение замуровать эту дверь, которое он некогда принял и довел до сведения Командора. Сцена, при которой он сам не присутствовал, представилась точно такой, какую позднее описал ее Командор, — и его охватило все то же отвращение, смешанное с любопытством.

Некогда, с жадностью дознаваясь ужаса, его любопытство не смогло превозмочь неприязни, теперь же оно освободилось от ушедшего в прошлое чувства отвращения. И вот ужас накатился на него сквозь камень, словно некий флюид: без малейших усилий он оказался внутри молельни.

Семь неопределенных масс из кольчуг, землистые формы и вездесущие волосяные нити, переплетенные с паутиной, пушистая поросль и бесцветная плесень полностью покрывали плиты пола. Серебристые переливы копошащихся насекомых перемежались летом роя отсвечивающих изумрудом мух.

Но, обследуя пространство, он подумал, что его собственное сердце, растроченное столетия тому назад, снова возникло в самой средоточии воли и вновь начинает биться.

Под высокими арками свода, повиснув в пустоте, медленно вращалось вокруг своей оси совершенно

обнаженное тело прекрасного отрока: глаза закрыты, свесившаяся голова покрыта пышной гривой черных волос, ниспадающей на хрупкие плечи изобильными локонами, — на шее обрывок веревки.

В своем вращении со всех сторон открывалась мертвенно-бледная кожа груди и живота, гладких боков и твердых ягодиц, совершенные очертания ног: без короткого и толстого фаллоса и пухлых тестикул его можно было бы принять за девушку; нежные руки все еще связаны за спиной.

Ни повешение отрока, ни обстоятельства им самим предписанной экзекуции не имели никакого отношения к тому, что вдруг побудило старого храмовника устремиться к предмету своего созерцания: юношеское тело скрывало в себе какую-то ложь. Оно казалось совсем другим по составу, нежели стены, нежели камни той старинной крепости, которая таила его здесь, с ее воздушным гарнизоном.

Великий Магистр размышлял, каким образом ему удалось различить осязаемую форму удушенного отрока. До сих пор он замечал лишь вихри испущенных дыханий; и, насколько его собственное, инквизиторствующее, в этом преуспевало, высвобождая от нечаянно обволакивающих их других дыханий, лишь по произволу своего собственного восприятия он приписывал им более или менее вероятные физиономии, оторванные от всех давным-давно исчезнувших обстоятельств. Каких только усилий не стоила ему тщетная скрупулезность, дабы подобное приписывание не затерялось в произвольности выдуваемых образов!

Ибо от него осталось только неусыпное воление, с которым случалось лишь то, искоренить что из своего умерщвленного тела у него некогда хватило сил. Теперь, когда по ту сторону праха ничто больше не угнетало отныне неисторгаемое дыхание, его воле, настойчиво преследующей себя в бегстве, в котором он лишь завихрялся вокруг самого себя, не удавалось более освободиться от собственного завихрения, пока он не встретит другую, не менее растерянную волю.

Потому-то он и согласился вернуться к обязанностям Великого Магистра и заботиться о спокойствии высшего круга, обводы которого познал благодаря своему отказу проникнуть когда-либо в ту область, где уже нет никаких кругов, где сам покой бессловесно вбирает в себя всякую волю: он знал его, и это было все, что он знал. Но он дожидался восстановления своего тела в грядущем веке и под этим предлогом продолжал блуждать среди воздушных течений сего Командорства Храма, того самого, где некогда был предан своим соперником, местным Командором, поддержавшим обвинения короля. За отсутствием тела, эти горделивые развалины, словно окольцованные тенью озлобленности, которая по ту сторону прощения обид доставляла ему чувство ориентации и как бы ось в вихре, каковым он стал, образовывали вместе со всем содержащимся в них временным населением ему место и оболочку, и сия сомнительная служба, принимая во внимание другие взвихренные воли, над которыми он отправлял правосудие (тогда как он списывал на Филиппа и галликанскую Сорбонну, что ему самому оно казалось необоснованным), позволяла ему затягивать непостижимый покой: ибо он продолжал верить в значение имен со всем тем, что оно подразумевает (принцип противоречия, идентичность, ответственность и т. п.), как в причину кружащегося в вихре воздушного столба, посредством которого он перемещался подъемами и спусками или же осматрительной поступью в своем собственном пространстве — стало быть, в достоинство дыхания, испутившегося в названиях как для того, чтобы себя основать, так и чтобы заложить основы, и таким образом он пытался провести обманчивое различие между своим собственным дыханием и всеми остальными и оттянуть, насколько удастся, смещение в едином Дыхании: но борьба эта оказывалась неравной не только из-за того, что некое истовое чаяние исходно посулило каждому дыханию блаженное смещение в едином Дыхании, но также и по той причине, что все дыха-

ния, по мере того как их высвобождали распавшиеся тела, скапливались в одну неудержимую массу. Более или менее виновные в оживляемых ими в дольных телах, подвигаемых ими там в сторону порядка или беспорядка, они поднимались в Командорство, не различаясь ни в чем, кроме своей напряженности, так что невозможно было походя их беспристрастно рассортировать или приписать той или иной степени напряженности, более или менее слабой или неистойой, дыхания, исполненные злобы или порядочности, щедрости или скупости, качеств, родившихся из сокращения или растяжения телесных органов, когда дыхание нетерпеливо их осваивало, заблуждаясь вместе с ними касательно их общего происхождения, даже если оно и не ощущало тесноты своего вместилища. Если между оставленным телом и дыханием, чья вихрящаяся напряженность могла оказаться совершенно такую же и у любого другого дыхания, невозможно было установить какое бы то ни было соотношение; и при всем том неистовство, умеренность или слабость каждой из этих напряженностей то и дело проистекали из совершенно противоположных телесных проявлений; как можно было избежать риска совершить несправедливость по отношению к рвению благочестивой души, чья манера вихриться в совершенстве походила здесь на повадки души, все еще распаленной преступлением? Как не обидеть чистое смирение, когда жмушееся к земле дыхание можно сравнить с раболепными поползновениями величайших в истории изменников; когда внешняя неподвижность у потолка какого-либо дыхания, некогда застывшего в созерцании высочайших сфер, ничем не отличается здесь от застойного и отвратительного, но тоже светящегося полотнища, внешне так и разящего каким-то расслабленным сластолюбием? Увы, внешне! И нужно было, чтобы оно не единожды отделилось от своего тела и, следовательно, не единожды его вновь обрело, дыхание, некогда получившее это повторное отторжение как дар распознавания духов!

И сам он — не только ли все еще дрящущуюся ориентацию ухватывал он в этих дыханиях, лишенных, как и его собственное, оболочки? Вялость, сокращение, одышка, хрипы, растяжение — заметные, стоило ему заточить их на лестницах, в башенках или кельях, — выражалось ли в них содержание намерений? Да, конечно, столько следов, но каких исчезнувших деяний? То, что в продолжение своего земного пребывания такое дыхание произвело в женском теле, впредь вибрирующее более или менее сообразно оркестровке органов оно, отделилось от него с приглушенным отголоском тревоги, пресыщения или отчаяния, — отличаясь ли хоть в чем-то от тональности юного героя, павшего на поле битвы? вовлеченное в свою бесконечную спираль, встретилось там и с другими: все упорствующие, кто в раскаянии, кто в удовлетворенности от обновления, кто в навязчивой идее, кто в снедающей горечи; все далекие от причины этого утратившего свой предмет упорствования, в неведении о собственном рассудке, сведенные к своим эмоциям в потоке ветра, чистые испарения; и каждое из этих дыханий терялось в веяниях другого, сообразно тому непосредственному усвоению, которым наделен был самый сладострастный наравне с самым целомудренным, самый преступный наравне с самым невинным; но впредь не было ничего преступного или невинного в том разгуле, в котором дыхание ребенка переходило в дыхание солдафона или куртизанки; перевернутые законы отталкивания и притяжения приводили их к временным комбинациям, так что образовавшаяся при этом связка различных предрасположенностей обогащалась ими, пока не начинала испытывать содрогания сладострастия и отвращения и в той же самой связке не возникала насущная потребность их воспроизвести, подходящая, чтобы изобразить мимолетное единство; тогда обманчивый обмен нежностями и оскорблениями пробегал по переплетенным спиральям этих не имеющих цели воль; ну а если случаю подчас все же было угодно, чтобы какой-то осо-

бый отголосок обнаружился таким, каким он был произведен в последний час отторжения одного из дыханий от своих органов, — либо это дыхание в приливе воспоминания навязывало его другим спиралям, либо связка распадалась: ничто не мешало им более упорствовать в произвольности своих спутываний, а собственное движение заново рассеивало их поодаль друг от друга, разделенных вечностью.

Великий же Магистр принимал столько дыханий, сколько в состоянии была вместить его крепость: он знал, что если поднимет подъемные мосты, они войдут через дымовые трубы: если удерживать их силой, ничто не помешает им сбежать тем же путем, каким они и пришли; подчас он надолго замирал перед окном, созерцая листву раскинувшихся вокруг лесов, гнущихся, качающихся, волнующихся, словно подавая ему знак, под яростными шквалами вихрей, его будущих гостей, которые, рискнув очутиться на подступах к этим стенам, не беспокоились, примут их здесь или нет; но он знал, что виновен в том, что оставляет их в неведении снаружи: внутри покой едва-едва восстановился; как бы там ни было, нехватка места служила не более чем предлогом; когда он заводил речь о том, чтобы расширить крепость, Смотритель Ордена улыбался: мало того, что имелись и другие Командорства, даже и это протянулось, насколько хватало глаз, то проходя через холмы, то вновь возникая над долиной, достаточно было подняться на одну из башен, чтобы в этом убедиться: но на самом деле вопрос о месте был тем же самым, что и о положении, которое надлежало занять в качестве дыхания по отношению к другим дыханиям: если дыхание должно населить тело, причем свое собственное, в то время как его выдыхание исторгло его, бывшее совсем внутри, наружу, очутившись вне самого себя еще более для себя внутренним, чем когда бы то ни было, оно далеко от того, чтобы оказаться на своем месте, поскольку в качестве дыхания обладает способностью расточиться повсюду, словно так всегда все и было.

Ведь призванное вновь обитать в своем теле как в самом себе, но вполне у себя дома также и в любой из тысячи обителей в доме Отца своего, оно никоим образом не найдет в него пути собственным ходом, если только не откажется в промежутке распространиться повсеместно, сколь бы сильно ни подталкивало его к этому мнимое сладострастие потеряться в своей без конца выворачиваемой наизнанку интимности. Посему ему нужно в качестве дыхания обитать в замкнутом пространстве, в помещении, дабы от рассеянной напряженности оно вернулось к состоянию намерения и, мало-мальски оседлое и взвихренное, перешло от завывания к шепоту.

Но чтобы они были подведены к изобретению подобного обиталища и задержались в крепости, надо было, чтобы дыхания видели в ней не свое место, а свое отсутствие в этом месте; чтобы им было здесь не так вольготно, как снаружи, где они двигались как внутри себя: здесь их следовало подтолкнуть к осуществлению своих намерений. И ничто не казалось более пригодным к этому, нежели устав и эмблемы Святого Ордена; ни одно место так не благоприятствовало, как эта древняя цитадель, тому, чтобы разместить дыхания в невероятном промежутке, который, как и испокон веку, отделял их от испутившего их праха.

Дыхание, то есть всего-навсего прозрачное пространство — до такой степени, что оно оценивает как внутреннее для себя все то, что с ним происходит, — создает в своем беспредметном намерении одни только внеположности, не менее примышленные, нежели само это намерение. Ему навстречу приходит другое дыхание, так они взаимно примысливают и предполагают друг друга, но каждое в соответствии с переменной напряженностью намерения.

И вот, дабы его дыхание и в самом деле было дыханием Великого Магистра, он некогда продумал безразличие своей опустошенности, упражняясь в том, чтобы измыслить собственное невозможное служение через промежуток между вдохом и выдохом в безраз-

личной опустошенности своего имени; так что ему удалось различиться с этим разделяемым с другими дыханиями безразличием при помощи намерения, измышленного как внутри него самого, так и по отношению к его братьям; если только они в свою очередь измышляют собственное безразличие предметом его забот. Только звук ангельской трубы в последний день, снова воссоединяя дыхания с их телами и пробуждая ими оные, положил бы конец хрупкости измышленного Святого Ордена.

Слишком долгая привычка к подобию бытия, к которой он уже более-менее прибежал при жизни в миру, по куда более веским причинам донимала его в текущем состоянии, пока ему не вздумалось на скорую руку составить совершенно зачаточный свод правил, который, будучи лучше приспособлен к неприятным сюрпризам сих мест, не позволял ему снова впасть в рутину толкований, вполне допустимую в юдоли слез, но здесь несвоевременную. Такого приспособления своего понимания, сначала с целью не быть обманутым или введенным в заблуждение, прежде чем он сможет даже понадеяться уловить то, что происходит и вокруг него, и в нем, он постепенно достиг лишь своего рода сочувственным подражанием, не без отвращения пойдя на то, чтобы приблизиться к позициям испущенных до него дыханий: если когда-либо эти позиции и в самом деле отвечали каким-то намерениям, речь шла еще и о том, чтобы не заразиться их пониманием.

Принимая вид многих фигур, думал он, каждое дыхание отличается своим собственным способом возбуждать пустоту, словно осваиваясь с тщетой, а подчас и желая к тому же приберечь ее для другого, более обширного и более пустого дыхания, — пустота не внушала здесь никакого ужаса! — и следовало бы отказаться от всякого понятия телесного и земного прошлого вместе с той аксиомой, что душа — это форма тела, дабы выявить здесь, где ничто более не отличает одну душу от другой, — в отсутствие про-

странства, свободно заполняемого всеми дыханиями, — содержание намерения, каковым бы оно ни было: отсюда и бесконечное и, на первый взгляд, безвозмездное разнообразие фигур, способных при случае незаконно овладеть ценностным суждением: от сферы до диска, от угла до конуса, от простой поверхности, простирающейся куда ни кинь взгляд, до прямой или волнистой линии, зигзага или простейшей точки: такими ощущал их сам Великий Магистр, когда ему случалось в пустоте собственного дыхания обособить из многих других какое-нибудь одно: сколь бы ни было озадачено его восприятие зрелищем попеременно скручивающейся и распускающейся волютами пустоты, все же зрелище того, как она сходилась складками к определенному центру, оставляло, казалось, возможность предположить какое-то завершение; ничто, однако, не подходило так близко к наихудшей злокозненности, как в тот миг, когда во вновь ставшей чистой и безмятежной пустоте одно из дыханий являло собой уже не более чем простую неподвижную точку. Произвол, быть может, но в чем и по отношению к чему злобный?

Ко всем этим размышлениям Великого Магистра побудило внезапно открывшееся под сводом высокой ротонды зрелище висящего в пустоте юного тела.

— И в самом деле тело, — сказал он себе, — но, хотя оно и лишено жизни, это все же не труп. — При всем своем кажущемся неправдоподобии это разграничение отвечало общему положению тамплиерства. Здесь можно было видеть все, что походило на то, чем был ты сам: дыхание, вихрь, — но не то, чем ты уже перестал быть: не трупы или живые и осязаемые тела. А это тело не было живо, но не затронуло его и тление. На лице удавленного отрока не осталось никаких чудовищных искажений, порождаемых подобного рода казнью.

— Это дремлющее тело: значит, он проник сюда обманом.

Придя к такому заключению, Великий Магистр почувствовал странную привлекательность гипотезы, что заботу об этом теле взяло на себя само Высшее дыхание, дабы сохранить его в свежести и после смерти.

— Он прекрасен, как ангел! — к своему удивлению, произнес он. — Но, если его поддерживает Высшее дыхание, могу ли я просто так к нему приблизиться? Я, лишенный собственного тела, будучи всего лишь дыханием, а не чистым духом, вижу его, конечно же, не духовными очами, а с точки зрения отсутствующего и упраздненного взгляда: ибо имеется разница между тем, чтобы воспринимать предмет, о котором думаешь, каковой достаточно осязаем, чтобы мысль от него отвлекалась или к нему возвращалась, и тем, чтобы мыслить, пока не воспримешь неощутимую очевидность, единственную, пожалованную нам здесь: любое ноющее или стонающее дыхание не так беспокоило бы меня, как это неприкрытое тело, каковое к тому же на вид легче, чем самые разреженные среди нас! Или же оно являет собой продукт моего пророчествующего дыхания? Моя ли благочестивая суетность принесла себе эту жертву, или же сия пожертвованная полнота поддерживает сами наши укрепления?

Набравшись так, благодаря приевшимся хитросплетениям, смелости, он устремился вперед, уже не столько заботясь о том, чтобы до прибытия Короля изгладить в башне все подозрительные следы, сколько из внезапного желания испытать власть своего дыхания над мнимым трупом. И посему со всем неистовством, на которое, заподозрив какую-то трансцендентную стратегию, подвиглось его собственное дыхание, он взвихрился вокруг висящего в пустоте тела.

Играя в волосах отрока, он трижды прошептал ему на ухо:

— Если ты от Господа, подай мне знак и приди на помощь в моих невзгодах!

Но не приподнялась склоненная голова, не изменилось вертикальное положение висящего в воздухе тела.

— Кем бы ты ни был, — продолжал Великий Магистр, — обитатель сего казненного тела, отвечай: твое ли оно? Именем Святого креста, услышь! останови свое движение — если можешь!.. Но коли ты — одно из испущенных дыханий, явившееся в это тело, чтобы избегнуть нас, других усопших, оставь его покоиться с миром, исторгнись и без уверток объяснись! Если ты — как раз этот казненный, не бойся сказать мне об этом: что ты видишь, что чувствуешь? Из-за страдания или же из-за блаженства остаешься ты так возвышенным в пространстве? Почему по-прежнему на твоих руках путы? на шее веревка? Что удерживает тебя здесь? Говори, заклинаю тебя, не усугубляй моей растерянности!

Но, глухой ко всем вопросам и мольбам, отрок продолжал медленно вращаться в пустоте вокруг самого себя: необычная улыбка свела его приоткрытые губы: из них не вырвался ни один выдох, не втягивали воздух раздутые ноздри. Тогда, в надежде обследовать тайные движущие силы этого присутствия, каковое в своем притворстве казалось чреватым грядущей славой, Великий Магистр попытался вдохнуть себя в тело отрока через рот: но сколь бы буйным ни пытался он быть, так и не сумев проникнуть в это отверстие, он рассеялся легким паром по краю губ юноши. Длинные дуги ресниц затеняли сомкнутые веки поглощенного бесконечным смакованием лица. Это тело оставалось недоступным исследованию.

Как поступить дальше дыханию Великого Магистра, коль скоро оно восприняло этого совершенного в своих четких очертаниях юношу как отсутствие дыхания? Оно столкнулось уже не с покорной его внутренним измышлениям внеположностью, а как бы внутри себя с замкнутым внутренним пространством; внутри самого себя он оставался снаружи; мог ли он,

возбужденная заботами сверхчувственная пустота, заключить в себя эту покойную вплоть до безразличия непрозрачность?

Он захотел перевести дыхание, чтобы с еще большим пылом вдохнуть его в это немое и глухое совершенство.

Но когда он попытался, перед тем как вновь наброситься на него, взвихриться более широкой спиралью, ему не удалось даже чуть-чуть от него удалиться: из всех движений ему было дозволено лишь подчиниться вращению висящего в пустоте тела.

Словно отвергая всяческие дальнейшие повеления, тело юноши принялось столь стремительно вращаться вокруг своей оси, что, казалось, утратило всякие очертания, образуя лишь осевую колонну в центре вихрящегося дыхания Великого Магистра; а тот, подхваченный безумной скоростью, расширился в крутящиеся обручи этаким юлы; но когда вращение висящего тела вновь обрело изначальную неторопливость, вихрь Великого Магистра разделился на три спирали: его восприятие, волю и сознание. Воспринимающая спираль уже ничем не отличалась от вращательного движения отрока, но ей никак не удавалось охватить сразу все его телесные грани; во второй спирали — поднималась она? опускалась? — воля оборачивалась безразличием; в третьей, чье движение оставалось неосязаемым, сознание изнемогало в попытках отразиться в двух других. Стремясь обрести себе намерение в забвении самого себя, оно уже не отличало более в своих устремлениях пустой предлог от истинного мотива: точно так же, как восприятие смешалось в нем с наполненным воспринимаемым предметом опустошенностью, так и повод смешался с мотивом; ибо пришедшего в проклятую часовню, дабы сокрыть от Короля малейшие следы преступления, отнюдь не озабоченность этим навела его на мысль обследовать сие святилище. Ведь, при виде этого явления, хотя поднимавшиеся им вопросы и имели какое-то отношение к мотиву, последний тем не менее по-прежнему

му оставался прикрыт устремлением сокрыть преступление — вовсе не в безразличной воле, а в сознании, на которое оное безразличие распространялось с той же полнотой, как и восприятие юного тела; пусть даже та манера, в коей оно себя вопрошало, было уже не более чем переобдумыванием той безразличной пустотности, в каковую вновь обратилась сама его воля; либо сознание посчитало себя в трех этих спиралях в качестве стольких заново родившихся из его безразличия различных отношений, либо оно заблудилось среди предположений и альтернатив: если Господь сохраняет нетленным бездыханное тело, то не для того ли, чтобы призвать бестелесные дыханья к победе над своей безразличной свободой? или же, напротив, для того, чтобы испытать их рассудительность: разберись, не это ли — та опустошенная форма, каковую может наполнить твоя собственная суетность?

Близкое к тому, чтобы затронуть истинный мотив, сознание его было более не в силах ответить на столь, казалось бы, благовидные вопросы, когда на них уже ответило восприятие. Ибо восприятие неизмышляемого, непредположимого предмета упразднило тот промежуток, который он создал себе ради духовного созерцания, когда предполагал всякую вещь внутри самого себя: нет более времени от одной вещи до другой; непосредственным образом оно облегло все формы этого тела. Итак, то, что он воспринимал в своей опустошенности, будучи не в силах не возжелать, достигало его оторопевшего сознания лишь догадками — сознания тем более слабого, чтобы отвергнуть воспринимаемое, что оно тщетно предполагало себя в этих трех спиралях, из которых потому и было менее всего достоверным. Ибо если бы оно преуспело отразиться во всех трех единым вдохновением, оно всего лишь восстановило бы тщетный предлог по сокрытию преступления, прикрывающий истинный мотив. Ведь, как написано: *Сила моя совершается в немощи* — истинный мотив раскрылся как раз по воле его оторопи, то есть в очередной раз по воле

его безразличной воли, которая желала, чтобы все, что он воспринимал, он воспринял так, будто этого уже желал: тем самым, воспринимая какую-нибудь частицу этого тела, он не мог не возжелать также и эту частность.

Что же возникло тогда, из-за чего сия частность, которую он тоже не мог не возжелать, вывела его из безразличия? Ни целиком тщетный предлог скрыть преступление, ни, с другой стороны, истинный мотив: но одно, так сказать, предполагало другое.

Восстановила одним вдохновением Великого Магистра в его намерении раздражительность, которой внезапно предалось его восприятие: отнюдь не само сознание, погрязшее в озадачивающих силлогизмах. И хотя раздражительность обладала при этом тем достоинством, что пробуждала в сознании угрызения совести, причина оных все же от него ускользала: у едва образовавшегося как тень сомнений намерения не было даже времени познать свой предмет: оно и было самим этим предметом, этой воспринятой частностью.

Ибо на самом деле, раздосадованный, что благородные отверстия — рот, уши, ноздри, эти символы изречения, согласия и порицания — оставались ему заказаны, он истово закружился ниже, вокруг боков отрока: ниже связанных за спиной запястий, мимо-летно касаясь этих бескровных рук с вывернутыми к ягодицам ладонями, долго колебался он перед непотребным отверстием.

Если запретным для вдувания оставался для него и доступ через анус, ему пришлось бы примириться если не с очевидностью, то, по крайней мере, с гипотезой, что небеса поддерживают отроческое тело в пустоте одновременно безупречным и недоступным. Здесь, из этой гипотезы, поднятой еще раз сознанием в качестве причины своей задержки, родились угрызения совести: тогда, наподобие вспышки молнии, намерение разрядилось раздражительностью.

И вот, запечатавший анус, сверкнул испещренный гербами Святого Ордена бриллиант.

На такое двойное надругательство не мог покушаться никто другой, кроме чудовищного Мальвуази.

Не для того ли, чтобы отвести бесчестящее обвинение, выдвинутое против его братьев? Или же для того, чтобы отомстить за угасание собственной власти над этим усопшим телом?

Таково было негодование Великого Магистра, что он сосредоточил на драгоценном камне все напряжение своего дыхания: кто бы мог в это поверить? Отпуская своего светозарного хранителя, раскрылись, зияя, роковые пороги.

Мальвуази обладал при жизни телом этого юнца. Куда же делось дыхание злодея? Куда — его жертвы? Каковая подчинилась некогда Мальвуази, а ее тело, тело исступленного мученика, пренебрегло дыханием Великого Магистра! Не подчинялась ли она по-прежнему дыханию своего палача? Не находилась ли все еще в левитирующем теле? В восславленной пустой форме?

В бриллианте отсвечивал тем не менее повод скрыть от Короля любые следы преступления. Но если бы в этот момент в проклятую молельню проскользнуло и дыхание Филиппа, оно бы обнаружило Великого Магистра склонным к признанию. Стоило кольцу упасть, и бриллиант излучил истинный мотив.

Угрызения совести послужили для сознания ступенью, которую оно преодолело и оттолкнуло, стоило ему избавиться от безразличия воли. Великий Магистр перевел дыхание: непотребство зияющего отверстия заключалось единственно в ожидании его собственного непотребства. Прошла уже целая вечность. И еще целая вечность должна была пройти: нужно, чтобы она не оказалась исполнена безразличия.

Великий Магистр, как и Тереза, каждый при жизни, в веках друг от друга, каждый сообразно подобающей его положению дисциплине — Тереза на пути созерцания, Великий Магистр строгостью сразу и во-

инской, и монашеской — научился распознавать наибольшее бремя вины как за своими телесными жестами, так и за побуждениями собственной плоти, предчувствуя тот переход к полному безразличию свободы, в которой пребывают испущенные дыхания, — к тому опыту абсолютного произвола, в коем, как представляется, в какой-то миг тонет вместе с нами, навсегда разрушая все, что для нас значимо, и сам Господь тел. Наихудшая и наивысшая ступень этого опыта в очередной раз словно милости требовала обращения к гнусностям, когда в оных не было уже ничего способного убедить, будто они вообще существовали. И если даже виновность оставалась в телесной жизни потенциальной, если прилежное умерщвление плоти обуздало в ней малейшие чреватые грехом поползновения, то с тем большим основанием надлежало, чтобы виновность актуализировалась в испущенном дыхании и чтобы оно грешило даже по воле своего безразличия, из страха, что последнее в лоне неподвластного слову покоя допустит небытие всякого вознаграждения.

Святая же, как казалось, менее чем кто-либо заботилась о воскресении тел, хотя и желала видеть свое воспламененным Господним гневом, пусть даже и в вечных муках, воспламененным тем, что в ее глазах было не чем иным, как высшей любовью; и соглашаясь с законом, который не только изъял у ее дыхания всякую плоть, но и лишил каждое дыхание его духовных качеств, она в свою очередь познала блуждания не имеющей цели воли, не имеющего собственного содержания намерения, рассеянная среди прочих, не достойных, наверное, ни при каких условиях с нею встретиться, дыханий, как и они — томящееся, напряженное, задыхающееся, переполненное — высшей, конечно же, любовью — дыхание; но ее, даже и здесь не имеющую никаких собственных интересов (каковые, преследуй она их когда-либо при жизни, тоже пребывали бы для нее совершенно безразличными), ничто не подталкивало отдалиться от других дыханий

запятнанного, преступного или сладострастного происхождения; вовлеченная в связки этих спиралей и ссужающая свой блеск непотребству, одному Господу ведомо, каким странным связкам, в которых лучшее в ней смешивалось с самым что ни на есть наихудшим, она тоже образовывала эти временные “кучевые облака” в промежуточных областях между мирами плоти и порчи и высшими небесами.

Подобная беззаботность в отношении достойного похвал пребывания в своем былом теле; подобное погружение в состояние безразличия; подобное смещение в отношении созерцания Господнего облика — каким он сам с трудом мог его постичь, — для Великого Магистра объяснением всему этому могло служить единственно очень простое соображение, как обычно и бывает с одновременно воинственными и монашествующими душами, которым в их положении привычно выносить столь же безапелляционные суждения, как и удары шпаги или крестные знамена: у Терезы была статуя. И какая! Не мог ли Господь видеть ее такую, какой этот шедевр предлагал святую поклонению мужчин?

Ангел одной рукой медленно поднимает стрекало, другой отводит в сторону покрывало святой, умиленно улыбаясь от удовольствия, что погрузил ее в экстаз. Какой трофеей преподносится победителю! Вся изогнувшаяся, выпростав внутреннее наружу, сокровенные складки души развернуты застывшими в мраморе волютами: отражающаяся в этих закатившихся зрачках невыразимая битва проступает на четко очерченных губах; источается блаженство ее поражения: тут сразу и исступленность бездны, в которой она растворяется, тут в единственном и неповторимом образе небесного отрока пойманы и ее изливания. То, что она отринула как стрекало сладострастной гордыни, Небеса возвращают ей на кончиках ангельских пальцев: и, отделенная наконец от естества святой, рождающаяся мужественность ее духа вершит невозможное обладание Терезой самой себя и его завершает.

Стиль этого каменного подобия был не во вкусе Великого Магистра; тем не менее именно из разглашенного скульптурой непостижимого секрета и почерпнул он необходимую для своих действий злобу.

— Либо Высший круг — место постыдного наслаждения спиралей, либо сия мистическая наглость означает ее отказ воскреснуть женщиной! Ну ладно же! Пусть она через это и пройдет.

Едва он только вдул этот приговор в то отверстие, которое все еще считал непотребным — забывая, что всякая часть воспламененного тела причастна к его славе, — как до тех пор склоненная голова отрока приподнялась; его глаза открылись; губы сжались, и, внезапно освободившись из стягивающих его запястья пут, правая рука прижалась к груди, а левая опустилась. — — — —

Великий Магистр намеревался отскочить назад: и не без неожиданной медлительности взвихрился, когда его дыхание оказалось семикратно пронизанным незапятнанной белизны семенем: какая неожиданность! оно стекало по лицу храмовника — ибо к нему вернулось его грешное тело, — и когда он протер глаза полон своей рясы, то вновь очутился на лестничных ступенях.

IV

Его встретила овация, отголоски которой рассыпались по ступеням, отразившись от высоких сводов большого рефектория.

И вот уже вновь установившееся в дыхании Великого Магистра единство перерасположило и упорядочило вне самого себя тысячу предполагаемых вокруг его собственного намерений. В полумраке обширного пространства над длинными столами пересекались потоки процеженного сквозь витражи дневного света, гудели тысячи ртов, сверкали тысячи взглядов: на мгновение слившись в едином крике радости, когда он входил в зал, братья-дыхания в нерешительности ожидали, что его слова заставят откликнуться в каждом из них свою собственную устойчивость: ибо здесь поминалась годовщина его казни, как и их собственных, бессмысленное разрушение Храма, беззаконие Филиппа.

Нужно или нет оправдываться им в самом темном из своих ритуалов, в плевках на распятие, ибо знали ли они в своем кругу, что именно отрицают? Понужденный прояснить этот ритуал, Великий Магистр признал сознательно принятую Святым Орденом ересь:

— Ведь дыхание Спасителя отнюдь не воплощалось, не умирало и не воскресало, или разве что по видимости: но любой слышит его голос, сбрасывает с себя свойственную ему видимость и живет навсегда, дыхание в Дыхании.

От подобных вырванных под пыткой признаний в момент своей казни на костре решительно и отсту-

пился перед собравшимся народом сир Жак де Моле. Прочие братья, отступившиеся, как и он, в то время от своего признания, отступились от своего отступления, готовые скорее передать дыхание Дыханию, но от него не отречься.

И что же это за видимость, касательно которой он отнюдь не верил в то, в чем некогда сознался в своем пытаемом теле, что же это за видимость, от которой отрекся заключительным актом веры? Ныне то, верить во что он здесь отказывался, было для него зримо, а он все еще уклонялся от очевидности того, что единственно казалось очевидным: ибо не было для дыхания ничего менее очевидного, нежели тот факт, что его некогда испустило тело, в коем оно должно воскреснуть, хотя бы и по видимости... Его братья некогда плевали на распятие, дабы воздать должное Дыханию в их дыхании; теперь он из своего собственного дыхания плевал на Дыхание во славу подвергнутого истязаниям Тела. Всякий раз, когда растерянность угрожала разобщить его вдохновение, память об окончательном отступничестве восстанавливала его единство: на этой завещанной истории позиции отступившегося, на этом вызове обманчивой очевидности сего посмертного еретического промежутка между мирским веком и ортодоксальной вечностью — именно на этом и основала память Великого Магистра восславляющее поминовение его казни.

Свою память он и обрел вновь в высоком зале рефектория. Здесь она находится среди тысяч его братьев, сотрапезников на этом празднестве; но ожидает, что к ней вернется ее собственное дыхание. И вот, стоило ей вновь его обрести, как она пытается распространиться на остальных и, делая вид, что сопровождает их до пределов их собственных блужданий, в таких словах обольщается она в том, будто делает очевидность бестелесной свободы им подзрительной:

— Возлюбленные братья! В этот памятный день, когда завершающийся виток орбиты в очередной раз

собрал нас вместе, перед тем как продолжить свой бег, — и пусть оный будет последним, что нас рассеивает! — я возношу благодарение Господу за вашу верность! Хотя вы освобождены от всех клятв; и пусть никакое принуждение не может быть более наложено на ваши дыхания, а ваше сознание расширилось в беспредельные пространства, где к вам взывают тысячи комбинаций, самое бытие которых дарует, кажется, выгоду сомнения, вы выбрали служение нашего старого братства! Сколь бы сильна ни была в вас склонность сполна взвихриться, что-то привело вас к этому столу: здесь мы вновь обретаем жесты еды и питья; о святая привычка, восторжествовавшая в каждом из нас над видимостями! Наши медленно низведенные во прах тела угрожают в мгновение ока нас вновь облечь — и пируем мы из ложного стыда!

— Вот почему, возлюбленные братья, перед тем как воссесть и свободно, всем вместе, побеседовать, свершим мы сей акт покаяния:

— Святая земля, которую мы отказались защищать, — ну разве не насмешка ли, что, с тех пор как мы тебя покинули, наше братство, наши богатства, наш вес и влияние не переставали расти? Но что же мы в таком случае покинули? Пустой Гроб, свидетельство нашей загробной жизни? Но после чего мы живем? Разве мы здесь не испокон веку?.. Кто же тогда поведал нам об этом, как не тот, кто в нем был погребен? Кто же тогда притворился, что ускользнул оттуда на третий день, когда его там не было и в первый? Дыхание! Но смогло ли бы дыхание когда-нибудь сказать: “Сие есть тело мое, сие есть кровь моя”, если только не для отвода глаз другому, обвинившему нас дыханию? Но в чем способно одно дыхание обвинить другие? В плохом применении, которое нашли мы сотворенным для нас телам? Возможно ли, чтобы дыхание дошло в своей извращенности до того, чтобы стеснить другие дыхания, а потом упрекать их, что им от этого не по себе? В чем же были мы там виновны, как не в том, что настолько стыдились быть ды-

ханиями, что скрывались в своих телах? Но что означает для дыхания тело, как не его сокрытие? Если только мы не виновны сейчас в том, что ведем себя здесь как дыхания, в чем же в самом деле могли мы быть виновны там, как не в том, что поверили, будто дышим, начиная с того дня, когда увидели свет, как и в том, что верим, будто то дыхание могло быть испущено на кресте! Но разве не сказал он также: “Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его”? Не в этом ли наш девиз, краеугольный камень, о который тщетно бьются наши хулители, поскольку он неподвластен законам тяготения?.. О братья мои! Остерегайтесь вопрошать себя так под предлогом, что здесь вы способны делать это на досуге, на совесть! Не так ли вас и подвергли пытке? Разве вам не предоставили доказательства того, что от вас хотели услышать? Что отрицалось воплями под пыткой, бездыханное тело или... сокрытое дыхание?.. Осторожнее, братья мои; в какого рода истину вы тем самым впали? — — — — —

Дверь казалась вновь замурованной. Но, прислонившись к камню, там стоял облаченный в черное с белым одеяние пажа Храма все тот же отрок: взгляд и улыбка святого.

— Что ты здесь делал? — спросил Великий Магистр, и вопрос вырвался у него изо рта так, будто сии исполненные подозрительности слова, вызванные прерванным на этом самом месте на века заурядным свиданием, стремились предотвратить неопределимое вне времени произвольное удивление. *Что ты здесь делал?* Подобный отрывисто произнесенный на манер выговора окрик вышестоящего ему подчиняющемуся послужил внезапным признанием одной канувшей в прошлое банальности: живое присутствие собственного пажа удивило его только потому, что он счел его здесь бестактным и неуместным. То, что недавно разыгралось в этой проклятой часовне, не осталось, возможно, без свидетелей. Что дверь оказалась вновь замурованной, ничуть его не успокаивало. Все, что происходило в этой крепости, отличалось полной прозрачностью, несмотря на толщину ее стен и почтительное и молчаливое поведение всех обитателей. Никому не было нужды говорить о том, что видели все. Напротив, вынужденный все видеть стремился говорить об этом как можно меньше. Некогда честность и милосердие требовали не слишком интересоваться тем, что происходит даже в соседней келье.

Теперь же никто из них не мог не видеть. Если, таким образом, некогда провиниться можно было в нескромности взгляда, отныне, видя то, знания о чем ты сознательно не искал, даже смолчав об этом, с подобной легкостью подавляя потребность говорить (и Великий Магистр сразу же это понял), ты оказывался виновным в согласии с фактическим, но противоестественным положением дел: *тем самым допускалось, что душа никогда не была соединена с каким-то телом*, и, поскольку личностная речь под тем предлогом, что более не имелось своеобразных собеседников, которым указывалось бы на что-то особенное, оказывалась бесполезной, открыто признавалось существование единого разума, каждым полученного, но действующего непосредственно во всех, под прикрытием этого молчания. На самом деле не было ничего более еретического, ничего более лживого, нежели эта добродетель молчания, ничего более нескромного, нежели эти отсутствующие взгляды. Сам закон, определяющий свободу безразличия отторгнутых от своих тел душ, придавал их бессловесным намерениям чрезвычайно опасную действенность: стоило указать на что бы то ни было, и, хотя бы уже самой возможностью обойтись без тела, ты менялся, навязывая одновременно изменение и “собеседнику”: сам менялся в том смысле, что тот, кто выражается без тела, непосредственно переходит в ту вещь, которую он выражает; и одновременно менял того, кому указывал на выражаемую вещь, в том смысле, что тот, кто получает это выражение вещи, каковую он, однако, уже знает и сам по себе видит, претерпевает в самом акте понимания манеру видеть того, кто о ней заявляет. Ибо получатель получает это новое выражение лишь от того, кто уже изменился, дабы выразить оное в его адрес: и получая его, он и сам ни в коей мере не противостоит изменению в “собеседнике”, поскольку ему в свою очередь нужно измениться, чтобы это выражение понять. И от этого отнюдь не так просто отказаться: так как тела не устанавливают более никакой грани между соответству-

ющими им намерениями, последние вторгаются друг в друга. В абсолютной прозрачности, в каковой по отношению друг к другу пребывают дыхания, самолюбие не представляет особой ценности.

Взаимное искажение членов его общины усложняло для Великого Магистра надзор за братьями-рыцарями. Благодаря озлобленности, родившейся из нанесенных королем Святому Ордену оскорблений, он преуспел в поддержании в каждом из братьев потребности не в отпущении и оправдании, а, напротив, в виновности под стать перенесенной несправедливости: провиниться, чтобы обратить беззаконие в справедливость! Единственное средство для братьев-дыханий не затеряться — под прикрытием слишком легкого прощения оскорблений — друг в друге, в безответственном обобществлении, в котором сходило на нет ожидание воскресения тел. Вот почему было необходимо, чтобы каждый провинился согласно древнему уставу по части гордыни и бестактности, дабы соответствовать установленному им уставу посмертному. Никто не должен выражать никаких фактов, которые не были бы выражены от своего собственного имени. Никто не должен сообщать факты, кроме как в виде действий. Никаких действий, не взятых на себя. В достойных порицания наперегонки винятся, как в своих собственных, достойные хвалы приписываются исключительно кому-то другому. Кажущееся соперничество: что здесь достойно порицания, что похвалы? Прошлое утратило свое значение, и нужно было притворяться, будто в нем заинтересован: это было необходимо, чтобы демагогически обнаружить себя в ком-то другом.

И вот, соблюдая внове введенный устав, на повелевающее: *Что ты здесь делал?* юный паж отвечивал:

— Я дал себя повесить, о Великий Магистр, для того, чтобы заставить мне поклоняться! Повешенный, я счел, что достоин поклонения, поклоняясь самому себе в ожидании того, кто будет мне поклоняться!

Великий Магистр на мгновение замер в изумлении: со всей очевидностью, отрок хотел в одиночку

провести в замурованной часовне прерванную медитацию. Но сколь бы похвальной ни была подобная верность Уставу, тем не менее та уловка, посредством которой отрок, так поступая, задел и его самого, вызвала у него раздражение.

— Вот, Великий Магистр, вот то преступление, в котором сознается Ожье де Бозеан, ваш покорный, верный и всегда послушный слуга.

Не успел отрок назвать себя, как его заявление возымело тот эффект, что Великий Магистр оказался отброшен в предшествующее его казни состояние. Ибо, согласно все тому же уставу, разве не должен был Великий Магистр в свою очередь повиниться в низости, в убийстве, сколь бы мало ни хотелось ему унижаться до того, чтобы умолять о прощении свою юную жертву? Но он даже не мог узнать ее в том, кто только что назвал себя.

И действительно, вводя свой устав самообвинения, он не предвидел, что для души, отторгнутой от тела, факт выражения от своего собственного имени, пусть даже и признания вины, влечет за собой такое же искажение, как и при любом другом выражении дыхания: и точно так же сие верное или ложное признание в адрес другого дыхания в не меньшей степени искажает и это последнее.

Итак, услышав, как отрок приписывает себе имя Ожье де Бозеана, он сам изменился в том смысле, что на него наложились подразумеваемые этим далеким именем “исторические условия” и что свойственное этим минувшим условиям содержание, как было бы и с любым другим содержанием, немедленно заполнило постоянную вакансию его дыхания.

Но разве не видел он совсем недавно подвешенного к сводам замурованной часовни юношу? Унесенный оттуда благодаря призыву святой, он сохранил только смутное ощущение какой-то мерзости: в нем не осталось ничего от сделанного открытия — разве что подозрение, что его выследили, — и уже это порождало в нем неловкость от чего-то предосуди-

тельного. И вот эта неловкость, теперь, на лестничной площадке, прислонившись к замурававшему проклятую дверь камню, обрела свой облик в кокетливо одетом почти что мальчике: шапочка с перьями, накидка из черного бархата, шелковые штаны. При виде этого еще не достигшего четырнадцати лет ребенка, говорящего ему дерзости, Великий Магистр забыл обо всем вплоть до своего устава, вплоть до бывшего события собственной казни и на мгновение вновь обрел те жесты, к которым привык при жизни:

— Ты еще не достиг возраста мужчины, а осмеливаешься говорить со мной иносказаниями! Немедленно ступай в келью, дабы моя плетка напомнила тебе о порядке!..

Тот, кто назвался Ожье де Бозеаном, рассматривал его при всей своей внешней покорности с примесью плутовства в бархатных своих глазах, словно бы, подражая глубокому взгляду Терезы, он не мог скрыть, что забавляется, присутствуя при некоем мрачном фарсе. Тогда, охваченный вдруг необузданной яростью, в своего рода припадке нетерпения, как иногда и в особенности бывает с так называемыми отторгнутыми душами, Великий Магистр, схватив юношу за ворот, рванул с него камзол. На бурно вздымающейся груди встопоршилась рубашка: завидя это, сир Жак в гневе разорвал ее надвое: в тот же миг из-под нее выпростались две алебастровой белизны груди юницы. Мнимый Ожье де Бозеан, запрокинув голову, с полусмеженными веками, так и не сомкнул губ. Вне себя, Великий Магистр хотел встряхнуть его, и вот, о чудо, он и в самом деле встряхнул юношу, вложив в это всю силу своих мощных рук: сжать такую хрупкую шею парнишки и ощутить под рукой девственную грудь — его собственное прокаленное тело, казалось, распадается в разгуле всплывших сил — и вот, когда с головы отрока упала шапочка с пером, по тощим восковым перстам старого тамплиера рассыпались эбеновые локоны. Он больше не сомневался: это был шпион Папы, Короля, а то и Ногаре.

— Шлюха! Ведьма! Фиглярша! Кто же ввел тебя под этими одеждами в наш святой дом?

— Перед Господом заверяю вас, мой господин, я всего-навсего Ожье де Бозеан! — и он поднял свою тонкую руку, на которой сверкал бриллиант.

Сир Жак отшатнулся, запустив пальцы себе в бороду, затем жестом показал пажу, чтобы тот снял свои короткие штаны. Отрок сделал вид, будто не хочет; снова его глубокий взгляд не отпускал Великого Магистра. Тот задрожал всеми членами, словно в их иллюзорной плотности отразилось, подобно пятну позора, посмертное осквернение замурованной часовни. Тогда, не отдавая себе отчета в том, что он просто-напросто берет реванш у безразличной свободы своего истинного состояния, он сам схватился за мощную и грубо дернул за шнурки.

Не успела разрешиться дилемма, как на келью обрушилась чудовищная вспышка молнии.

— Наконец-то и Небеса вмешались, — сказал он себе и впервые с тех пор, как пламя костра раскрыло перед его дыханием прозрение беспредельного дня, ощупью погрузился во тьму.

VI

Но то, что казалось ему полной непрозрачностью, быстро стало лиловым, а потом и красным, и смягчилось до некоей светлой прозрачности: и в самом деле, он чувствовал себя здесь одновременно и словно в безопасности, и избавленным от столь же непосильной, сколь и абсурдной ответственности, от которой под звуки труб ему поверилось, что он избавлен, — уж не трубы ли то воскресения? Ибо сведенный к простейшему выражению обещанного взлета, но исполненный легкости, способной погрузить в бесконечную зыбь блаженства, он первым делом различил — по воле своего же похотливого восприятия, себе под стать восстановившего диспропорцию между этими ласковыми протяженностями и его собственным влечением — подобную под его легкими шажками нежной ткани обширную ладонь женской руки — в ложбине каковой он счел, что прикорнул было, — тонкие пальцы которой опирались о сбегающее вниз безмерное и безмерно обнаженное бедро, которое он обогнул, облетев на полупрозрачных крыльях; там, жужжа от блаженства, он нерешительно проплыл между бассейном пупка и пологими склонами затененной долины; увлажнив свой хрупкий хоботок во влажном бассейне, уже хмельной, он едва ощутимо дотрагивался до сияющей искривленной поверхности; но, встревоженный тенью, которую отбросил туда, внезапно возникнув из зарослей кустарника, гигантский торс дракона, слепо бив-

шегоса розовым затылком о свои же пороги, он поспешил спастись бегством, поднявшись выше, туда, где в пространстве, подобно равнодушным и безмятежным в первых лучах зари заснеженным вершинам, возвышались увенчанные сосцами белоснежные холмы, и, не без боязливых колебаний решившись приземлиться на один из них, он взлетел выше, чтобы с тем большей осмотрительностью туда опуститься, и притворился, что сбился с пути по соседству с ночной шелковистой гривой, ниспадавшей курчавящимися прядями с огромного склоненного чела, когда на него уставились два светозарных шара: его вновь объяла мгла — ему едва достало времени вдохнуть теплоту в тесноте мягких стенок кожи: раздался отдающийся в нем до бесконечности хруст...

Испущенное на каменных плитах пола раздавленной мухой, икающее, вернется ли все же к нему его благородное дыхание? Поверженный вожделием до ничтожных масштабов гнусной изворотливости, он оседал, пытаясь понять, что же только что обследовал. Начатая чисто инстинктивно с опасливым предвкушением некоей зари, экспедиция эта завершилась столь ошеломляющим падением к ясности, что последняя едва ли могла объяснить это падение как ошибку: к ностальгии по цветущим приютам примешивалось горькое убеждение в том, что он был отброшен за недостойностью.

И вот, вглядываясь в стоящее перед ним и все еще невыразимое присутствие, он не отрывал, так сказать, чела от земли не столько из поклонения, сколько чтобы не судить, что именно узнал: был ли то Ожье или Тереза — он не желал больше знать; но, несмотря на это раболепие, в его ясновидении постепенно выстраивалось непостижимое; и хотя он хотел сосредоточиться только на одной стороне ослепительной наготы: на увиденном со спины торсе и на склоненной в созерцании самого себя голове юноши, — с куда большей силой фигура эта навязывала себя спереди: она и не пыталась прикрыться своими изящными руками,

но ее исполненные экстаза глаза, глаза самой Терезы, мерцали под широкими надбровными дугами отрока.

— Это и в самом деле ты? Нет, назад! — выдавил он.

— Ты стыдишься призвать меня такую, какую теперь видишь, хоть и преследуешь введенным тобою уставом! И вот он обращается против тебя самого, любой ценой стремящегося поддержать в своих братьях веру в их собственные тела! Оставь же душам, которые были от оных отторгнуты, сообщаться между собой и свободно изменяться, как ты уже изменил меня!

— Я тебя изменил?

— Взгляни и признай то, что видишь!

— Я, конечно, вижу твое чудовищное тело, но не верю в него, как в свое собственное, которого я лишен.

— Ну так оставайся привязанным к своему праху и обрети его еще раз, дабы тебя можно было судить сообразно твоим преступлениям в этом теле, когда окажешься вновь в него воплощен: именно на это ты и надеешься?

— Конечно, ибо Судия воздаст по справедливости моим врагам и позволит мне созерцать его лик!

— Кто твои враги и какой лик явит тебе Судия?

— Ему ведомы мои враги, а лик его меня наполнит! Ибо они сожгли меня невинного, а Он меня оправдает!

— И ты все еще в это веришь?

— Мой рассудок, каким он у меня остался, мне в этом отказывает, но я верю, что прожил в своем собственном теле всего раз и навсегда.

— Но не нужно ли тогда судить тебя и за те преступления, которые ты совершил в промежутке? Посмотри на этого шершня!

— Ну и?

— Ты не выбирал родиться в теле Великого Магистра, которого сожгли?

— Конечно, нет!

— Осторожнее с тем, что говоришь, Великий Магистр! выбирал ты или нет обличье этого шершня, чтобы отведать моего пупка?

— Ты надо мной насмехаешься!

— Это ты насмехаешься над своим воскресением, Великий Магистр! ибо если ты хочешь воскреснуть в своем суровом теле, за кого ты покаешься перед тем, кто будет судить тебя в теле шершня: за себя или за шершня?

— Я тоже хочу покаяться!

— Во второй раз заклинаю: осторожнее с тем, что отвечаешь: в чем собираешься ты каяться? в каком-то мелком проступке или в смертном грехе? под стать ли сия порочность шершню, или же это хрупкое насекомое должно было вобрать в себя все вожделение Великого Магистра, чтобы тот воскрес невинным? Кто должен искупать вину, шершень или сир Жак де Моле?

— Я все беру на себя!

— Но разве ты не ссудил этому шершню самое тайное свое намерение? Теперь ты — дыхание, испущенное шершнем!

— Тебе пока меня не убедить!

— Ну и что с того! — произнесла безмерная нагота. — Положим на чашу весов твое дыхание и этого шершня.

— Каковы твои гири и меры? — спросило дыхание, которое все еще считало себя Жаком де Моле.

— Твои собственные!

Нагота подняла вверх пребывающие в равновесии весы и положила на одну из чашек дохлую козьявку: чашка тут же подалась.

— Ты должен их уравновесить, Великий Магистр: выдохнись целиком на вторую чашку.

Но хотя он и прилагал все усилия, чтобы там сосредоточиться, его чашка так и оставалась воздетой высоко в воздухе, а шершень тяжело давил на вторую, неподъемную.

— Ну и к чему же ты пришел? — произрекла нагота, встряхнув своими длинными локонами, и под взмахи ресниц ее огромные глаза вращались из стороны в сторону, тогда как, поддерживая кончиками пальцев коромысло весов, она приоткрыла подмышку и слегка приподняла сосок одной из грудей; и поскольку рукой с длинными пальцами она по-прежнему упиралась в бедро, ее скипетр отбивал ритм ее же скептицизма. Но то, что осталось от дыхания Великого Магистра, уже съежилось на верхней чашке весов, созерцая эту потрясающую фигуру.

— Уж не воздержание ли наделило тебя подобной легкостью? Или какое-то грандиозное преступление сделало это насекомое тяжелее тебя? Ты же, как-никак, не станешь утверждать, что безразличная невинность насекомого может взять верх над исторической значимостью Великого Магистра? В третий раз повторяю: осторожнее, сир Жак де Моле, а не то явишься пред Господом таким, как ты хочешь, обремененным еще и этим грехом, — и тогда либо избавь сие насекомое от груза своего вождения, либо прими наказание в повинном шершне!

— Неужели я совершил недостаточно гнусностей, чтобы добавлять к ним еще и готовность слушать твои абсурдные дилеммы...

— Эти гнусности — всего-навсего слабые потуги твоего же безразличия! Воспользуйся, по крайней мере, телом этого шершня, чтобы расквитаться со своими долгами, если в твоей доктрине есть хоть какая-то связность!

— Хорошо! я искуплю этот миг заблуждения из любви к Справедливости, коли она в твоей власти.

Вот только было ли у него время, чтобы прийти к решению, да и какое представление о справедливости способно было у него все еще сохраниться? Уже его перекинувшееся в тесный корсет насекомого дыхание вновь почувствовало себя там настолько вольготно, что он приподнялся на лапках и, расправив крылья, полетел с чашки весов прямо к розовеющим со-

VII

— — — — —

Сир Жак де Моле вернулся в свое прежнее состояние: но, облаченный в ту же рясу, что и в день своей казни, частично обгоревшую и еще дымящуюся, он валялся в ногах юного Ожье де Бозеана и обнимал его колени: тот же, в своем пажеском костюме, протянул к старому тамплиеру изящные руки; Великий Магистр покрыл их поцелуями.

— Мой Спаситель и Бог! — пробормотал он.

— Почему ты называешь меня спасителем и богом? — спросил отрок, лаская ладонями его щеки. — Ведь я не создатель, который подчинил само бытие тому, что он создал, то, что создал, — единственному “я”, а это “я” — единственному телу. О сир Жак, миллионы “я”, которых ты подавляешь в себе, мертвы и миллионы раз воскрешены в тебе, в неведении о чем пребывает твое единственное “я”!

— Не меня ли самого ты только что спас из пламени?

— Тебя спас твой Творец, Тот, кем ты востребован как Его собственное создание, поскольку так ты мне говоришь, и я с этим не спорю! Ибо я — не господин, который пожинает, как Он, то, чего не сеял!

— О, кто бы ты ни был, не оставляй меня!

— Прими мое служение, и я буду твоим верным слугою!

— Какую еще большую услугу ты мог бы мне оказать, ты, вернувший меня себе самому!

— Освободить тебя от себя самого...

— От меня самого? Но ведь нужно, чтобы в моем теле судили именно меня!

— Отнюдь не нужно! Этого хочешь ты сам! А вовсе не ту свободу, которую ты потеряешь, когда воскреснешь таким, каков ты сейчас, — не того знания, которое ты вновь забудешь, когда узнаешь себя таким, каким тебя знает твой Создатель, на пользу это тебе пойдет или во вред! Но как же ты тогда себя узнаешь? быть может, как нечто хуже мухи?

— Так ты, наверное, повелитель мух, коли так утверждаешь!

— Конечно, нет! Ибо Он создал также и мух, дабы внушить вам более высокое мнение о самих себе! Но если бы ты сохранял теперь свою свободу, ты бы знал, что нет никакой разницы между блаженством серафима у подножия его трона и блаженством шершня, услаждающего себя потом из моего пупка!

— Значит, в этом и состоят твои услуги?

— Высокого же ты о себе мнения! Я так и останусь тебе навсегда бесполезным слугою! Прощай же! — произнес отрок с глубоким поклоном. Великий Магистр крепче вцепился в его ноги:

— Ты меня покидаешь? Остановись, — умолял он. — Под каким именем тебя призывать?

— Ты отказываешься от моих услуг! Какое тебе до моего имени дело? Поистине, поистине говорю тебе: миллионы братьев и сестер, умершие в тебе из-за высокого мнения, которое ты о самом себе составил, знают мое имя и в нем возрождаются; для такого надмерного дыхания, как у меня, нет никакого имени собственного, как не в силах устоять перед головокружением от моей стати и высокое мнение, составленное о себе каждым; мое чело выше звезд, ноги мои вздымают бездны мироздания.

Столь высокомерное заявление со стороны изящного подростка, хотя Великого Магистра и покорило выражение его лица, не могло не показаться старому тамплиеру смехотворным, и этот приступ рассудочности

вмиг стер из памяти храмовника все то, что только что произошло и привело его сюда, пресмыкающимся у ног пажа, чьи колени он тесно прижимал к своей груди, елозя руками по ляжкам отрока. Тот, нахмутив брови, сделал было движение, чтобы высвободиться.

— Каково же это необыкновенное имя?

— Куда подевалась твоя серьезность, Великий Магистр! Говорить это имя тебе бесполезно: как только приходишь в себя, вспомнить его невозможно.

— Продиктуй мне его по слогам, прошу тебя, дабы я мог воззвать к тебе хотя бы и всего один раз!

Отрок начал:

— Б-А...

— Ба?.. — повторил Великий Магистр.

— Ф-О... — продолжал отрок.

— фо...?

— М-Е-Т...

— ...мет!..

Внезапно отрок показал на него пальцем:

— Как тебя зовут?

— Но... Жак де Моле... увы!

— Как ты будешь звать своего верного слугу?

Все еще скорчившийся на полу, сир Жак уронил руки. Отрок, немедленно высвободившись из его хватки, отступил на шаг.

— Сир Жак де Моле, отсрочка подходит к концу. Я не могу повторить тебе свое имя. Слишком почтительный по отношению к Создателю, я с уважением соблюдаю договор, который нас связывает: память — его вотчина, моя — забвение себя теми, кто во мне возрождается. И я, конечно же, воздержусь напоминать Ему, что прежде чем создать вас, всех остальных, Он умертвил в себе тысячи богов, чтобы создать Себя единственным! Я не могу ничего против памяти, которую Он оставил своим творениям.

— Подожди! — вскричал Великий Магистр и распростерся во весь рост, протянув руки к юному пажу, который повернулся было к нему спиной, но тут же резко обернулся:

— О Великий Магистр, говори, пока не вернулся в состояние недоумевающего вихря! Что еще хочешь ты узнать? — добавил отрок, но в его глазах сияло то же сочувствие, что и во взгляде Терезы.

— Я уже не знаю, в чем мне нужно тебе признаться, помоги мне! — прошептал Великий Магистр. — Помоги мне, ты же это знаешь!

— Ты, значит, веришь в меня? Решайся же!

— Спрашивай, иначе меня задушит глупость... — задыхаясь, пробормотал Великий Магистр.

Тогда, приблизив свое сияющее девичье лицо к иссушенному пепельно-серому лицу старого воина-монаха, отрок шепнул ему:

— Ты не покаешься теперь в том, что бежал перед драконом из тенистой ложбины?

— Я умираю со стыда!

— Не в этом ли ты никак не мог мне признаться?

— Так и есть!

— Но если теперь ты этого стыдишься, то не потому ли, что не колеблясь сразился бы с ним в качестве доблестного рыцаря, каковым и являешься?

— Ну конечно!

— Но позаботится ли доблестный рыцарь о том, чтобы отомстить за трусость шершня?

— Это было бы смехотворно!

— Не может ли быть, что ты стыдишься скорее своего покаяния?

— О, дай мне снова к нему повод!

— Но, — сказал, слегка отодвигаясь, отрок, — что если отвага рыцаря такова, что он готов сразиться с драконом оружием шершня? Не более ли достойно и справедливо добиться торжества подобным способом?

— Что ты имеешь в виду?

— Дабы он восторжествовал, ему нужно утолить жажду из источника сосцов и почерпнуть там крепость, необходимую его стрекалу: затем он полетит на штурм и, если поработит дракона, тот отдаст ему свое жидкое сокровище!

— Ты принимаешь меня за дурака? — вскричал, внезапно выпрямляясь, Великий Магистр, — и не пора ли тебе, негодяй, наконец мне подчиниться!

Он ринулся вперед, но тут же вновь повалился в собственную пустоту: он вернулся в свое летучее состояние.

— А! Где я был? Что я сказал? Где я?

— Вне сожженного тела Великого Магистра, как и пристало его испущенному дыханию?

— Какого Великого Магистра?

— Будь верен своему забвению!

— Бафомет, Бафомет, кто же ты такой в моем забвении? — спросил он, вихрясь вокруг отроческой фигуры, лицо которой стягивал апостольник. В ответ, чуть отодвигая своей прекрасной рукой покрывало кармелитки:

— Владыка Изменений! — произнесла она, и ее длинные ресницы трепетали, а пальцы играли с четками, завязанными на поясе черной рясы, ниспадавшей длинными складками до самых ног. — Поистине, говорю тебе: тот, кто питает свое забвение моим девственным млеком, обретает невинность; тот, кто тем самым насытится и сам, тут же возжадет семени моего уда; но тот, кто отопьет моего семени, даже и не помышляет более о том, чтобы меня призывать; ибо он не боится более проходить через тысячи и тысячи перемен, которым никогда не исчерпать Бытия.

— О, дай же! чтобы мне не надо было более тебя призывать!

— Но горе тому, кто пьет из моего уда со своей памятью, чтобы плюнуть на мои девственные сосцы! Поистине, он пьет свое осуждение!

— О Бафомет! я голоден, я жажду твоего молока, твоего семени, не оставляй меня томиться подобно умирающему от жажды оленю! — прошептало на выдохе забвение Великого Магистра, увиваясь вокруг корсажа, распираемого изнутри грудями монахини.

— Ты отказываешься от своих обязанностей Великого Магистра?

— Насколько знаю, я никогда их и не отправлял; но коли ты так утверждаешь, я отказываюсь от них от всего сердца!

— Обещаешь больше не праздновать годовщину своей казни, как делал на протяжении веков?

— Я не знаю, что меня когда-либо казнили, если, разве что, не ты здесь — вопросами, которые мне задаешь! Единственным праздником будет для меня твое имя!

— Отказываешься ли ты от того, чтобы тебя стерли и из людской памяти, и из твоей собственной?

— Что такое моя память? Кем я был? Кто я? Кем буду? Бафомет, поспеши мне на помощь!

— Чего ты хочешь?

— Всех изменений!

— Смотри!

И монахиня указала на стоящую перед ней на коленях фигуру старика — со сведенными вместе руками, закрытыми глазами, отвисшей челюстью.

— Кто это? — выдохнуло вопрос забвение Великого Магистра.

— Память сира Жака де Моле, противящаяся тому, чтобы я питала твое забвение!

— Чего же она хочет, коли остается так перед тобою в мольбе?

— Чтобы его Создатель вспомнил о своем отношении к его воскресению: насколько она презирает самозабвение, вытекающее из моих девственных сощов, настолько же хочет моего уда...

— Как? Она, значит, стремится испытать собственное осуждение?

— Отнюдь не поэтому жаждет она моего семени, а чтобы самой кормиться оскорблением, даже и ценой осуждения: ибо, поистине, тот, кто пьет меня со своей памятью, меня оскорбляет, о забывчивое дыхание, слишком хорошо припоминающее мои предостережения!

— Почему ты покорна оскорблениям памяти, о дарительница забвения?

— Потому что оскорбление побуждает истекать мое семя! Тем самым Владыка Изменений Бытия черпает наслаждение в своем собственном изменении!

— Возможно ли, чтобы оскорбление изменяло в забвении и тебя?

— Так надо, чтобы удовлетворить Создателя! Сама я не оскорбительна для его творения! Надобно, чтобы эти творения в ответ меня оскорбляли: в том их заслуга, о которой Он помнит! Тогда как я забываю даже то, что ими наслаждалась! А теперь, держись на почтительном расстоянии, пока я не рассчитаюсь со своими долгами по отношению к твоей памяти.

— Как же тогда поклоняться тебе в моем забвении, чтобы ты сдержала свое обещание?

— Оставайся верным в нем вплоть до последнего оскорбления!

— О Бафомет, не томи меня!

— Поистине, говорю тебе: прежде чем меня отвратить, ты трижды от меня отречешься!

— Клянусь, никогда.

— Ты вспомнишь только, что мне в этом клялся!

И с этими словами юная монахиня приблизилась к коленапреклоненной фигуре старика:

— Назови меня еще раз ведьмой, фигляршей, шлюхой! Можешь сказать это без боязни! Разве не исключена я из круга избранных?

— Ну конечно же! — возопил старик, по-прежнему не раскрывая глаз, не размыкая рук. — И до чего приятно знать, что ты исключена!

При этих словах апостольник скрывающейся под покровом фигуры треснул вместе с верхом корсажа и на свет явились груди отроковицы. Но отнюдь не собиравшееся держаться на расстоянии забывчивое дыхание Великого Магистра, вихрясь и задирая покрывало, осело на обнажившуюся грудь. Как только фигура так изменившегося существа обратилась к его памяти, отголоски ответа разнеслись и по его собственному забвению.

— Конечно же, ты всего лишь ведьма! — проревел старик с такой силой, что яростный выдох, несущий эти слова, направил их по спирали к бахrome на черной рясе: проскользнув под нее снизу, слова эти обвились в полумраке вокруг облегаемых штанами юных ног и там затерялись.

— И вечно будешь гореть в огне, питаемом твоим постыдством! — изрыгнул старик.

При этом проклятии монахиня пошатнулась, вытянула руки, словно пытаясь опереться о пустоту, и вновь обрела равновесие, лишь открыв забывчивому дыханию Великого Магистра путь непоправимого заблуждения.

— А, — выдохнула она, густо покраснев, — так ты решил обшарить мое ведьмовское постыдство! Не для того ли ты и пренебрег моими девственными сосцами? Ну так будь неблагодарным и дальше, откажи мне в том, что я — фиглярша! Перестань возвращаться к прошлому! Что?.. Ты настаиваешь?

Тут показалось, что внизу ее живота ряса слегка приподнялась, словно пойдя складками вокруг спрятанного под нею шара.

Но коленопреклоненная фигура по-прежнему не открывавшего глаз старика, внезапно разъединив до толе сомкнутые руки, схватилась десницей за край длинной рясы, каковую он властно задрал выше пояса монахини: между шелковыми штанами появилась, простодушная и топорщащаяся, атласная мошна юного существа, все еще носящего на голове свой монашеский чепец.

— Ты, столь уверенная, что изваянная с тебя для поклонения статуя свидетельствует перед небесами о твоей девственности, — прогремела снова память сира Жака де Моле, — не останавливаешься даже перед тем, чтобы притворно изобразить среди нас мужественность! как же еще назвать тебя, если не законченной фигляршей!

Мошна лопнула. Монахиня поспешно прикрыла улику ладонью, уронив при этом свое покрывало.

— Если ты счел мое подобие фиглярством, — произнесла она, чувствуя в то же время, как вместе с забвением подступает ее влага, — это не означает, что я к тому же и шлюха! Ну же, мой Господин, сделай наконец последнее усилие!

— Шлюха! Разве я не достаточно сказал? — возопила память сира Жака с по-прежнему закрытыми глазами, вновь сложенными вместе руками, опять отвисшей челюстью.

— О плодородная злоба! — глухо прошелестело в ответ забывчивое дыхание Великого Магистра, так и не добравшись до конца своих исследований.

Тогда, оскорбленный по собственному желанию памятью, но обследованный до глубины забвением — а его ладонь уже увлажнилась незапятнанной белизны кипением:

— Ты, пренебрегший напиться девственным молоком ведьмы, испей тогда из уда фиглярши шлюхиного семени! — простонал, лишившись своих покрывал, отрок. — Ах! вот и все, сир Жак!

Брызнувшее из-под его ладони семя, замутив бриллиант на пальце, упало в зияющий рот памяти.

Сир Жак де Моле, завершив свой благодарственный молебен, открыл глаза:

Под высоким сводом на конце веревки висело обнаженное тело Ожье де Бозеана.

— Бафомет, Бафомет, для чего ты меня оставил? — возопил Великий Магистр.

В ответ на его крики открылось выходящее внутрь зала окно и показался облаченный в рясу тамплиера король.

— Сир Жак, — громко прошептал он, — это посвящение во вторую или третью ступень?

VIII

••• **О**сторожнее, братья мои; в какого рода истину вы тем самым впали?.. Медленное или внезапное разрушение тела, — я говорю “тело” из ложного стыда, — разрушение из-за неудачи или насилия не перестает отдаваться в дыхании: стоит ли упрекать оное за дарованное ему право вновь обрести свою свободу! Мыслимо ли, что, коли оно всегда было склонно выйти из этого тела, дурно с ним обращаться или сделать сообщником своего окончательного побега, дыхание теперь от всего этого избавилось? Остерегайтесь, братья мои! Отсюда всего один шаг до того, чтобы сказать, будто все, на что испущенное дыхание покусилось посредством тела — я имею в виду, таясь от самого себя, — остается для него без последствий, когда оно это тело покинуло, и, стало быть, не хранит никаких следов подобного утаивания — ибо мы ничем не отличаемся от ветра или сквозняка, даже когда они уносят с собою лихо или сластолюбие, заражая ими другие места! Но что мы тогда скажем, если имело место насилие одного дыхания над другим? Будет ли последнее все еще держать зло на первое за то, что оное разрушило его хрупкое обиталище, коли оно оказалось освобождено от всех поводов остаться тем же? Чего только не насмотрелся я по сему поводу, отправляя свои обязанности! Не скажу, что дыхание-жертва не может узнать дыхание-палача. Скорее уж кажется, что оно вновь пребывает в поисках его оскорблений, если и не из по-

требности доподлинно знать, продолжает ли оно существовать, то, по крайней мере, для того, чтобы доказать себе суетность понесенного им урона. Но взлет, который приносит к нам внезапно испущенные дыхания, не оставляет им времени даже и на то, чтобы в этом убедиться: избавившись от поводов оставаться теми же самыми, дыхания-жертвы, завидев их приближение, готовы смешаться с дыханиями-палачами. Последние же, кажется, при виде того, как те их привечают, сраму не имеют. Ни обвинений, ни сожалений, как с одной стороны, так и с другой, и никаких прощений. Если не считать того, что бывшие палачи стали бы слабее своих былых жертв, если бы вдруг захотели от них отличаться. Здесь нет места моральному удовлетворению, да и вряд ли оно может быть востребовано. В наших условиях рождается насилие другого порядка: оно вершится полнейшим безразличием. Оно и есть само это безразличие: и поскольку не оставляет никаких следов, это — худшее из насилий! Против него и нужно мне, братья мои, бороться до тех пор, пока не будут воскрешены тела.

Еще не успели отзвучать последние слова, а среди радостного гама сотрапезники уже рассаживаются за столами и склоняются то к одному соседу, то к другому, без смущения то и дело окликают и перебивая друг друга, приходит в движение вереница пажей, по очереди выносят блюда, рекой течет вино; тем не менее есть среди них и такой, который никак не может избавиться от изумления; он делает усилие, чтобы ничем не выдать свое замешательство; косится на соседа по столу, Смотрителя Ордена, который ему любезно улыбается, но — не потому ли, что и сам Смотритель скрывает некоторую растерянность — не разжимает губ, кроме как для глотка или куска: чего-чего, а аппетита здесь хватает — пусть даже, как сказал Великий Магистр, из ложного стыда.

Этот совершенно ошеломленный сотрапезник — брат Дамиан, новый капеллан крепости: прибыв накануне со Смотрителем, он провел целую ночь, выс-

лушивая исповеди всех до единого братьев-рыцарей; в темноте ему казалось, что это один и тот же голос винится во все более и более чудовищных проступках; и когда он поспешно отпускал грехи при условии умеренного покаяния, голос в ответ молил о более тяжелой епитимье. На рассвете он отслужил в совершенно пустой часовне мессу, а шепотки подхватывали слова респонсория: *Меня приняли не за того, кто я есть.*

Почему Великий Магистр выражался такими обиняками? Не потому ли, что отторгнутые души обладают привилегией принимать истинное или ложное сообразно прихотям собственного настроения, по случаю все они тут и выдают себя за умерших? Все эти мужчины, по виду бодрые и сильные, так и пышут здоровьем, как старики, так и те, кто пребывает в расцвете лет, не говоря уже о тех, чьи щеки едва покрывает нежный пушок. Но — что окончательно привело в замешательство брата Дамиана — все проявляют особую гибкость, слегка беспокоящую податливость; стоящие или сидящие, они кажутся подвешенными; перемещаясь, скорее скользят, а не шагают; отправляясь сначала поспешным шагом, далее медлительно плывут; подчас они застывают посреди жеста: тогда ясно проступают цвета и объемы; подчас все ускоряется, оттенки расплываются или выходят из своих очертаний. Шушукаются; потом раздается взрыв смеха и расходится красноватым пятном, постепенно становится фиолетовым и переходит в лазурь; наконец, внятные слова начинают восстанавливать каждому его внешнее обличье; тогда выдвигается возражение, сомнение или гипотеза, разворачивающиеся и расходящиеся длинными бархатными складками; они дотошно поглаживают золотое шитье, спешат натянуть на себя незапятнанной белизны мантию; теперь изглаживаются складки и распускается распростертый на льне крест; и вот его поперечины складываются на смятую ткань и изворотливыми лепестками обвиваются вокруг рукава.

В этот момент трубит рог, и все устремляются к расчлененным каменными ребрами окнам рефектория.

С вершин холмов по их склонам до самой долины теснилась толпа всадников в сверкающих латах, с непокрытыми головами; их перехваченные лентами волосы развевались на ветру.

Один из них, на вороном коне, проехал, пригарцовывая, вдоль наполненных водой рвов и осмотрел высокие стены; он помахал из стороны в сторону горящим факелом и бросил его в направлении центрального окна, из которого высунулись Смотритель Ордена, Сенешаль и, чуть поодаль, Великий Магистр; факел внезапно замирает в воздухе на высоте их лиц, и языки его пламени разделяются: в середине возникает увенчанная папской тиарой голова; открыв рот, она взывает:

— Для того, чтобы передать тебе свое предостережение, о сир Жак, возлюбленный наш сын, извлекли Престолы и Власти нас на мгновение из пламени, где душа наша очищается от малодушной трусости, воспрепятствовавшей защитить тебя от беззакония! Прости Климента, недостойного служителя служителей Господних! Но если есть в тебе хоть какое-то сострадание к снедаемой печалью и питаемой надеждой совести, слушай! Вот что гласят небесные силы: “Одно из двух: либо ты с чистой совестью празднуешь годовщину своей казни, и мы на время этого торжества даруем как обещание грядущей славы сверхчувственную плотность твоей памяти и памяти твоих братьев. Но тогда, Великий Магистр Храма, не смей принимать здесь тех, дух которых отрицает, что Господь создал некогда характеры по природе вечно тождественными самим себе и ответственными за свои поступки и мысли! Ибо один из них проскользнул в твою крепость и, дабы соблазнить испущенные дыхания и показать, что нет никакого единства и ничто не остается навсегда равным самому себе, но все постоянно изменяется, пока не будут исчерпаны все сочетания, так что до бесконечности возобновится круговраще-

ние — в невинности столь же безысходной, сколь и порочной — придал здесь себе стать некоего млекопитающего с неисследованного континента: поостерегись, чтобы он не сошел за геральдическое животное и не стал гербом Святого Ордена! Откажись премножать ритуалы и эмблемы из опасения, что сам станешь первой жертвой своих слишком очевидных уловок! Или же, если ты полагаешь, что способен безнаказанно пользоваться своим дыханием для того, чтобы вдуть в спящие тела тот или иной исступленный дух за счет отторгнутых от оных душ и тел оных, вступай в заговор со слепыми силами и проси, чтобы они поддержали твое легкомысленное вдохновение! Но тогда от нас больше ничего не жди! Будь же бдителен в своем священном служении и прекрати предоставлять убежище тому, кто говорил, что *все боги умерли от безумного смеха, услышав, что один из них называет себя единственным!* Ты знаешь, о ком мы говорим: если до рассвета не выдашь нам Антихриста Фридриха, каковой пробрался к тебе в обличии муравья, — когда солнце взойдет над новыми умирающими, мы прогоним тебя из этой крепости и обяжем убраться в низшие круги твоего тогда бесполезного прошлого! Горе тому, кто нарушает клятву столько раз, сколько обитателей в доме Отца!” Вот, Великий Магистр, что гласят Престолы и Власти! Молись за мою бедную душу и облегчи ее заслуженные муки!

Последние слова потонули в треске факела; он упал обратно в руки младого всадника, тот, помахав им несколько раз, повернул назад и присоединился к стоящему перед ним войску, над которым, подобно орифламмам, по ветру над доспехами и неподвижными конями развевались волосы всадников.

Великий Магистр долго провожал его взглядом, затем повернулся к своим близким:

— Какой необычный способ призвать нас к бдительности — вывести здесь из себя кающуюся душу

Климента... на конце факела! зажженного как будто бы в Чистилище! Отговаривать меня от преумножения ритуалов и эмблем, когда сами они используют их налево и направо! Нет! Престолы и Власти говорят на более прямом языке! Что он хотел сказать? Какой еще муравьед? Что я должен делать с этим Фридрихом? Наверное, Гогенштауфеном? Антихрист... муравьед? Я, я — клятвопреступник? Что за насмешка! Прогнать меня из моей крепости?.. Не беспокойтесь, братья мои, — добавил он, протягивая руки к группе рыцарей, которые, как он заметил, отдавали какие-то приказания оруженосцам, — никаких необдуманных ответных мер, никому не двигаться и не выходить из крепости! Итак, вновь сядем и продолжим обсуждение! Брат Дамиан, на чем мы остановились?

Великий Магистр в сопровождении толпы сотрапезников проследовал к своему месту за отведенным для сановников длинным столом.

С краю огромного зала иноземцы, торговцы, паломники и несколько дам, допущенных в виде исключения в этот торжественный день, дожидались, пока он сядет, чтобы вновь расположиться поудобнее и поболтать, зная не зная о чудесном предупреждении. Что же касается сановников ордена, которые, окружая Великого Магистра, были тому свидетелями, если каждый из них истолковал услышанные слова на свой лад — ибо никто не удосужился приложить их к себе, — все они сохранили в памяти лишь непонятную формулировку требования по выдаче, за которой последовали угрозы.

Посему около двадцати братьев-рыцарей в полном вооружении и доспехах остались стоять рядом со своим Великим Магистром. Он, обернувшись к ним:

— Уже не в первый раз, как вам известно, нас беспокоят в подобный час! Конечно, нельзя исключить, что это новый удар Филиппа... я плохо выразился... последняя отрыжка его озлобленности из-за того, что он не был допущен к третьей ступени!.. Старая история! Возможно, кто-нибудь в тысячный раз

переписывает рассказ о нашем деле, и мысли путаются в голове у писца, чьи измышления за отсутствием сведений о наших тайнах и стоили нам нынче этого потока угроз: нас не сожгут вторично! — с этими словами он схватился за кубок, но еще добавил:

— Чтобы я... вдуть дух в спящее тело!.. кто когда-либо встречал здесь тело?..

Внезапно отроческая рука, держащая кувшин, до краев наполняет кубок Великого Магистра, потом наливает питье брату-рыцарю напротив него. Юноша убирает руку и вновь занимает место позади рыцаря среди остальных подростков. Он кажется самым юным и не поднимает глаз. Великий Магистр поражен чистотой его черт, изяществом фигуры.

— Кто это нам только что прислуживал? — спрашивает он у брата Лаира де Шансо.

— Господин, это сир де Бозеан, благородный сирота, коего доверила нам с нежностью взрастившая его тетушка, владелица Палансе, дочь внучатого племянника нашего прославленного донатора Жана де Сен-Ви.

— Его вид весьма нам по нраву, брат Лаир! Он благоденствен?

— Застенчив, но смел и зело проворен в гуще сечи!

— Что вы говорите, брат-рыцарь! Разве по возрасту он уже вправе быть щитоносцем?

— ...ежели сломаете три копья, — продолжал брат Лаир, — он добудет вам и четвертое, и колико раз полагали вы уже себя мертвым или во власти врага! Случись же загнать обоих коней, он тут как тут, спешит на помощь и пересаживает вас в седло собственного! Коли ему приносить полные обеты в нашем Командорстве, вручаю его вам!

— Грамерси! Пью за вас обоих!

Едва они осушили по этому поводу кубки, как один из сановников, сидевший чуть в стороне, между Смотрителем и Сенешалем, поднимается из-за стола: не узнал ли еще ранее Великий Магистр в нем Командора из Сен-Ви, также одного из гостей на этой торже-

ственной трапезе? И вот он стоит, совсем бледный, все время качая головой, выходит из-за стола и, чуть ли не пошатываясь, бредет в противоположный конец зала: он исчезает. Почему же Великому Магистру дышится теперь свободнее? Он питает отвращение к этому дыханию, которое открылось перед ним подобно бездне: но когда же? С тех пор что-то меняет взаимно одного и другого и при этом остается.

Как и отроческая рука, все та же, что и всегда, подлила ему питья, рука с тонкими пальцами, на одном из которых сверкает бриллиант. Подросток здесь, за стулом брата Лаира, который сидит напротив Великого Магистра и нового капеллана, восседающего по правую руку от сира Жака; ближе к краю, между Смотрителем и Сенешалем, — Командор... Ситуация прежняя: Ожье вновь расположился среди других, старших чем он, пажей. Великий Магистр вот-вот заметит чистоту его черт, изящество его фигуры; он уже готов спросить у Лаира: “Кто это нам только что прислуживал?..”

Но в воде бриллианта на пальце пажа отражается вечность, которая только что пресекла вечность Великого Магистра: в этот момент он говорит так, будто никогда не жить на земле и составляет для него, Великого Магистра, основное состояние.

Он замер и поднес к губам кубок, но поставил его обратно, так и не пригубив:

— Кто из нас когда-либо встречал тело?.. Здесь... где мы не более чем дым... и как долго еще?.. но уже достаточно долго, чтобы знать, в чем дело... А что собирается здесь делать король двух Сицилий? Тот, который нас ненавидел, хочет найти у нас убежище? Неужели после нашего процесса мы вдруг стали ему симпатичны? Я уже давно не поставлял сведений вихрям: и коли я его выявлю и распознаю, будь я проклят, если не окажу ему гостеприимства!.. А впрочем, — сказал он на ухо новому капеллану, — я же отказал в нем этому прохвосту Филиппу... возможно, он злобствует из-за того, что я ему сообщил... этому... я дал

ему вдосталь покружить, яро поотдуться между стенами и гобеленами... — и, поднимая голос: — быть может, мы его вдыхаем! — И затем, оглядывая сидящих рядом сотрапезников:

— Очевидно, никоим образом не отделить одно дыхание от другого, несколько же дыханий, объединившись, поднимают сильный ветер, а когда хочешь их разъединить и сосредоточить одно из них, обеспечив его пустотой, что возможно только если сдерживаешь свое собственное дыхание, первым всегда появляется отнюдь не то, которое ты хотел отделить от других, и никогда нельзя быть уверенным, что после этого ты останешься самим собою! Но... муравьед!.. Муравьед? Ответьте мне, молодые люди, нет ли у нас в конюшнях какой другой живности, кроме лошадей и верблюдов? Или он забрел вглубь наших погребов? Ожье, что ты на это скажешь? Отвечай, Ожье!

Но Ожье исчез.

— Что! — воскликнул Великий Магистр. — Ожье улизнул без нашего разрешения! — И, вне себя от гнева, поднялся с места: — Ожье! — завопил он так, что откликнулись высокие своды, и, бросившись в середину зала, бегом устремился к расположенному напротив столу: — Но почему вы не следите за ним, брат Говейн! — и с этими словами он схватил за бороду воспитателя пажей.

— Вы же знаете, брат, о ком я говорю! Ожье... — произнес он дрожащим голосом, — ему едва исполнилось четырнадцать!

Поднятой рукой он обрисовал рост юноши.

— ...и вы позволяете самому юному из своих питомцев носиться по этим сомнительным местам!

Брат Говейн тщетно указывал на полсотни юношей, которые при криках Великого Магистра сбежались со всех концов огромного рефектория и теперь теснились вокруг своего наставника.

— Они все здесь, господин Великий Магистр, — с умоляющим видом произнес, выкатив глаза, брат Говейн, — пятьдесят, все до единого, Ожье мне не под-

чиняется, — и он повернулся к подросткам, которые с рвением вскричали: — Ожье не наш!

Тем временем брат Дамиан, новый исповедник, присматривался к ним; ему казалось, что он еще не видел Ожье, и он не очень понимал волнение Великого Магистра; но при виде этих нежно переплетенных друг с другом отроков, одни из которых вобрались на плечи других, ловкие, ласковые и полные соблазна; того сплетения, которое они образовали из своих рук и ног; сверкающих переливов темных и светлых локонов; этих нахмуренных бровей или бархатистых, плутовских, изумленных, забавляющихся глаз; алых полуоткрытых или насвистывающих ртов; этих хлопающих в ладоши или пощелкивающих пальцами рук; упирающихся в бедра кулаков и тычков локтем; топчущих, тараторящих, внезапно замолкающих, принимающих то важные, то непринужденные позы вчерашних детей, он сказал про себя: *Вот они, Престола и Власть!*

— Ожье не наш! — еще раз провозгласили отроки; затем их веселый рой рассеялся по углам, и каждый занялся своим делом.

Поддерживаемый братом Говейном, Великий Магистр, задыхаясь, вернулся к столу сановников, и тем стало видно, как он побледнел:

— О Боже! Мне следовало догадаться! — пробормотал он, чуть ли не падая в свое кресло.

Он попытался сложить слоги имени, тщетно ловя дыхание, дабы извлечь их из недоступных глубин: но в членораздельности ему было отказано.

В этом зале, где он отмечал годовщину своей казни в окружении сотрапезников, кое-кто из которых погиб вместе с ним, его досмотр ограничивался прижизненными для него фигурами; но это имя, восходящее к более поздней, чем он сам, эпохе и знания которого он достиг лишь благодаря своим скитаниям вне крепости, как могло оно с такой готовностью поддаться его воззванию? Чтобы исторгнуть и вернуть самому себе первое название, он уже не мог воспри-

нять его по-другому, кроме как под отсутствующим лицом юноши, обошедшего его призыв молчанием.

Здесь, из конца в конец длинных столов, все знали друг друга и разговаривали на привычный лад, как будто все то, что уже произошло столетия назад, должно произойти только теперь; точно так же предполагалось, что Великий Магистр не знает Бозеана, но, вопреки всем ожиданиям, он потребовал его громкими криками, и чем больше настаивал на исчезновении Ожье, тем большее удивление вызывал; но, как бы то ни было, разве не Ожье только что налил им вина? Но брат Лаир не выдохнул ни слова, но Командор не сдерживал своих эмоций, но Говейн, наставник пажей, как и стайка мальчиков, отрицал, что знает Бозеана. Для подобного отношения была своя причина; и она тоже принадлежала прошлому. Ведь нарушив по своему неведению правила, Великий Магистр какой-то оставшейся для него неясной процедурой обеспечил себе возврат минувшего. Праздновал ли он годовщину собственной казни или предсказывал ее? В данный момент было невозможно определить, обрисовалось ли исчезновение Ожье, о присутствии которого никто не подозревал, как некий новый факт, или же, напротив, монастырские обычаи требовали, чтобы братья-рыцари выставляли напоказ сдержанное неведение.

Внезапно трижды отрывисто простучала алебарда: все смолкает. Сотрапезники встают, их взгляды обращаются ко входу; но рыцари, стоящие напротив Великого Магистра, поворачиваются спиной к группе лиц, направляющихся из глубины зала к длинному столу сановников: в компании нескольких приближенных является Король собственной персоной; он подает знак, чтобы все сели; никто не двигается. Филипп, облаченный в рясу храмовника, подходит как простой брат-рыцарь, склоняется перед Великим Магистром; продолжающий сидеть с отсутствующим видом сир Жак де Моле не обращает на Короля ни малейшего внимания.

— Благодарю, — говорит Филипп, — благодарю за гостеприимство, Господин Великий Магистр, вас, коего дух смирения побуждает прикрыть свою сдержанность покровом милостей! Сброд был образумлен, мы скрепя сердце возвращаемся: сей священный дом предоставляет надежную защиту нашей персоне — душе и телу! Эту трапезу мы заносим на свой счет. Что до остального, мы поделим его между братьями. Прикинем, что делать с десятиной. И ждем вас, Господин Великий Магистр, на похоронах нашей невестки. — И, похлопав его по плечу:

— Сир Жак, за твое здоровье!

Король пьет долгими глотками из кубка Великого Магистра. Последний, опустив глаза, даже не делает вида, что намерен подняться или склонить голову, чтобы с ним попрощаться...

Подобная сцена разворачивается всякий раз, когда сир Жак де Моле усаживается здесь за стол со своей братией, намереваясь отпраздновать годовщину собственной казни: ведомо ему или нет, что король не упускает и никогда не упустит случая накануне этой годовщины попросить в Храме убежища с тем, чтоб тем более расстроить поминальную трапезу, что, не будучи на нее приглашен, он неминуемо является на нее, дабы проститься с Великим Магистром? Появление Короля неотделимо от поминовения: но, по мере того как повторяются речи и жесты Филиппа, ритуальная непринужденность трапез делает их все более и более непристойными; пока Великий Магистр выжидает их возвращения, он поддается исторически сложившемуся раздражению и застывает в своем раздражении, исключая жесты и речи Филиппа из ритуала трапезы. Но не исключает ли собственным своим отношением сир Жак из ритуала и себя самого?

На самом деле, внешне глухой к словам Филиппа, Великий Магистр всякий раз, когда повторяется эта сцена, отслеживает, не скажет ли Король что-то новенькое: испокон веку одни и те же выпады: “Эту трапезу мы заносим на свой счет!”, “Ждем вас на по-

хоронах нашей невестки”, “За твое здоровье, сир Жак!” Но — всегда ли это или в первый раз? — пока сир Жак де Моле остается окаменевшим от враждебности — вот уже Филипп нашептывает ему на ухо:

— Не надумал ли ты допустить меня наконец ко второй ступени? Вечно пылает пламя костра, разожженного мною для тебя в тот злосчастный день! Вечно будет процветать твоя извращенность! Таков плод несправедливости, причиненной твоей невинности! Что такое невинность без оскорбления? Бафомет, уж конечно, должен цениться на вес золота!

Едва он слышал три этих слова, как, исторгшись единым стоном из уст сира Жака, улетучивается его память, а его историческое раздражение вдыхает Король. Под грузом своего собственного оскорбления, Филипп падает на колени перед Великим Магистром. Тот тут же вновь обретает всю свою легкость и, склонившись к Королю:

— Что с тобой, брат Филипп? Уже давно отступился я от своего отступничества на костре! То, во что я, якобы, по собственной воле уверовал, было ложно, то, в чем, не веруя, сознался, подвергнутый пытке, здесь видится мне истинным! Там ты напрасно меня сжег, здесь прав, что это сделал! Поднимись!

— С меня довольно моей правоты! Прикажи подвергнуть меня испытаниям!

Тогда, по знаку Великого Магистра, Королю передают большой золотой таз, каковой он и держит обеими руками.

Разносится голос:

— Филипп, наш брат, что поднесешь ты Великому Магистру?

— Свою голову! — отвечает Король.

— Почему ты хочешь умереть еще раз, вместо того чтобы есть и пить вместе с нами? Умирают всего один раз, среди братьев никогда не кончают есть и пить!

— Я разрушил Храм!

— Пусть тебе за это воздастся, брат Филипп! Чего еще ты хочешь?

— Восстановить Храм!

— Зачем?

— Чтобы притвориться мертвым среди живых!

На это из глубины зала выдвигается закутанная с ног до головы в черное фигура; подобно тому, как в черной туче сверкает молния, так из прорези в драпировке выныривает тонкая белая рука, потрясающая сверкающим лезвием ятагана; одним взмахом она отсекает Филиппу голову и оставляет ее у того в тазу. Обезглавленный Король преподносит ее Великому Магистру. Отсеченная, голова тем не менее говорит:

— Вот залог моего обещания: я восстановлю Храм.

Тогда Великий Магистр вынимает из таза отсеченную голову, целует ее в знак примирения, передает ее другим братьям, и так, из рук в руки, королевская голова огибает длинные столы; наконец она возвращается в руки закутанного персонажа. Тот, держа ее за волосы, выходит на середину рефектория, показывает ее всем собравшимся и, сообразно знаку креста, поднимает и опускает ее, пронесит слева направо. Сотрапезники и в самом деле крестятся. Затем тот же персонаж прячет королевскую голову под своими одеждами и, замерев в неподвижности, ждет.

У ног Великого Магистра обезглавленный Король, все еще на коленях, осел вперед, опираясь руками о плиты пола. Сенешаль встряхивает колокольчик. Разносится голос:

— Брат Филипп, тебе нужно твое тело?

— Братья, — отвечает из-под покрыва одежд отсеченная голова, — пусть никто не выдает, где я. Я насыщаюсь, пусть никто меня не отвлекает: даже мое тело!

В это время с другого конца рефектория, где в тесноте кутит толпа паломников, странников и торговцев, народ успел разглядеть последние перипетии ритуала, и вот, все в ярости, гильдии и цехи заполняют пространство, отделяющее их от стола сановников ордена; они указывают на простертого Короля:

— Выдайте нам фальшивомонетчика! — вопят они.

Но из-за другого стола уже спешит группа евреев и начинает пресмыкаться вокруг королевского туловища: они причитают, бьют себя в грудь и пытаются поставить тело Короля на ноги. Гильдии вмещиваются, угрожающе вопят.

— Брат Филипп, отдаешь ли ты евреям свое тело, как оставил нам в залог голову? — вновь вопрошает тот же голос.

— Они не получают за него и гроша! — отвечает из-под одежд отсеченная голова.— Бросьте мое тело в Сену!

Но пятьдесят юных пажей, не обращая внимания на яростный звон колокольчика Сенешаля, хором кричат:

— Брат Филипп, встань! Покажи нам, где спряталась твоя голова! Ну же, ищи!

Туловище Короля послушно выпрямляется, и все отшатываются. Оно вытягивает вперед руки и, сохраняя равновесие, движется ощупью к столу Великого Магистра, пытаясь отыскать руки сира Жака.

— Не замарай своей руки прикосновением к моей! — возглашает под тканью голова.

Обезглавленный Король отходит от стола, поворачивается и, вытянув руки, осторожным шагом направляется к центру зала. Но когда он уже готов повернуться спиной к закутанному персонажу, евреи догадываются его удержать и хотят вести дальше: ремесленники и торговцы поднимают им в пику страшный гам, но все-таки, зачарованные его ацефальным величием, не осмеливаются к нему приблизиться. Тогда, медленно направляясь в сторону горлопанов, Король стремительным движением вытаскивает из-за пояса плетку и принимается ожесточенно хлестать ею направо и налево. Кто-то отшатывается, кто-то пристраивается за ним следом, кто-то пытается сбить его с толку. Обезглавленный Король останавливается, отбрасывает плетку и, развязав мошну, полными пригоршнями сеет вокруг себя экую.

— До чего доводишь ты меня, о Великий Магистр, на какие поступки вынуждаешь! Отверзни же клоаку, умоляю! — кричит голова под тканью. — Сохрани меня от возвращения в мое тело!

Туловище Короля продолжает свой путь: в трех шагах от задрапированного персонажа, когда оно протягивает вперед руки, пол проседает у него под ногами: Король скользит и исчезает в яме.

— Куда делся фальшивомонетчик? — кричат ремесленники.

— Его скрали евреи, чтобы перепродать! — отвечают торговцы.

— Бей жидов!

Они вперемешку бросаются на оных, лобызающих роковую плиту пола; и все рушатся в яму вслед за Королем.

Гвалт за столами достигает апогея: хохочущие безо всякого стыда братья-рыцари теряют из-за этого в глазах испуганного брата Дамиана свойственные им очертания, смущенный Смотритель Ордена отворачивается к Великому Магистру: но, глухой к этому неподобающему веселью, сир Жак не сводит глаз с персонажа под ниспадающими покровами. Сенешаль не переставая звонит в колокольчик, потом головкой на эфесе своего меча гулко стучит по столу.

Тогда во вновь установившейся тишине хранивший доселе неподвижность персонаж одним жестом раскрывается: один лишь брат Дамиан замирает от изумления, узнав невредимого с головы до ног Филиппа. Братья-рыцари сидят сложа руки. Снова окруженный своими придворными, Король говорит:

— О Великий Магистр и вы, достопочтенные братья, здесь каждый волен использовать по своему усмотрению ритуалы вашего торжества. Сводит ли его повторение на нет порчу исторических событий?.. Ну да! Сброд в очередной раз был образумлен! В очередной раз мы скрепя сердце возвращаемся! В очередной раз обман за обман, мои братья! Так что в очередной раз до следующего года дышите этим сволочным дыханием!..

И со смешком его фигура растворяется в полумраке; но затухающий смех короля лишь еще более раздраживает забвение Великого Магистра.

— Разве ты не обещал не праздновать больше годовщину своей казни? Не поминать больше мою гнусность? Но кому же ты это обещал?

Не успели растаять в тишине эти слова, как с другой стороны зала разносятся возгласы. Видно, как там, где у подножия украшающих вход колонн пируют странники и паломники, все вдруг устремляется к порогу. Группа стражников отодвигает эту толпу, оцепляет проход, и вот уже оттуда, оседлав мохнатое чудовище, которое он держит на цепи, неспешно выдвигается между столов Ожье; сотрапезники все как один останавливают его на каждом шагу, дабы как можно лучше обследовать, что же это за животное, чья крохотная голова с настойчиво скользящей по плитам пола вытянутой мордой так контрастирует с огромным туловищем, лапы которого вооружены длинными когтями; и не последними среди тех, кто мешает его утомительному продвижению, пятьдесят Говейновых пажей, не способных удержаться от того, чтобы вдосталь не подергать за длинные волоски на вздетом кверху хвосте. И тогда оным, как метлой, чудовище стегает на ходу дразнящихся юнцов, и те откатываются от него с громкими криками. Тем временем братья-рыцари не менее чем на оседланное им животное дивятся и на самого отрока. Зажатый в шелковый костюм в черную и белую полосу, он склоняет вперед свежее лицо, окаймленное спадающими на плечи курчавящимися прядями волос, опускает оттененные длинными ресницами веки; алые губы приоткрыты в довольной улыбке, яркие щеки кажутся нарисованными, странное бла-

гоухание источает его грудь, смешанное с сильным запахом зверя; стянув с руки перчатку, он поглаживает своей тонкой рукой зверя; добравшись наконец до стола сановников, одним движением гибкой фигуры он спрыгивает с чудища, и, остолбенев от изумления, Великий Магистр вдруг лицезрит перед собой Ожье. Благородный отрок преклоняет колена, поднимается и заявляет таким тоном, будто продолжает только что прерванную беседу:

— Странная причуда! Он отказывается от муравьев.

— Откуда ты? — бормочет сир Жак; куда более взволнованному, черпая ухом этот пленительный голос, чем удивленному подозрительным присутствием муравьеда, ему нужно скрыть свою радость под видом озабоченности:

— Где ты его нашел? — И затем, спохватываясь: — Ну да! если он и в самом деле находился в наших стенах, — сказал он, — кто же провел его сюда, не оповестив нас об этом? Но тогда... — и он бросил взгляд из окна, — они все еще ждут... я больше ничего не вижу!! Неужели это верно?.. Братья мои, не собрать ли нам капитул?

— К этому, Великий Магистр, привела бы ваша капитуляция, — вмешался Смотритель Ордена. — Когда же все братья готовы защищать это место... Собрать капитул означает поставить под сомнение ваше положение. — И общий ропот сановников был тому подтверждением.

— Мое положение?.. Вразумив испущенное дыхание, я оставляю его разгуливать здесь по собственному усмотрению: и не изгоняю его, и не держу в качестве заложника. Но если я тем самым уважаю законы гостеприимства, ответствен ли я также и за животные повадки, которыми мог бы еще или уже вдохновляться будущий или прошлый дух? Не собираются ли мне к тому же вменить в вину внешний вид той бронзовой горы на горизонте или чрезмерность этого дерева с безобразнейшими цветками? Что могу я против перепадов настроения у какого-нибудь Престола или

какой-либо Власти, которая хочет поразвлечься в одиночку? Им подобные знают, что могли бы воздействовать на оную не более, чем мы на них. Не заставят ли они нас из-за этого изменить предназначение этой крепости, или же вынудят покинуть ее ради какой-то другой? Приступ, которым нам угрожают, сводится к формальности. За всю ту вечность, что мы пребываем здесь, казалось, что высшие и низшие круги терпят друг друга, избегая вмешиваться в чужие дела. Чтобы подобная коалиция явилась под наши стены и поставила под сомнение отправляемое нами правосудие, нужно предположить уж даже и не знаю какую пертурбацию, приключившуюся в обустройстве сфер...

Говоря это, Великий Магистр позволил своему взгляду обежать муравьеда и перейти с него на Ожье. Последний же взирал единственно на распятие, висевшее на цепочке на шее Великого Магистра, потом перевел взгляд, глаза в глаза, на самого старика.

Потом вдруг:

— Отнесем к нему так, будто он собирается вступить в наш Орден, — и он раскроет нам свою подлинную сущность. Пусть несколько братьев образуют вокруг нас круг, пока мы будем заседать в малой молельне. Ты, Ожье, придержи нашего гостя на пороге, а мы будем допрашивать его, рассевшись перед алтарем.

И все устремились к маленькой стрельчатой безстворок двери, которая вела в небольшую часовню, в которую иногда направлялся по выходе с трапезы Великий Магистр, дабы предаться в ней духовному созерцанию.

— Не подвергнуть ли его испытанию оплевыванием распятия? — спросил кто-то.

— Понял ли хоть кто-нибудь в полной мере сие испытание? — заметил на это Смотритель Ордена.

— Сделает ли он это чистосердечно, если он — Гогенштауфен? — возразил Сенешаль.

— В таком случае не может быть испытания, которое сгодилось бы для сего неверующего, — заметил

Великий Магистр. — Весь смысл испытания заключается в том, чтобы смешать по видимости с добровольным согласием принуждение выполнить отвратительный поступок. Ибо что представляет собой материально плевок на орудие нашего спасения? Что мы отказываемся быть спасенными! И тот, кто воспользуется испытанием, чтобы плюнуть сознательно, сочтет, что ему покойно и в погибели. Зато тот, кто горячо надеется быть спасенным душой и телом, также и верит изо всех своих сил в благодать страстей Господних. Если, невзирая на это исступленное желание спастись, он принудит себя плюнуть на Спасителя и по доброй воле согласится ни в чем не отличаться от того, кто плюет сознательно, он страдает вместе со Спасителем, причем страдает тринитарно: с Отцом, когда тот отверг на кресте собственного Сына в его человечности; с Сыном в его так отвергнутой человечности; с Духом Святым, которого Отец у него изъял. Но разве Дух Святой это не Дух и того, и другого? Разве Дух не страдал, отвергая самого себя?..

— Как можно без насмешки расставлять столь хитроумную ловушку человеческой душе, изувеченной до подобной животной формы? — не удержался от вмешательства новый капеллан. — Способна ли она хоть когда-нибудь распознать во всем этом хитрость, с тем чтобы схитрить в свою очередь в самой себе? Вы хотите сказать, что, отрицая воплощение, она его утверждает?

— Воплощение? — повторил Великий Магистр, и вместе с этим словом изо всех сил обрушил свой весомый кулак на худосочный хребет брата Дамиана. — Воплощение! Здесь оно нас совершенно не интересует! Мы хотим знать обо всем, на что способно лишенное тела дыхание, дошедшее до подражания такой прискорбной форме: что же явилось тем самым пред наши очи, его блаженство или же некое наслаждение, все еще животное и после того, как дух его себе доставил? Если наш кандидат и в самом деле Фридрих, Король Сицилии, он преспокойно плюнет на распя-

тие; то же верно, и если здесь находится простое млекопитающее! Тогда каким образом выявить реальное основание подобного положения дел? Не следует ли сказать, что, став млекопитающим неизвестной породы, Фридрих должен чувствовать себя хуже, чем при вечных муках? Или же его дух не понесет в этой форме особого ущерба и со всем смирением поспособствует всеобщему благу — уже самим фактом, что это муравьед, а не Император Святой Римской империи? Если только в его человеческой форме не содержался дух муравьеда... Будем, стало быть, надеяться на какой-нибудь признак недовольства, дабы заключить о присутствии какого-то другого основания!

С этими словами Великий Магистр уселся на ступени алтаря, а сановники и капеллан выстроились по сторонам от него. Дюжина рыцарей, повернувшись спиной к рефекторию, чтобы скрыть сие зрелище от народа, окружила Ожье и его животное.

Муравьед сделал вид, будто тоже хочет пройти в часовню, и потянул за цепь, которую Ожье тут же выпустил из рук. Смотритель Ордена загородил зверю проход. Но Великий Магистр:

— Разве это не его право? Пусть войдет. — Затем:
— Чего ты просишь?

Муравьед тут же поднял свою крохотную голову и, насколько ему позволяли чудовищно длинные когти на передних и задних лапах, попытался простереться перед Великим Магистром. Более позабавленный, нежели взволнованный этими усилиями, которые, казалось, выражали смиренное ходатайство о милосердии, сир Жак обратился к юному пажу: — Ты его уже так хорошо приручил? — и, наклонившись к зверюге:

— Что ты ищешь?

Среди любопытствующего ожидания, каким именно образом действий обозначит он то, о чем никто из здесь присутствующих особо не волновался, будучи слишком уверенным в его обладании, а именно “вечную жизнь”, муравьед, не вполне твердо держащийся

на своих четырех лапах, начал кружить по кругу с низко опущенной головой, поводя длинной мордой по плитам пола и помахивая вздытым наподобие штандарта обросшим длинной шерстью хвостом; казалось, он никогда больше не остановится, когда Великий Магистр, отцепив распятие, которое он носил на шее, положил его поперек описываемой зверем окружности.

Три раза кряду медлительно описываемые муравьедом круги подводили его вплотную к покоящемуся на земле распятию; и всякий раз, когда он толкал его своей мордой: — Знаешь ли ты его? — спрашивает Великий Магистр. Поняло его животное или нет, оно вытягивает свой длинный гибкий язык и орошает липкой слюною образ Спасителя, отбрасывает позади себя лапой с длинными когтями. По все тому же круговому маршруту животное удаляется от распятия к самому порогу часовни: обернув здесь свою цепь вокруг Ожье, он возвращается по своим же следам, и, прочерчивая ту же окружность, его прилежно опущенная к земле морда снова отыскивает распятие; увлажнив его слюной и затем отбросив, он уже вновь пускался было в свое вековечное кружение, когда из глубины рефектория, где все еще пировали припозднившиеся паломники-простолюдины, один из них, испив пития, завопил изо всей мочи: *Хи-хи-реку!* В то же мгновение, подняв все свое огромное тело на дыбы, муравьед бьет и пронзает когтями вздытых передних лап пустоту, трясет маленькой головкой и падает на распятие; свернувшись вокруг себя всею мохнатой массой, он, прикрывая морду, прячет голову под длинными когтями.

— Сир Жак, — произнес на это Смотритель Ордена, — чтобы покончить с шутовством, понадобились эти мужланы!

— Не столь важно, пропел ли петух сам по себе или через глотку забулдыги! — ответил Великий Магистр.

— Я и не знал, что петушиное пение незаменимо при испытании плевком! — заметил новый капеллан.

— Просто вы сами никогда не плевали! — откликнулся один из рыцарей.

— Если положить на его пути любой твердый предмет, большой или маленький, но не съедобный, например, этот кинжал, он плюнул бы точно так же! — подхватил Смотритель.

— Но об этом вы как раз и не подумали! эта идея пришла вам только сейчас! Он кружил вокруг Распятия, а не какого угодно предмета!

— Он встал на задние лапы потому, что его напугал крик мужлана! — упорствовал Смотритель и, склонившись над лежащим муравьедом, но не разглядев его ушей, он в свою очередь принялся вопить: — Хи-хи-реку! Хи-хи-реку!

И не подумав сменить позу, муравьед ограничился тем, что поднял повыше свой огромный хвост и, свернув его на мохнатой спине, расправил на нем мантию длинной шерсти, словно обретая убежище от несправедливости, причиненной ему сомнениями в его поведении.

— Посмотрите, разве не видно, что он удручен только что содеянным! — настаивал Великий Магистр. — Я не могу пренебречь этой видимостью: прикиньте, по крайней мере, что она выражает! Ибо на самом деле — за исключением состояния безразличия, в каком мы пребываем и из которого все это и истекает, — одно из двух: либо он чувствует себя виновным, как будем и мы, — за то, что его обвинили не по заслугам! Либо же он — самозванец! И в том, и в другом случае сей муравьед весьма и весьма осведомлен!

— Но в таком случае, — сказал Смотритель, — был бы виновен и громкогласый похабельник — между делом вдоволь над ним потешившись!

— Вы все еще верите в этот секрет, брат мой? Бываю ли я уверен хоть в ком-то из тех, кому даю здесь приют? Но с этим надо кончать!

И, обращаясь к муравьеду:

— Твое раскаяние тронуло нас! Вопреки видимос-

ти, ты — наделенное разумом существо. Вот почему я призываю тебя от имени Того, чей образ ты отверг и кого ты теперь скрываешь под собою, прояснить нам истину: по собственной воле или по неведомому мне велению рока облаченный вот так в это чудовищное тело, наш ли ты стародавний недруг, Фридрих Гогенштауфен?

Муравьед медленно расслабился, высвободил и приподнял в направлении Великого Магистра свою маленькую головку и внезапно шерсть на его огромном теле заколыхалась какой-то перебивчатой дрожью.

— Теперь его очередь, — сказал Ожье, — он так смеется!

Внезапное вмешательство доселе безмолвного юного пажа привлекло к нему удивленные взгляды. Не забылось ли уже, что именно он обнаружил это животное и привел его в рефекторий? Теперь он решил разъяснить и поведение зверя.

— В самом деле, — сказал Сенешаль, — не следует ли нам допросить сира Ожье?

Именно этого и хотел любой ценой избежать Великий Магистр; посему он поспешил с пристрастием приняться за муравьеда.

— Если ты меня понимаешь, дай нам знать, император ли ты Фридрих, король двух Сицилий?

И тогда муравьед, и невозможно было сказать, не голос ли отрока выходил из узкой и длинной морды зверя, выдохнул:

— Ты говоришь.

Поскольку все остальные повернулись к пажу, ибо, хотя и нельзя было утверждать, что произнес их он, все же им казалось по меньшей мере правдоподобным, что он подсказал эти Господние слова, — Великий Магистр вздрогнул, но тем не менее:

— Ну, Ожье, замолчишь ли ты наконец? Братья, — обратился он к рыцарям, — проследите за тем, чтобы Бозеан не открывал рта! — И, обращаясь к муравьеде:

— Известно ли тебе, что нас осаждают силы, которые требуют, чтобы я выдал им Антихриста Фридриха?

— Меня звали Фридрихом, — откликнулся муравьед, вновь заимствуя голос юного отрока. — Но я совсем не тот, о ком ты думаешь!

Поскольку Ожье не произнес ни звука, никто не понимал, каким образом его голос так четко звенел в глотке чудища. И хотя Смотритель Ордена пребывал в нетерпении: сочтя подростка чревовещателем, он уже собирался припасть ухом к его животу, Великий Магистр счел за лучшее избежать этой демонстрации и подал Ожье знак подойти и сесть рядом. Паж, потряхивая длинными кудрями, с радостным и торжествующим видом занял место рядом с ним; опершись локтем о вторую ступеньку алтаря, он прижался щекой к колену сира Жака. Тот, проведя рукой по волосам отрока, заметил, что брат Лаир продолжает разглядывать Ожье пристальнее, чем на то могли бы быть причины, и продолжил свой допрос:

— Ответствуй без боязни: поскольку ты не Фридрих Гогенштауфен, пресловутый Антихрист, выдачи которого требуют, значит, и осаждают нас не Престолы и Власть: будь спокоен, я не выдам тебя, а если они зарятся на твое царство, буду сражаться на твоей стороне!

— Царство мое не от мира сего; иначе бы все муравьеды на свете явились за меня сражаться! Но я не царь муравьедам!

— Не богохульствуй! Ты наверняка предстал перед нами в таком виде, дабы искупить свои кощунства в отношении Того, кто говорил так ради нашего искупления!

— Я есмь путь и истина и жизнь!

— Еще раз, не богохульствуй, Фридрих!

— Я есмь Антихрист! а все, что говорит Христос, говорит и Антихрист! Ни в чем не отличаются наши слова! Их можно различить, лишь извлеки из них следствия!

— И какие же следствия вытекают из твоих? Если ты — Антихрист, яви чудо на погибель избранным! Здесь, насколько я знаю, нет ни одного из них...

— Действительно ли знаешь??. О Великий Магистр! если не хочешь быть изгнан из своей крепости, лучше выдай меня! ибо повторяю тебе: я есмь путь и истина и жизнь!

— Клянусь честью, ты останешься нашим гостем и нашим братом! Я излечу тебя от мысли, будто ты — Антихрист! Что же до тех, кто осаждают меня, я встречу их со всей стойкостью!

— Не сомневайся, именно Престолы и Власти сказали тебе, почему осаждают твою крепость, почему хотят моей выдачи!

— Почему? Тебя обвиняют в том, что как-то раз при виде пшеничного поля ты заявил: *Как много здесь растет богов!*

— Совсем не это тебе обо мне сообщили, о Великий Магистр, твоя историческая память увиливает от проблемы! Я сказал куда лучше! Ну, вспоминай же!

— Что же ты сказал еще худшего?

Муравьеда поначалу вновь охватила та дрожь, которую Ожье истолковал как его манеру смеяться, но, чтобы доказать, что это предположение не безосновательно, он разродился уже не полудетским голоском подростка, а раскатами замогильного голоса:

— Когда один из богов провозгласил себя единственным, все остальные умерли от безумного смеха!

— Ты насмехаешься? — вскричал, внезапно разъярившись, Великий Магистр. — Немедленно оставь эту видимость, гнусный чародей!

Муравьед поднял свою крохотную головку и склонил ее набок:

— Чародей? Ты такой же чародей, как и я.

И он принялся лизать руку Ожье.

Другие братья-рыцари жались у двери в молельню; им были слышны лишь задаваемые вопросы, ответы же никто не понимал слово в слово, а разгадывал только после новых вопросов; кое-кто решил, что

Великий Магистр развлекается с Ожье. Но у группы рыцарей, которая с некоторого момента присматривала за поведением юного пажа, сложилось совсем иное впечатление: Ожье, очевидно, следовал за разговором, не произнося ни слова, и они были убеждены: чтобы муравьед мог настолько позаимствовать его почти детский голос, и в том, и в другом должен был обращаться один и тот же дух.

— Что же это за господчик, как два сапога неразлучный с этим косматым чудищем? — спрашивали они друг друга. — Как он выносит сей жуткий язык и не боится его омерзительного прикосновения! Не ловушка ли это, в которую заманивают нас осаждающие? Посмотрите, сир Жак совсем бледен и весь покрылся потом! А брат Дамиан неподвижен и нем! — И они украдкой бросали беспокойные взгляды в сторону нового исповедника Храма: ну а последний, полузакрыв глаза, стараясь не выдать ничего из своих чувств, ибо все эти осязаемые физиономии, выдававшие себя за усопших, и сами речи покойников в сих громогласных устах вызывали у него головокружение, не отводил взгляда от самого оживленного из этих рыцарей, брата Лаира.

Муравьед продолжал лизать руку Ожье, и юный паж тому не противился: с отсутствующим взглядом, он, казалось, впал в странный столбняк.

— Убери руку! — закричал ему Великий Магистр. Но отрок не шелохнулся.

Вдруг нетерпеливый брат Лаир наклонился вперед: он падает на колени. И вот, охваченный светящимся облаком отрок предстает перед их взглядами в совершенной девической наготе, но, что странно, сохранив стоящий уд. Великий Магистр откинулся назад: ослепительному существу поклоняется муравьед. Грохочущий голос провозглашает слова: *В нем мое благоволение!* Все рыцари prostираются ниц; разносится единственный возглас: "*Gloria in excelsis Baphometo!*" Тогда — но очень далеко — в деревне пропел петух: и сразу же с грохотом погасли все отблески.

Ожье выпрямился с дрожью во всех своих членах: чего от него хотели? При взгляде на них, диких, с закатившимися глазами, с протянутыми к нему руками, отрока попросту обуял ужас: от страха у него прихватило живот, и он опасался опорожнить кишечник, за что ему пришлось бы отведать плетки Сенешаля; как раз с оным и было договорено, что Ожье в чистоте и опрятности вернется перед вечерей к нему в келью.

Ибо на деле, из века в век будучи во время поминальных торжеств предметом столь же постоянного, сколь и тайного домогательства со стороны то одного, то другого из сановников крепости, зная о своей желанности — и это в возрасте, когда желание еще двусмысленно, когда вполне естественная для подобного возраста двусмысленность придает подчас облику ту же обманчивость, что была свойственна и ему, — он первым был готов наслаждаться этим и сам, от одного торжества до другого, из вечности в вечность, даже рискуя по выходе из рук того или иного братадыхания перейти в дыхание Великого Магистра, который через него — и к полному своему неведению — поддерживал отношения с “Терезой”.

Да и что же, собственно, он мог знать о святой? Чем более ее, обосновавшейся в органе юношеского трупа, который она впредь одушевляла, силы излучали свой небесный жар, тем более замыкался на себя пыл отрока. Именно силы ее девства поддерживали

тело Ожье между детством и юностью и удерживали от возмужания. Она и была в нем жизненным потоком, обогащением его щедрого семени, и она же увековечила раннюю зрелость сего самодовлеющего ребяческого тела. Посему Ожье находил удовольствие в собственном очаровании, не ведая о том, что само целомудрие святой потворствует расцвету его пороков, а милосердие столь расточительной души толкает его к сдаче.

Назначенный встречать отважившихся вступить в крепость гостей, в частности, тех, на которых указывал Великий Магистр, дабы утешить их в горести, умаслить, убаюкать, пока они не рассеются на его розовых устах, — так он встретил и того, кто в облике муравьеда сообщил, что зовется “Фридрихом”. Когда канатоходцы, показывавшие животное в публичных местах, привели его в крепость, Ожье простодушно купил у них зверя и, разместив в конюшне, проявил заботу и о том, чтобы подыскать ему подходящее пастбище, — вспомнив о примеченных неподалеку в подлеске муравейниках, Ожье поспешил отвести туда своего гостя. Но там муравьед внезапно открылся юному пажу таким, каков он есть: Ожье упал в обморок.

И вот, в грезах он увидел свой собственный труп, парящий под сводами замурованной молельни, — и испытал при этом самые приятные ощущения, ибо, проплывая в воздухе, вокруг него двигалась лучезарная красавица, которая разворачивала длинные покровы и прикрывала ими нагой труп. Тут с человеческим лицом показался тот, кто таился в облике муравьеда, и, по-прежнему вышагивая на четвереньках, спросил у лучезарной красавицы:

— Силы небесные, что делаешь ты здесь, среди плесени и гнили?

— О хулитель Господа, до чего же ты низведен! Для тебя, злоупотребившего против Него такими огромными дарами, я, его служанка, была всего-навсего горделивой волей, что более чем верно и в моих

собственных глазах! Как раз эта гордыня и исключила меня из высших кругов, и я остаюсь привязана к дорогим мне душам! Я караулю их приход в эту крепость: я хочу еще раз спасти их от заблуждений, и выбор у меня, чтобы приблизиться к ним, только один: взять тело этого ребенка.

— Возможно ли это? — сказал тот, кто скрывался за муравьедом. — Меня удивляют и средства, и цель!

— О прозорливый безумец, жаждущий присвоить себе одному царство Антихриста! Знай, что любовь возвышает те гнусные места, где он обитает! — промолвила она, показывая на отрока.

На что тот, кого звали Антихристом Фридрихом:

— Это дитя изысканной красоты: благородство черт обрекает его на трагическую судьбу. Но неужели вы настолько преступили догму восторгами своей восхищенности, что вобрали также и отторгнутую душу этого отрока? Где же она? К избранной или осужденной, ее собственное тело к ней так и не вернется? Поменяла ли она свое на ваше? Не воскреснет ли он в теле святой? Или же при рождении он получил душу старого злодея, который должен был искупить свою вину во второй жизни и погибнуть в невинности юного возраста, прежде чем совершит какие-то новые преступления? Не добавила ли она своей резвости к темпераменту вашей? И не увеличила ли несколькими столетиями позже злобность моей, избавив меня от профессорского тугодумия? Что говорят об этом вертящиеся столики в Джерси и Дуино?

— О Фредериго! Здесь мы знаем, чего стоило оформить наши лица, и если бы мы не изменялись и далее, то никогда не выплатили бы цену того, чем некогда были! Я, меньше чем ничто в этом мертворожденном семени, остаюсь Его служанкой, какую Он меня знает, — если Он все еще хочет меня узнавать! Но отказаться даже от образа человека, которого Он создал прямоходящим, — не глумиться ли это над Его благодатью? Ты зря прикинулся муравьедом, на веки вечные останешься ты Фридрихом!

— Вот еще! не он ли заодно и бог-поручитель, гарант индивидуальности отдельно взятого муравьеда? И даже в этом мне от него не ускользнуть! Быть может, в следующий раз стоит прибегнуть к доспехам муравья? А нет ли муравьиного бога, спасающего их от прожорливости муравьеда? Стоит ли ждать, пока он в свою очередь себе не скажет: не одними муравьями жив муравьед?.. В конечном счете, мне сподручнее в этой анатомии, чем о том могла бы мечтать в своем детском органе ты, властная женщина!

Они так без конца и препирались, когда зазвонил колокол.

— Знай, — сказала лучезарная красавица, — что здесь тебе будет еще труднее, чем там, никто тебя не поймет! Они тебя допросят, ибо они допрашивают и животных, будут тебя пытаться, если ты не ответишь, ибо они истолковывают и немоту зверей, и они займутся предсказаниями по твоим крикам, а ты не сможешь даже защититься! Я уступлю тебе на время голос этого дитяти: он мой, это я движу его языком!

— Нет! О щедрая душа! Я вовсе не хочу защищаться! Ибо если бы мне пришлось вновь говорить, я повторил бы еще раз те чудовищные вещи, которые ты не осмелишься произнести, даже если бы это вменялось в вину единственно муравьеду!

— Смелее, я постараюсь точно перевести твою мысль: благотворительность не знает собственной выгоды! Но все, что обречено и обнаружено, делается явным, а все, делающееся явным, свет есть!

— *Но свет, который в тебе, не есть ли тьма!* — ухмыльнулся человек, который упорно продолжал передвигаться на четвереньках. Тут же его вновь накрыла форма муравьеда, и, едва просипев последние слова, длинным и клейким своим языком набросился он на лучезарную фигуру и — слишком, посчитал бы Ожье, медленно — приподнял ее покровы: уже показалась все ее сладострастное великолепие, как вдруг Ожье вновь увидел, как на конце веревки шевелится его собственный труп, широко открывает выкатив-

шиеся из орбит глаза; он завопил так громко, что внезапно проснулся.

И вот, он даже не удивился, вновь оказавшись на ложе у себя в келье, причем в памяти у него не осталось и следа приснившихся пересудов. В это время во второй раз зазвонил колокол, и Ожье, поднявшись и надушившись, бегом поспешил туда, куда его призывала служба, — туда, где готовилось пиршество. В самом начале трапезы он стал свидетелем замешательства сира Жака, когда осаждающие огласили свои предупреждения. Но подобные передвижения войск и осада крепости, которые таяли как снег, стоило внести выкуп, были тут столь обычны, что Ожье не обратил на это никакого внимания. Речь шла лишь о невразумительном требовании выдать “Антихриста Фридриха”, и поначалу он подумал, что в виду имелся один из бесчисленных “шифров”, имевших хождение в Храме во время застольных бесед. Но когда из передававшихся из уст в уста слухов он понял, что имя это приписывалось некоему предположительно скрывающемуся в крепости странному млекопитающему, — еще до того, как его окликнул Великий Магистр, — страх, что внезапное обнаружение редкого животного конюхами придаст клевете осаждающих видимость разумности и в определенной степени взбудоражит многочисленных в тот день за стенами цитадели крепостных, если необычное предупреждение распространится среди этого суеверного люда, — все это побудило Ожье немедленно отправиться за своим зверем. Совершенно не отдавая себе отчета в том, кто в действительности направлял его жесты и вдохновлял речи, поскольку таинственная сила в нем отнюдь не лишала его здравого смысла, а ограничивалась тем, что приводила в движение, он сказал при этом самому себе, что чудище развлечет благородных сотрапезников и в то же время успокоит Великого Магистра: если же шутка зайдет настолько далеко, что так называемый “Фридрих” будет “выдан”, Ожье навсегда с ним распрощается и, самодеятельный осво-

бодитель Храма, станет героем этого памятного дня. Тщеславному до мозга костей прекрасному дитяти не терпелось привести доказательства своих подвигов несколько иного рода нежели те, к которым он был здесь привычен. Впоследствии допрос “Фридриха” Великим Магистром, как ему показалось, обернулся чистой воды грубой шуткой. Более того, сочтя процедуру слишком долгой, Ожье задремал, не ведая о том, что в нем обитают и пользуются его голосом страшные духи.

Брат Дамиан ничего не увидел, не считая того, что рыцари либо предавались последним перипетиям ритуала, смысл которого от него ускользал, либо совершали жесты, ведущие напрямик к бреду, если только они в него уже не погрузились. Но, спрятавшись за колонной и понаблюдав повнимательнее за пажом, он спросил себя, то ли этот отрок до такой степени выучил свою роль, что сумел медленно восстать из лежачего положения, не утрачивая своей напряженности, или же некая невидимая сила так поставила его на ноги, что он остался вялым, с разведенными руками: и тут же он, пробудившись и шаря вокруг себя ошеломленным взглядом, остановил его на брате Дамиане. Хватило посланного ему пажом взмаха ресниц, чтобы капеллан решил, что в свою очередь теряет рассудок: внутри него разорвалась плотная завеса: будет ли ему принадлежать Ожье, или он сам принадлежит Ожье — никакие доводы не в состоянии были оказать сопротивление силе, востребовавшей его из глубины веков через глаза отрока.

В действительности глазами пажа Тереза просто созерцала то, что некогда распознала в душе, которую несколькими написанными от руки словами обрела на упрямое смакование своего несчастья. От этой души, столько раз взрывавшейся чаяниями, раздорами, компромиссами, ревностью и тревогами, разделенными с духами, с которыми она по очереди спаи-

валась на протяжении столетий, осталась только бесплодная вибрация некоего намерения, опустошенного от своего мотива. То ли жалобные отголоски этой вибрации разнесутся из вечности в вечность, то ли Тереза, вернув в очередной раз мотиву его первичную напряженность, загубит при этом намерение еще непостижимым в ее собственных глазах жестом, какой, навсегда разлучая ее с ним, навсегда разлучит ее и с самой собою.

И вот в волнуемой ею груди отрока святая подверглась последнему испытанию, которое себе же предписала, подчиненная закону взаимности причиняемых дыханиями изменений, сама измененная в Ожье, таящего секрет Святого Ордена, — теперь, в одиночку вбирая в себя исполненных развращенности духов, она проторит надежный путь той паре свежеиспущенных душ, которую поклялась объединить в мгновение распада; и, освобождая их от извращенности, предлагая их намерению богохульствовать саму себя, избавит ее от отныне израсходованного богохульства. Если она и в самом деле сможет смешать свои побуждения с побуждениями насильно присвоенного ею юношеского тела... сможет ли, однако, оно выдержать ту битву, которую она ему навязывает против него самого, покуда остается там...

Итак, не питая особых сомнений, в каком виде он только что явился, услышав, что все хором взывают к нему под каким-то непонятным именем, он был убежден, что крик этот служит условным сигналом, открывающим на него последнюю охоту: вернулось последнее видение давнишнего кошмара: несомненно, они и в самом деле собирались его повесить! И он уже собирался было оседлать свое животное, пусть и весьма медлительное; но, тщетно разыскивая взглядом муравьеда среди застывших ниц рыцарей, он заметил, что вместо млекопитающего на четвереньках там разгуливает голый человек, на шее которого ока-

зался ошейник; его обширный, опущенный к земле лоб нависал густыми бровями над мечущими молнии глазами, а губы скрывались за огромными усами, которыми он подметал пол: лишившись возможности кружить на свободе, он прохаживался так, как ему позволяла натянутая цепь, связывавшая его с внезапно появившейся на пороге фигурой.

Что довершило замешательство Ожье: ибо направляясь к нему, сверкая кольчугой, удерживая одной рукой на цепи голого человека, а другой высоко вздымая весы, такую явилась Валентина де Сен-Ви: волосы разметались по плечам, груди выпростались из-под серебристой кольчуги, лицо сурово, губы и ногти гибких пальцев накрашены; приподнимая весы, одна чашка которых вознеслась вверх, а вторая опустилась под невидимым грузом, она сказала юному пажу:

— О Тереза, взгляни, как нарушено равновесие сфер твоим добровольным изгнанием! Во имя Престолов и Властей, займи вновь свое место в пространстве духов, вернись исполнить число избранных и уступи ее тело и лицо душе моего племянника! Вот: я освобождаю тебя от чародея, который прикинулся зверем и чей круговорот замыкает тебя в низших кругах!

Но внутри брата Дамиана кто-то, ужаснувшись, узнал ту, кто все это говорила: не ведая, кому он обязан тем, что был некогда с ней соединен — ибо это был голос той, кого святая, создав ее своими ходатайствами как собственную реплику, соединила с ним в качестве спутницы в последнем его существовании, — он все же знал, что сделал некогда с этой душой, чтобы она осмелилась появиться здесь с атрибутами небесной справедливости, которые, казалось, водружала с легкой насмешкой.

И вот, при всем их сообщничестве в миру, едва испутив дух, пара, которую они составляли, распалась: рассеянные в этих краях по воле воздушных потоков, каждое из двух дыханий искало себе что-то вроде пособника, который подсобил бы своими на-

мерениями. И действительно, всякое испущенное дыхание, став чистым намерением, тотчас забывает его мотив; если его случится захватить какому-то ранее испущенному дыханию, оно вспомнит то, что пережило забывчивое: каждый лишившийся своего мотива становится мотивом намерения другого: один проецирует себя в грядущее, другой в прошедшее. Удивительная вещь! Ни один из них не подозревает о своем посмертном положении: Тереза оставила их с этой иллюзией. Тем самым далекий брат Дамиан внезапно увидел свидетеля будущего существования, минувшего тогда в его собственном минувшем. Тем самым привлеченная сюда тревогами своей бывлой жертвы Валентина де Сен-Ви накрыла свою тенью намерение той, кто была некогда извращенной спутницей того, ныне немотствующего в брате Дамиане, кто подглядывал за этой сценой из-за колонны.

Пока она увещевает так Терезу, ее лицо и голос возбуждают тело усопшего подростка. По содроганию органов отрока, тело которого она занимает, святая разгадала хитрость этого двойного притязания: тогда как дух Терезы пребывает в нем непоколебимым, в Ожье пробуждаются муки и потрясения его последних мгновений; в преждевременно угасших чувствах вновь вспыхивает предмет горькой улады: Валентина де Сен-Ви — так хитрила сия случайная посланница Престолов и Властей — прикрывала собственной судьбой свое лживое увещевание, проводя этот ультиматум: “Уступи ее тело душе моего племянника!”

Ожье не в силах уловить смысл этих непостижимых слов: чем сильнее восстает в нем святая от их понимания, тем больше своей раздражительности изливает она в органы увековеченного подростка; тем сильнее она его также и возбуждает и тем большее влияние оказывает на него искустельность Валентины де Сен-Ви; перед этим чарующим явлением он отступает; ему изменяет голос; он закрывает глаза; но, вновь овладевая им среди замешательства, дух святой Терезы так побуждает язык отрока:

— Тебе ли пристало, отвергнутая жизнь моей жизни, тебе ли пристало призывать меня в круг избранных? Ты, такая мастерица по отводу глаз, подделай мое возвращение, доверши число и, заняв мое место среди избранных, наслаждайся их рукоплесканиями! Смелей, сослужи мне эту службу! Какое равновесие ты хочешь, чтобы я восстановила? Брось эти весы! Несчастливая! Сотри румяна и более не смущай и не пытайся развратить тело этого отрока: с тебя достаточно, что ты его заклала... Покуда я в нем пребываю, я беру на себя все его пороки...

Судя по всему, Валентина де Сен-Ви была уже не в силах сохранять серьезность: разразившись наглым смехом, она выронила весы.

В то время как отрок произрекал с закрытыми глазами эти слова, та, что придала себе обличие небесной справедливости, чувствуя, что дух Терезы оставался в юноше непоколебимым, сменила жесты и язык: скользнув рукой под подбородок, она чуть запрокинула его лицо; от этого прикосновения Ожье вздрагивает и открывает глаза; но Валентина де Сен-Ви, возложив свои прекрасные персты на уста отрока и бросая на него суровый взгляд:

— Ожье! Ты, должно быть, выжил из ума, если не узнаешь хозяйку Палансе, свою тетушку, наставницу, благодетельницу!? Чем ты одержим? Наглец! Что бы без меня с тобой стало? Разбойник! Но с тех пор как ты сюда вступил, что и в самом деле с тобой стало? Позор Бозеанам! Торговать своим семенем, дабы покорить Храм!..

Едва она произнесла эти слова, как из-под плит среди простертых на полу рыцарей возник и выпрямился торс Мальвуази — и одним жестом протянутой руки, вырвав клочок кольчуги меж ляжек Валентины де Сен-Ви, обнажил ее срам: так и пылая, прыснул спесивый дракон.

При виде этого паж шатается: ибо и в самом деле, упорствуя в его детских органах, святая лишь сильнее будоражит праздное семя: теперь ей не притушить

возвращенное к жизни ее собственным жаром и, напротив, не поддерживать рассудок отрока, который она этим ослепляет; ко всему прочему, она внушает ему некое подобие ярости: в безумии, он ищет свой кинжал, обнажает его и бросается на чудовище, которое льстиво ему угрожает: но уже в нем самом жизненный поток упредил его смертельный жест; уже его собственное вожделение указало на него пальцем; и тогда Мальвуази, выхватив у отрока кинжал, прямо у него на глазах отсекает дракону голову.

Так громко завопила Валентина де Сен-Ви, что, внезапно пробужденные, братья-рыцари испарились вместе с ней в круговерти ее крика, — и еще раз просмаковал ушами все тот же ддящийся под сводами крик Ожье; еще раз, в него вслушиваясь, изменил себе его жизненный поток; полагая, что он один с этим гулко отдающимся в нем криком, он расслабился; и вот уже он снова подвешен в пустом пространстве, когда от несказанного стыда приподнялась его грудь: вот из-за колонны к нему проскользнул брат Дамиан: до сих пор он не осмеливался сдвинуться с места из опасения потревожить тех, кто выдавал себя здесь за неопределенные тени — —

— — — —

Вот так и должен был я снова вас увидеть? — наконец осмелился я у него спросить, когда, осторожно подложив пару подушек мне под голову и тщательно заправив одеяло на огромной кровати со стойками, юный паж, тогда как я боялся увидеть, что он уходит, уселся на краешек стеганого одеяла, оставив одну ногу свисать между кроватью и стеной, а вторую, согнув в колене, поджал под себя. Опершись локтями о деревянную спинку кровати, уткнувшись подбородком в ладонь правой руки, с браслетом на запястье, он играл пальцами свободной руки с четками на своем облаченном в черные с белым полосатые штаны бедра.

Все тот же взгляд бархатистых глаз, прямой короткий нос с трепещущими ноздрями, красивого разреза рот с изогнутыми губами, улыбка которого обнажала сверкающий ряд зубов, щеки с ямочками — то самое шаловливое выражение, которое так несвоевременно появлялось у нее вместе с вескими словами, когда она некогда мне возражала. Так что для меня было пыткой видеть, как она не без торжественности поднимает руку, в которую я бы хотел вцепиться зубами, зная, что она способна куда на большее, нежели заверять в своей твердой решимости остаться монахиней.

Теперь он — подбородок зажат в девичьей ладони — бросал мне вызов со всем тем, чего когда-то она

позволила мне лишь мельком коснуться и тут же свернула под предлогом угрожающего вечности каждого из нас взаимного уничтожения. Он же здесь, в отведенной для молитвенного созерцания комнате Храма, вновь вверг меня в состояние уязвимости, еще более отдаленной, но внезапно и непосредственной, будто он и был ее источником, открывая рубцы, зуд и бессмысленные раны коих были ему ведомы.

И так выраженный в идущую ему к лицу накидку, которую, казалось, оттопыривали невозможные груди, с тонкой талией, демонстрируя изгиб своих затянутых в шелк ног, — словно при поднятии занавеса на каком-нибудь декадентском “историческом” спектакле, — вот он уже вновь жестом не допускающего возражений отказа соединил вместе опытные и ловкие пальцы карманника:

— Брат Дамиан — ибо таково имя, которое вы будете носить во время своего пребывания в нашем Храме, — брат Дамиан, я предоставлен в эту первую ночь в ваше распоряжение лишь для того, чтобы дать вам инструкции касательно вашего поведения среди братьев-рыцарей! Если вам кажется, что вы меня уже когда-то встречали, — но когда это могло быть? — я не должен об этом знать, и мне категорически не разрешается говорить с вами о себе и даже просто называть свое имя: это тяжкая вина! Моя задача скромнейшим образом ограничивается тем, чтобы предостеречь вас от всякой мысли, способной отвлечь от вашей диссертации, защиту которой наши рыцари были бы очень признательны услышать; и с Господней помощью избавить вас от любых поводов для беспокойства и даже опасений, каковые могли бы омрачить ваш покой в этом святом доме!

Он остановился, посчитав, что вложил во все вышесказанное слишком много пафоса, потом понизил голос:

— Возможно, вам грустно, что вас столь внезапно разлучили с вашей милой супругой и что, размещенная в гостевых комнатах для дам, она до сих пор

не пришла поцеловать вас на ночь. Впредь вам придется общаться с нею исключительно через меня. По вашему слову я летаю к ней, чтобы передать любое послание!

Он прыгнул с края кровати и, подойдя к изголовью, склонил ко мне свое прелестное лицо. Сразу вслед за объявлением о полной сдержанности, этот приступ заботливости показался мне подозрительным: не хотел ли он позаботиться и о самой большой из моих слабостей — о зависимости от Роберты? Мне опять припомнились далекие обстоятельства, когда, вскоре после нашей свадьбы и незадолго перед тем, как навсегда покинуть этот мир, она пришла однажды вечером поговорить с Робертой и, словно радуясь тому, что сумела закрепить, по ее мнению — мне на пользу, мои чувства, шепнула в момент ухода: “У Роберты безумно красивые глаза!”

Я покачал головой в знак того, что передавать в комнаты для дам мне нечего. Но еще до того, как он успел это заметить, я взял его за запястье и с силой сжал. Он проворно высвободился и вновь перебрался в конец кровати:

— Сколь бы бесчеловечным ни показалось вам положение о раздельном пребывании явившихся сюда с нашими гостями жен, это, тем не менее, — правило во всех монастырских хозяйствах; подумайте также о том, что вы находитесь в Храме, у монахов-воинов, среди которых — за исключением чрезвычайных обстоятельств, как то: война, мор, клевета, приводящие к стечению терпящего бедствие народа, — присутствие любой женщины совершенно нежелательно и запрещается куда неукоснительнее, чем даже у траппистов! Не дай Бог, чтобы на благородную даму несправедливо упала хотя бы тень подозрения! — тем не менее, вплоть до ближайшего дня, когда Великий Магистр торжественно отпразднует годовщину своего мученичества и по этому поводу снимет обеты, вашей милой супруге придется оставаться... узницей!

И поскольку мне не доставало сил даже для того, чтобы засвидетельствовать свое изумление, ошеломленному более всего тем господством, которое он приобрел надо мной, объявив об этой новости, сам он, оставаясь на кровати, передвинулся при помощи рук и ног по одеялу, так что оказался у самого изголовья:

— Вы устали, вам нужно выспаться, и не бойтесь проспать монастырскую мессу, я буду вашим утренним колокольчиком! Могу даже открыть вам во сне, какие вопросы зададут экзаменаторы, но тогда вам придется самому истолковать свое сновидение перед жюри — ибо все здесь ныне и присно знают ваши мысли за исключением вашего решения придать им тот или иной смысл, о котором вы еще сами не знаете.

И, опираясь на обе руки, одна слева от меня, другая справа, господствуя надо мной своими устами:

— Я знаю, вы не заснете, пока я не передам ей от вас вечерний поцелуй, — процедил он, чуть сжав зубы. — Следите за песочными часами: когда я их переверну, придет пора гасить свет.

Его губы застыли на несколько мгновений, но меня удерживала непреодолимая сила. Потом, улегшись рядом со мной, то поглаживая себе бедро, то перебирая своими тонкими пальцами четки:

— Умыслы, которые вы мне здесь приписываете, даже еще и не поняв их как намерения по отношению к вам, касаются вас не такого, каким вы стали теперь, — прибывшего сюда сегодня вечером, лежащего в этой кровати, в первый раз за долгое время разлученного с супругой, раздираемого между разными доводами, — а того, каким вы в один прекрасный день сами от себя отступились. Того, кем вы были тогда, мы, остальные, приняли среди нас как то, что было нам нужно, ибо отсюда — куда мы отосланы, что касается вас, временно, но в вечном бдении, что касается событий, и даже обосновываясь в том или ином из обиталищ, предписанных нам Отцом, — мы приглядываем отныне за благой частью в каждом из

вас, мечущихся с той стороны. Ну а что же это такое, благая часть? Вы, как и я, знаете это, брат Дамиан, Жизнь показала это Марфе: слушая Жизнь, Мария не только выбрала благую часть, но и пребывает в Жизни этой своей благой частью. Что же по части Марфы, так она хочет улучшить то, чем, собственно, является: суетится, добавляет, увеличивает и, так поступая, теряет из виду свою благую часть: она думает, что обязывает Жизнь. Она не выносит, что Жизнь была там испокон веку и ни о чем не просила, кроме того, чтобы ее слушали. Конечно же, своя благая часть была и у Марфы, но из желания собственными глазами убедиться в этом по своим поступкам она стала глухой к Жизни, в которой пребываешь, того не ведая, и в которой никому ничего не сделать. Итак, каждый познал в своем кратком существовании момент спокойствия, когда, переполненный чем-то — возможно, совсем ничтожным, — он больше ничего не желает и не думает о завтрашнем дне. Но кто когда-либо осмеливался жить как полевые лилии? Кто хоть когда-нибудь поверил, что затмил Соломона во всей его славе? И вот он доходит до переломного момента, когда уже не может больше переносить то спокойствие, которое едва-едва наступило. Поистине, это было ребячество, смехотворное ребячество! Он его уже стыдится! Он боится жить никчемным чужаком среди предполагаемых современников. Его ли это ошибка, если он родился или слишком рано, или слишком поздно, скорее в эпоху Антихриста, чем идолов, в то время, когда Распятый и идола всех народов и всех эпох обогащают торговцев, скорее после отмены рабства, чем при работорговле, до или после эпохи игрищ на аренах, мистерий или широкого экрана, меновой торговли или оплачиваемых отпусков, иноходцев или спальных вагонов, зоопарков, дзена или инсектицидных распылителей — в 1264 или в 1964 году, — ему приходится смириться. Он верит, что обновился, ему приятно слышать, когда о нем говорят, будто бы он обрел зрелость, стал проницательней, и в шестьдесят

он чувствует себя легче, чем в двадцать или тридцать, и улыбается при виде оставшихся позади сброшенных старых шкур, он думает, что помолодел, наблюдая за созданной им семьей, и, не довольствуясь воспроизведением, начинает предаваться удовольствиям в тех местах, где — о ужас! — проституировал свою супругу... Он идет в ногу со временем! — проговорил он, глубоко вздыхая, и провел красивыми пальцами по своим длинным ресницам, словно отирая слезу, в то время как белые и черные перья на его шапочке подрагивали от негодования.

— Но, — продолжал он, — оставаясь по-прежнему всего-навсего никчемным чужаком, он не ведал, что отнюдь не является таким для нас, что ему были открыты сии места, эти мириады вновь поднявшихся сюда из тьмы веков разумов, — что я говорю, он, должно быть, не ведал и о том, что все более и более удаляется от наших обиталищ, осужденный отказываться от себя всякий раз, когда его взвешивала собственная благая часть, изо дня в день бежать от себя и продолжать верить в то, что все еще жив, тогда как даже кости его уже начинали гнить, — если бы мы не собрали эту благую часть, каковою на какое-то мгновение был он сам, и не привили ее, подобно черенку, к Древу Жизни.

Выучил ли он наизусть ту проповедь, которую произнес, или же, напротив, сплошь импровизировал и, поглядывая на меня краем глаза, сумел ввести в нее несколько благочестивых дерзостей, смешанных с намеками на некую темную доктрину; — сама манера, в которой он подбирался ко мне и избегал соприкосновения при малейшем моем движении под простыней, — все побуждало меня не щадить столь целокупно отсутствующую в его личности невинность, настолько я ощущал ее молчаливое приношение.

Он спрыгнул с кровати и, положив руки на бедра, медленно отступил вглубь высокой комнаты так, что виден оставался только правильный профиль его лица, устремленный к своду взгляд прекрасных глаз, при-

открытые, словно в ожидании реплики, губы; он поднял руки, потом со своеобразным самодовольством под позвякивание браслетов и четок их уронил; приостановился, предоставив моему взору лишь спину своей стройной фигуры, плотно облегаемые короткими штанами ягодицы. Спустя какое-то время, за которое я смог оценить его уже не только за слова, он снял шапочку и совсем растворился в полумраке, в котором я мог различить лишь перебирающую четки коленопреклоненную фигуру. Но почти тотчас же его очертания вновь появились в мерцающих отсветах факелов, и, обнажая в улыбке белые зубы, сверкая очами, словно забавляясь, что он согласился вернуться, с успокаивающим движением ладоней:

— Конечно, вы следовали похвальному намерению: рассчитаться как бы с долгом по отношению к Ордену Храма за данное давным-давно обещание получить свою степень у братьев-рыцарей, опущение которого ни в коем случае не было бы поставлено вам в вину! Теперь, когда вы здесь и уже наш гость, в этой постели, — и, сложив руки на груди, он скользнул коленом по одеялу поближе к моему телу, по-прежнему стоя надо мной, — позволено ли мне будет заметить: не тот ли так хорошо помнит о долгах, кто хочет получить новый заем? Как бы там ни было, вы вольны выбирать — защищать или нет свою диссертацию: в ней нет необходимости для тех степеней, к которым вы стремитесь; тем паче что для нас-то все это — не более чем развлечение. Продемонстрировали вы или нет состояние безразличия, в котором оказываются отторгнутые от своих тел души в ожидании воскресения, — не потому ли, что вопросы подобного сорта столь мало значат для людей вашего века, и явились вы вести об этом прения в старую крепость Храма, где испокон веку ржавые мечи пресекали предназначения душ? — боюсь только, что как вам не везло с убеждением тел, временно связанных с душами, так не повезет и при встрече с душами, которые от них отторгнуты — и они тоже временно, — скажете

им вы... временно! — и, глядя мне прямо в глаза таким невыносимым взором, что я зарылся головой в подушку: — Поверьте мне, отсутствие заинтересованности здесь по меньшей мере столь же всеобщее, как и там; покинувшему свое тело нет никакой нужды о нем заботиться! Я покинул свое несколько веков тому назад, тогда мне не исполнилось еще и четырнадцати, — неужели вы думаете, что я мог бы просто вот так с вами разговаривать, если бы не был всего лишь незначительным статистом в этой комедии? Ибо одно из двух: или вы пришли сюда как в театр, и стоит ли тогда обсуждать здесь столь тягостную тему? Или вы хотите быть услышанным отторгнутыми душами, но какой смысл для них в вопросе, который они давно решили: возникнуть, исчезнуть, возникнуть вновь — нужно ли мне для этого тело? Здесь быстро вершится все то, что в теле делается с большим трудом. Наслаждаешься еще до того, как захотел, обладаешь, даже не успев пожелать! — сказал он, и его вывернутые в категорическом жесте ладони от этого казались лишь сладострастнее, глаза сверкали.

— Когда вы сжали мне недавно руку, я вынужден был высвободиться, поскольку вы в сущности меня еще не поняли. Если вы подумали, что ощущаете что-то хоть сколько-нибудь осязаемое, — я обязан вам это сказать — ваше присутствие здесь неуместно; вы злоупотребляете гостеприимством Великого Магистра! — И вдруг с еще большей живостью: — У вас всего одно желание: чтобы ваша супруга явилась сюда и к нам присоединилась, не так ли? чтобы мы улеглись втроем; защита вашей диссертации — не более чем средство доказать мне, что я всего-навсего потаскуха... О, брат Дамиан, как трудно слушать подобные слова! И все же: притвориться мертвым среди живых — еще куда ни шло; но притворяться живым среди мертвых — какая гадость!

Затем, словно гневно нахмуренные брови недостаточно подчеркнули его очарование, внезапно успокоившись, но все еще раскрасневшийся:

— Пощупайте теперь меня и убедитесь, что у меня нет ни щек, ни рук, ни бедер, которые кажутся вам такими аппетитными, такими приятными под этой одеждой, несмотря на то, что они — не более чем ветер...

— Нет, я вас не коснусь! — сказал я, переполняемый желанием. — Ибо, если — дабы не солгать — я заявлю, что чувствую вас во плоти, вы объявите меня недостойным приема здесь; если же, напротив, солгу — дабы не быть выброшенным во внешнюю тьму, — то поступлю против совести! Но если по неведомой мне причине вы все же неосязаемы и я это признаю, ничто не уверит меня, что у вас не будет полной возможности заявить, будто я лгу из страха оказаться отвергнутым, ибо вполне может случиться, что, несмотря на изъяны в моем восприятии, вы все же... Проще всего вам поверить!

— Вы же ничему этому не верите, преподобный брат! Именно теперь вы мне и лжете! Зачем наделять меня столь же изворотливым духом, как и у вас, да и как предусмотреть во что бы то ни стало, что тогда произойдет? Почему вы сразу не сказали, что я здесь во плоти и крови: я бы вам тут же подчинился!

— А! — сказал я, — если вы не дух и не потаскуха, то между ними осталось место плуту!

— Увы! Брат Дамиан, лучше бы вы ко мне так и отнеслись! Я жду этого целую вечность, но за всю вечность мне об этом разве что говорят!

При этих словах я отбросил прочь сдержанность и протянул было руки, чтобы его схватить, но тут меня охватило непреодолимое оцепенение.

Он положил руку мне на лоб и большим и указательным пальцами опустил мне веки, пока я вдыхал сладостный запах влаги из ложбины его шелковистой ладони. Не в силах открыть глаза, я тем не менее совершенно отчетливо видел его перед собою: браслет на хрупком запястье, бархат рукава и, в растворе опущенных мне на веки тонких пальцев, овал лица, пыш-

ная шевелюра, выбивающаяся из-под шапочки с белыми и черными перьями.

На мгновение он так и замер с рукой у меня на лбу, в свою очередь закрыв глаза, но улыбка вновь обрисовала ямочки на его персиковых щеках.

Поскольку я не двигался, он отошел от кровати, погасил факелы и зажег ночник. Потом, отбросив шапочку, вытащил кинжал и вонзил его в дерево низенькой двери. Затем, сняв с пояса четки, обернул их себе вокруг горла и запястий, после чего развел руки и растянул четки направо и налево, так что образовался треугольник; казалось, он сделал это с силой и не сгибаясь повалился на пол.

Едва он вытянулся на спине, как оказался медленно приподнят над землей, прямо к своду; паря в горизонтальном положении, он тихо опустился на кровать и там, поперек нее, с обвязанными четками запястьями и шеей, остался недвижим.

ЗАМЕЧАНИЯ И РАЗЪЯСНЕНИЯ¹ К “БАФОМЕТУ”

Я только что закончил последнюю часть “Законов гостеприимства”, когда в продолжение нашего летнего (1964 года) пребывания в замке де Шасси меня посетило желание восстановить некоторые переживания своего отрочества. Результатом стал эпизод с юным Ожье, предлагающим себя Дамиану, опубликованный под названием “Комната размышлений” в *Le Nouveau Commerce* (осень-зима 1964). Этот текст, которому впоследствии было суждено стать эпилогом к “Бафомету”, побудил меня написать и пролог (появившийся в обозрении *Mercur de France* в декабре того же года). Все вместе было написано столь быстро, будто я должен был просто-напросто переписать мне диктуемое — или, того паче, *описать зрелище, на котором я присутствовал*, ни в коем случае не опуская слов, подсказываемых мне *разнообразными позициями* действующих лиц, так что я мог бы поверить, что был *на месте* и их слышал.

Проект исторического романа, воскрешающего обстоятельства уничтожения Филиппом Красивым ордена Тамплиеров, пробудило во мне стародавнее чтение — в возрасте тринадцати лет, в Женеве — романа Вальтера Скотта. Нужно ли сознаваться перед вами, что имена двоих из действующих лиц пролога — Буа-Гильбер и Мальвуази — позаимствованы у пары храмовников, фигурирующих в “Айвенго”? Это что касается видимости исторического жанра. В основе же лежит проблема по существу своему теологическая: Чем становятся души, отторгнутые от своих тел? Утрачивают ли они свою тождественность или нет? Познают ли состояние безразличия — или даже полного забвения, — или же их земные намерения продолжают существовать лишь в качестве напряженности, и, лишившись тел, не избавляются ли они также и от любых препятствий ко взаимному проникновению — вплоть до Судного дня, когда окажутся воссоединены с собственными телами? Вопросы, которые побуждают к дискуссиям и действиям моих персонажей, постольку и поскольку общим образом “Бафомет” в

¹ Извлечения из письма профессору Жану Декотиньи, опубликованного в качестве послесловия к его важной монографии “Клоссовски” (издательство Henri Veugier, серия, издаваемая Жаном-Франсуа Бори).

куда большей степени несет следы моего сродства с великими гностическими ересиархами (всяческие Валентины, Василиды, Карпократы) и, что касается формы и инсценировки, с *восточными сказаниями* (Бланшо dixit) типа “Ватекa” Бекфорда...

НЕОБХОДИМОЕ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ БАФОМЕТОМ И АНТИХРИСТОМ

Этимологии *Бафомета* многообразны. Я не придерживаюсь предложенной Альбером Оливье, согласно которой речь идет об искаженном произношении имени Магомета. С другой стороны, три фонемы, образующие это имя, могут означать зашифрованным образом *Басилевс философум металликорум*: властитель металлургических философов, то есть алхимических лабораторий, которые, возможно, возникли при различных командорствах Храма. Андрогинный характер этой фигуры восходит к халдейскому Адаму Кадмону, которого мы вновь находим в “Зогаре”. Вместо бородатого андрогина из Сен-Мерри мое сочинительство предпочло развить показания на процессе некоего брата-прислужника, разъясняющие одно из вещественных доказательств: золотую голову с черепом девственницы внутри, подтверждающую обвинение в идолопоклонстве. Отсюда мое изобретение юного Ожье, призванного изображать мнимого идола.

Нет доказательств тому, что храмовникам когда-либо вменялось в вину следование ереси доцетов, утверждавших, что Христос родился, умер и воскрес лишь по видимости. Зато в положении *дыханий*, в котором находятся мои персонажи, их к этой ереси приводит *забвение того, что у них когда-то было тело* — что понимает только Великий Магистр — наряду с Терезой Авильской, Дамианом и, особенно, оживленным юным Ожье.

Антихрист является апокалиптическим предчувствием из посланий святого Иоанна с Патмоса, инспирируемым одной фразой Христа (Мф. 24:24): “Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных”.

А также и ролью, вменяемой в вину различным историческим персонажам, среди коих и Фридрих II Гогенштауфен, романо-германский император, король Сицилии, враждебно настроенный к Крестовым походам и привечавший у себя при дворе евреев и арабов. Папы и антипапы клеймили друг друга этим словом, пока Лютер не охарактеризовал так “Папу Римского” и, наконец, решительным образом не приписал себе эту роль Фридрих Ницше. Откуда и заблуждение Великого Магистра, когда он полагает, что имеет дело с Фридрихом, королем Сицилии, ска-

завшем при виде пшеничного поля: “Как много здесь растет богов!” (насмешливый намек на освящение просфоры), на что муравьед ему отвечает: “Я сказал куда лучше” и т. д.

Невозможно перепутать фигуры Бафомета и Антихриста. Уподобить их друг другу значит нарушить канву моего сочинительства.

В рамках вневременного пространства дыханий, такие персонажи, как сир Жак де Моле, Тереза Авильская, наконец, Ницше и Дамиан, состыкованы вокруг пажа Ожье как случающиеся одновременно исторически разнящиеся миры.

Великий Магистр представляет при этом готическую чувствительность в противоположность возникшей из мира барокко Авильской святой: юный Ожье во вращении своего неподвластного тлену тела обозначает некоторым образом перенос стрельчато-готической мысли в мысль — спирализирующую — барокко, вновь вводя чувственность в созерцательный опыт испанских мистиков (припоминание статуи Бернини).

РАЗНИЦА МЕЖДУ ГНОСТИЧЕСКИМ ПОНЯТИЕМ ИСКУПИТЕЛЬНОГО ВОПЛОЩЕНИЯ И НИЦШЕВСКИМ ВЕЧНЫМ ВОЗВРАЩЕНИЕМ.

“Бафомет” (гнозис или вымысел, восточное сказание) никоим образом не может демонстрировать истинную суть того подобия доктрины, каковым является ницшевское вечное возвращение, или пониматься как беллетристическое произведение, построенное на этом личностном переживании Ницше.

Взамен моя книга содержит его теологическое следствие (прохождение одной души через разные самотождественности), совпадающее с метемпсихозом карпократовского гнозиса — на котором в некотором роде основывается персонаж Терезы Авильской, когда в своих молитвах она молит Господа предоставить отсрочку в виде нового существования, или даже последовательных воплощений, душе Дамиана.

Этот парадоксальный в контексте книги эпизод отнюдь не отвергает, а подтверждает в духе Терезы божественное присутствие: такая душа, несмотря на различные индивидуальности, которые ей предназначено принять, остается в глубине своей одной и той же, не меняется. Присущее вымыслу о Бафомете противоречие: метаморфозы, которые изображаются здесь в их неведении дыханиями из-за пресловутого “пакта между Князем изменений и Творцом”, в то время как главные герои — Великий Магистр, Тереза Авильская, юный Ожье, Антихрист Фридрих и, наконец, Дамиан, — остаются тождественными самим себе.

Последовательность фантазмагорических происшествий в моей книге (главы V, VI, VII), вставленная между главами IV и VIII, описывает случившееся во время поминовения, продолжающегося тремя врезками вплоть до страницы 142.

Чему соответствует эта вставка (чередование памяти и забвения) между перипетиями торжества, с необходимостью предполагающего возвращение к своей памяти всех участников, к тому же временно снабженных своим телесным обликом? По сути, масонскому стилю (уже осязаемому в обмене репликами с предполагаемым Бафометом или, опять же, между сотрапезников Великого Магистра) — ответы на каверзные вопросы — диалог сира Жака с Филиппом Красивым — мнимое обезглавливание короля (намек на ритуальное убийство Хирама, строителя Соломонова храма). В моей книге, если вам угодно, представлена красочная пародия, хранящая, однако, всю символическую весомость преднамеренно абсурдных поступков и слов и, значит, испытание интуиции об истинном и ложном у братьев, стремящихся к высшей ступени посвящения.

ОЖИВШИЙ ОЖЬЕ

Таким, каким он появляется в прологе, юный Ожье вновь возникает в момент поминовения, прислуживая за столом Великого Магистра в качестве пажа Лайра и Мальвуази. Посвященный некогда Мальвуази в ритуалы восшествия на трон (в прологе), он осознает только самого себя, свое собственное очарование, соблазн, которому он подвергает общину братьев-рыцарей, *ни на мгновение не подозревая о своем преобразении в Бафомета*, если только его не преследует мысль о новом повешении. (“Я дал себя повесить для того, чтобы заставить мне поклоняться! Повешенный, я счел, что достоин поклонения, поклоняясь самому себе в ожидании того, кто будет мне поклоняться!”)

Эпилог

Не говорил ли я уже, что, записывая действие этой книги, думал, будто присутствую на спектакле?

Вновь поднимается занавес: на сей раз за ним гостевая комната в Храме, сохранившаяся до наших дней как в любом другом монастыре того или иного молитвенного ордена. В этой достаточно просторной, освещаемой факелами комнате на

кровати лежит некий гость. На краю постели — отрок в шелковом одеянии средневекового паж, перебирающий четки.

Между Ожье как действующим лицом и разодетым отроком, который, судя по всему, что касается возраста, повадок и очарования, отождествляется все с тем же Ожье, может возникнуть и заметная разница, если судить об этом по недоумению рассказчика, когда паж пытается отождествить его с братом Дамианом. Уже в финальной сцене, присутствуя при непонятной галлюцинации братьев-рыцарей, брат Дамиан спрашивает себя, не выучил ли Ожье свою роль.

Здесь рассказчик, слушая юношу, который поначалу говорит в одиночку, кажется, ставит перед собой тот же вопрос: не надиктована ли ему та проповедь, которую он излагает, не выучил ли он ее наизусть? Не заставили ли его разучить, прежде чем изобразить их для гостя, все эти все более и более вызывающие жесты? О чем догадывается юноша и еще более наводит на эту мысль своим отпирательством. “Возникнуть, исчезнуть, возникнуть вновь — нужно ли мне для этого тело?”. Откуда и живой обмен мнениями, и столь же бестактная, сколь и жестокая реплика юного паж: “Почему вы сразу не сказали, что я здесь во плоти и крови: я бы вам тут же подчинился!”

Действительно ли брат Дамиан явился защищать свою диссертацию в “театр”? Не идет ли в очередной раз речь о скрытой пародии на масонские испытания? Или же, не зная шифра, он истолковал наоборот, то есть в прямом смысле, предостережение юного паж: “Неужели вы думаете, что я мог бы просто вот так с вами разговаривать, если бы не был всего лишь незначительным статистом в этой комедии?”.

КУПАНИЕ ДИАНЫ

*Nunc tibi me posito visam velamine narres
Si poteris narrare, licet.*

Ovid, *Metamorphoses*, III*.

Я хотел бы поговорить с вами о Диане и Актеоне: два имени, которые способны пробудить в уме моего читателя как многое, так и малое: ситуацию, позы, формы, сюжет картины, вряд ли легенды, ибо опошленные энциклопедиями образ и рассказ свели эти два имени, где первое — лишь одно из тысячи других, которые носило это божество на взгляд исчезнувшего ныне человеческого рода, к единственному зрелищу застигнутых врасплох чужаком купающихся женщин. Ко всему прочему, если это зрелище и не “лучшее из того, что у нас было”, то вообразить его все же до крайности трудно. Но если мой читатель не вполне свободен от воспоминаний и от воспоминаний, привносимых другими воспоминаниями, эти два слова могут внезапно блеснуть как вспышка великолепия и эмоций. Сей ныне исчезнувший человеческий род, исчезнувший до такой степени, что сам термин исчезновение — вопреки всем нашим этнологиям, музеям и т. п., — что этот термин, говорю я, уже не имеет больше смысла: как вообще мог существовать сей человеческий род? И однако то, что он по ходу дела пригрезил, то, что глазами Актеона увидел в своей грезе наяву настолько ясно, что вообразил и сами глаза Актеона, приходит к нам как свет для нас угасших, навсегда отдалившихся со-

* Ныне рассказывай, как ты меня без покрова увидел,
Если ты сможешь сказать, что же, воля твоя!

Овидий, *Метаморфозы*, кн. 3, 193—194.

звездий: ведь именно в нас сверкает взорвавшаяся звезда, во мраке наших воспоминаний, в великой звездной ночи, которую мы носим у себя в груди, но которой бежим при своем обманчивом дневном свете. Здесь мы доверяемся нашему *живому* языку. Но порой между двумя совершенно повседневными словами вдруг проскользнут несколько слогов языков *мертвых*: слова-призраки, которые обладают прозрачностью пламени в полдень, луны в лазури; но стоит нам укрыть их в полумраке нашего духа, как они обретают насыщенный блеск: пусть так же и имена Дианы и Актеона на мгновение вернут их скрытый смысл деревьям, мучимому жаждой оленю, волне, зеркалу неосвязаемой наготы.

Не у теологов ли стоит нам спросить, найдется ли среди всех когда-либо имевших место теофаний более озадачивающая, нежели та, при которой божество предлагает себя людям и от них ускользает, прикрываясь чарами ослепительной и смертоносной девы? Или же скорее маги, астрологи, акушерки или, того лучше, озаренные охотники сумеют интерпретировать нам эти столь разнородные эмблемы: лук, луна, собаки, факелы, олени, одеяния беременных женщин, розги для порки эфебов, охотничьи рогатины, цветы священных деревьев; они скажут нам, не позволяет ли урок стольких знаков, прежде чем склониться к определенным практикам, уловить теофанию в ее противоречивых атрибутах: девичество и смерть, тьма и свет, целомудрие и соблазн. Направляя непрерывное движение между областями самыми низкими, к которым мы склонны спуститься, и самыми высокими, к которым стремимся, лук девы настраивает нас против самого низкого, где она, тем не менее, царит *достижимой*, тогда как ее полумесяц ведет нас в подъеме к наивысшему, где она обитает *недоступной*. Кем бы ты ни был, связавшись с одним из ее атрибутов, тут же притягиваешь и другой, противоположный. Призывающие ее охотники, поостерегитесь слишком уж провешивать это противоречие: иначе вас ждет участь, не слишком отличная от участи дичи. Лук, который вы натягиваете, — гибкая материя девического таинства; каждому из ваших желаний соответ-

ствуется стрела из ее колчана; как расслабляется тетива, когда ее покидает стрела, так и жизнь, когда ее покидает желание; и вот ваша судьба: если вы и поражаете намеченную добычу, то ценой своего вождения. Но в час, когда делите с нею трофеи, будьте умеренны и бдительны: Лучница сняла свой лук, и это ваше высшее испытание: в Артемиде засыпает Элафия и появляется Бритомартис, милая дева с нежной улыбкой: оплодотворимая, но еще не оплодотворенная, крепкая и как никогда привлекательная, но все еще замкнувшаяся среди нимф, собак и добытой дичи: действительно, твое высшее испытание, Мелеагр, когда в форме стройной Аталанты она соглашается принять дань уважения от твоей вспыльчивой страсти. Избежите ли вы участи Мелеагра? Сможете ли вы не впасть в заблуждение при виде Лучницы на отдыхе, в более тесном соучастии со зверями, нежели с примкнувшими к ее своре охотниками: О, до чего исключенным чувствует себя охотник из круга причесок, морд, коленей, в центре которого дева сбрасывает корсаж и колчан; после гона она оставила нас почти бездыханными; притворяясь, что запыхалась и сама, она притворяется, что злоупотребила нашим рвением; и чтобы довести всякое рвение до высшей степени, вот она совлекает с себя покровы: вот раскрывает тело, которое трепещет, тело, которое она поглаживает, и, поскольку покрыта потом, собирается поделиться с волной своим секретом. Афродита являлась из-под струй воды взгляду смертных как самая беспристрастная из достоверностей. Но что нам до достоверности Афродиты в сравнении с горечью, в которой оставляет нас погружившаяся в воду Артемиды! Купание, завершающее охоту Артемиды, — самое жестокое мгновение нашего жизненного пути: нам отказано в послеобеденном отдыхе, который мы предвкушали провести в объятиях божества: и если она утверждает теперь свою неприкосновенную природу, то для того, чтобы тем лучше убедить нас в теофанической реальности своих щек, своих груди и ляжек, позаимствованных у смерти

наших чувств, тогда как волны обрачивают своими беспокойными полотнищами и девственное руно, и оплодотворимое чрево, ласкаемое нежными ладонями, которые сжимали лук, и гораздые в выборе стрел гибкие пальцы, что играют теперь с пупком и затвердевшими сосками...

Есть ли зрелище безумнее того, что предстает перед глазами Актеона через раздвинутую листву? Случайность или же робкое желание направило его шаги по пути к спасению, в лоно проклятия? Неужели он и в самом деле поверил в неподступном божестве в податливую деву? Не он ли и придал этой теофании ее формы? Не был ли он ее толкователем? Представилась ли бы когда-либо Артемида скульпторам, не приблизься к ней Актеон? Не хотел ли он заманить собственного гения-хранителя в ловушку своего ловитвенного воображения? Но что за мысль — захотеть застать врасплох сам принцип собственного призвания, словно для того, чтобы его пересмотреть! Надо же быть настолько безумным, чтобы предположить, будто божество собирается расслабиться, раздеться и обрести удовольствие в волнах; чтобы поверить, будто она томится — томлением настолько редким, что предоставит вам исключительное развлечение и одарит привилегией, которую вы и подберете, словно дикую ягоду! Может быть, Актеону постыла охота? Не разгадал ли он более глубокий смысл ее бесплодности? Одним словом, выпустить добычу в погоне за тенью — не таков ли секрет всех охотников, коли блага *здесь* суть тени благ грядущих? Но если Царство принадлежит неистовым, то Актеон сделал первый шаг по пути мудрости, когда приблизился к этой неопалимой купине, ветви которой и раздвинул, будто первый среди грядущих провидцев, вооруженных и маскирующихся.

Диана и циклоп Бронт

Циклоп снабдил Диану луком и стрелами. Не означает ли это, что тем самым он скрыл за подношением богине атрибутов то, чем на самом деле ее обеспечил? Что Диана, вырывая клоч волос из мохнатой груди циклопа Бронта, *боролась* с чудищем, чья мощь, восстановившись после работы в преисподней, мерялась в игре силами с ловкостью светозарной девушки? Уж не высвободил ли он тогда в ней жестокий принцип ее девственности? Она вышла из рук циклопа *утвержденной* в своей крепости атрибутом, о котором не подозревают ни боги, ни смертные (сохраненным для языков ее собак). Выдержав натиск циклопа, она отныне стала для касты посвященных непогрешимой соперницей Афродиты: ревнуя к Артемиде, Афродита тщетно пытается под нее подделаться: рога полумесяца ночного светила, украшающие прическу Дианы, остаются эмблемой ритуала, о котором стрекочут в свое удовольствие лесные птицы. Но кто хоть когда-нибудь претендовал всерьез на то, что понимает их язык? Потребовалась эта *ересь*, чтобы Диана, призываемая роженицами, среди бела дня отвела всем глаза и явилась как божество-хранитель плодородия, а также помолвок: она, исключившая для себя союз с кем бы то ни было, скрепляет клятвы женихов и невест и карает их нарушения. Но зачем сечь до крови своей прекрасной рукой эфебов?

“Суровое или даже неслыханное положение”

Актеон лишь потому так устранился *опасности*, исходящей от руки Дианы, что усомнился в целомудрии ее пальцев. Эта черта богини была для него не более чем *позой*: в ней было нечто успокоительное для мелких людишек, каковые видели в деве-охотнице исключительное в окружении олимпийской фривольности свидетельство суровости, каковые предчувствовали в ней благодеяния божественного милосердия, снизошедшие с исполненных неумолимой объективности небес: божество-хранитель животной и растительной жизни, благосклонная к ухаживаниям, как и к супружеской плодовитости, воспитывающая здоровых юных девушек по своему подобию и, тем не менее, “*львица для женщин*”, напускающая опустошающих округу чудовищ на недружелюбные или безразличные к ее алтарям царства, по мере того как охота становилась скорее *игрой*, нежели экономической необходимостью, словно для того, чтобы напомнить людям, что, являясь знаком как мрачного, так и светлого аспекта мироздания, она определяет собой его целостность. И в чем же эта целостность совпадала с целостностью ее девственной природы, отвечала ее целомудрию? Почему она отказывала себе в тех чувствах, которые оживляют мироздание? Не прятала ли она испокон веку, как от богов, так и от смертных, другое свое лицо? Актеон как раз и не понимал, ни что целостность мироздания может зависеть от одного простого божества, ни что женственная божествен-

ность, несовместная ни с каким мужественным божеством, способна выразить себя в простоте закрытой природы, самодостаточной и находящей в целомудрии полноту своей сущности. Богиня вне судьбы, на соединение с которой по воле судьбы не может надеяться ни один смертный.

“Богам дозволено соединяться со смертными женщинами, мужчинам же воспрещено обладать богинями? Суровое или даже неслыханное положение!”, — восклицал один знаменитый хулитель богов. Но до него то же самое говорил себе и Актеон. Быть может, женоненавистник, но наделивший свою недоверчивость неким *подобием* бытия, заинтригованный различными фазами собственного демона-хранителя и тут же решивший основать секту на основе *лунатического* темперамента, в своем честолюбии готовый исполнить роль ревнивого ересиарха в лоне *эфесской* ортодоксии, он вывил в столь банальном выражении, как *собаки воют на луну*, нечто вроде следов тайной истины. Таким образом, охотничье дело и астрология, хотя и разные, но обыкновенно принимаемые по причине своего прагматического характера науки, как оказывается, имеют *один и тот же скандальный предмет*. За вычетом того, что, если охота чисто имманентна, здесь видно, как она возвышается до трансцендентности, чьей столь обманчивой и тщетной интерпретацией является предоставленная самой себе астрология; в то время как словно бы проясненная смыслом охотничьих реалий астрология претерпевает при этом похвальное смягчение своих мечтаний, смиренно соглашаясь снизить до уровня *Пса*, каковой сразу приобретает возвышенность звезд. Ибо лунный полумесяц то оказывается диадемой, которая венчает чело Артемиды; то образует рога, проступающие из ее волос; тем не менее богиня никогда не выставляет напоказ образ этого светила в полнолуние. Действительно, в этой своей форме, расточая в теплой ночи

свои серебряные чары, оно смешивается с ее самыми целомудренными прелестями; невидимое, отступает вглубь их тайников; и уже там, в Артемиде, самый осведомленный из ее псов заставит его расти вновь.

Серебряный лук и древо Дианы

Диана испытывает свой *серебряный* лук четырехжды: она испытывает его на четырех предметах: первый раз — на *вязе*; второй — на *дубе*; третий — на *диком звере*; четвертый — на *Граде нечестивых*.

Относится ли все это к ее теофании? Или же речь тут идет о фигурах, разъясняющих невыразимую сущность ее божественности? Ибо в Диане божественность надлежит рассматривать также в ее “*высоте и глубине, ширине и долготе*”; нужно всегда удовлетворять этим четырем измерениям: пространство есть не что иное, как дух в четырех своих движениях.

Кажется, что здесь мы видим, как Диана осаждает три царства: в том смысле, что будучи сама духовной — Лучница, носительница света, — она проявляет сродство с тремя царствами; но только через посредничество одного из них, минерального (серебряный лук), с которым она поддерживает тайное сродство; и что это сродство простирается на *растительное* царство в образе вяза и дуба, как и на *звериную животность* в образе дикого зверя, на чем разведка, собственно, и должна закончиться. Ибо можно ли все еще отнести к животному царству *Град нечестивых*; — кто на это осмелится? Четвертое и последнее деяние Дианы, четвертая и последняя стрела, которую она

приберегла для города, должно указывать здесь, таким образом, на выход за пределы тех трех царств, которые она хочет объединить: она, похоже, теперь размежевывается с четвертым царством, с которым проявляет, однако, некое негативное сродство. Ибо точно так же, как при первом движении *серебряный лук* богини означал ее позитивное сродство с минеральным в возвышенном и трансцендентном смысле, так и теперь последним, четвертым движением Диана указывает на сродство между звериной животностью и психическим, но также и на *противоречивое сродство* психического и духовного в образе нечестивости.

Если учесть, что *серебряный лук*, тождественный лунному полумесяцу и, следовательно, эмблематический образ богини, служит здесь инструментом отправления божественных сил и что при этом действии *испытанию подвергается сам инструмент*, можно констатировать, что, если *серебро* (минеральное царство) играет здесь активную и трансцендентную роль по отношению к двум другим царствам (растительному и животному), высшее его действие свершается в области моральной: *Град нечестивых*, чей *разложенческий* характер тут же приводит на память совокупность свойств, в Искусстве, *нашатырного спирта*. Ибо “немного ртути, брошенной в раствор серебра в нашатырном спирте, притягивает серебро и делит его на ветви и листья, которые представляют *древо Дианы*”. Тем самым серебряный лук и Град нечестивых или просто нечестивость (этот иной минерал) находятся по отношению друг к другу в одной и той же духовной области: выстрелы Дианы, чтобы достичь конечной цели, должны преодолеть три эти царства. Циклическая эволюция, этапы которой, руководствуясь жестами своего демона-хранителя, мечтал пробежать Актеон.

(В то же время серьезное упущение такой трактовки нашей притчи состоит в том, что в ней вовсе не учитывается, что *вяз, дуб, дикий зверь* и *Град нечестивых* находятся в одной и той же плоскости; что они расположены по соседству друг с другом в пространстве; что нет другого царства, кроме царства этого пространства, каковое мифично; и что, отнюдь не представляя постепенности или последовательности, эти четыре объекта обладают по отношению к Диане одним и тем же качеством и составляют четыре цели четырех движений, осуществленных ею в развитие “ее высоты, глубины, ширины и долготы”; не в том смысле, что *вяз* был бы ее *высотой*, а *Град нечестивых* — *глубиной*: на самом деле, каждый из этих объектов дает повод четырем четырехкратно воспроизводимым движениям, поскольку эти объекты целостны, как в равной степени целостен и жест Дианы.)

Диана последовательно поражает два дерева, *вяз* и *дуб*, и эта двойственность (древо жизни и древо знания или смерти) связана с ее двойственной природой: смертоносной и светозарной, или, точнее: светозарной, поскольку смертоносной. Ее двойственным состоянием: неоплодотворенная, но оплодотворимая, или, скорее, оплодотворимая, поскольку неоплодотворенная. Состоянием целостности, основанным на смерти внешней мужественности, — так как эта последняя отстранена как *угроза* ее бессмертной целостности: и утрата девственности изображает здесь смерть прямо в лоне нетленного существа. Она сама, дева, действует, однако, как оплодотворяющий принцип: ибо мужественность, которую она поражает снаружи, возрождается внутри нее самой как принцип жизни в лоне смерти: или как принцип смерти в лоне бытия.

Вслед за этим Диана поражает дикого зверя: последний служит переносом между грезящимся жела-

нием и пробужденной мужественностью. Действительно, дикий зверь рыщет по лесу, как циркулирует по нашим венам раздражительность; но прежде чем она рассвирепеет в сердце человека и ожесточит его мысль вплоть до оскорблений, Диана усваивает ее в то самое мгновение, когда пронзает своей божественностью: тем самым пораженная духом животная энергия отнимается у человека и становится небесной мощью.

Тогда Диана выпускает свою стрелу в Град нечестивых: целиком построенный и населенный теми *эмоциями*, которые дева предает *анафеме* по самому определению своего принципа (целомудрие); город, который ее собственная теофания *возмущает*: она, “богиня извне”, становится постоянным подстрекательством укрощенных *внутри* эмоций. Одним словом, перед нами собрание тех, людей или демонов, кого эти эмоции мучат, кто ее знает, но, притворно не ведая о ее божественном лике, *поклоняется ей наоборот*: ибо, проникнув благодаря жертвоприношению Актеона в ее тайны, они в открытую их практикуют, безо всякого священного размежевания или ограждения, порочным и богохульственным образом. Они полагают, что, провоцируя их умы, Диана оставляет за теми из них, кто желает *совлечь с нее покров*, определенные *шансы свершить свое призвание*. Итак, говорят они, Актеон грезил под вязом или дубом (под деревом жизни или деревом знания) как бы о предвосхищении *Древа Дианы*, способного произрасти из соли нечестивости, из нашатыря позора, навязанного его взглядом великой “*позерке*”.

Телесные потребности и заботы Дианы

Добыча, которую Диана приносит с охоты, предназначена циклопам и Геркулесу. Понятая буквально, деталь эта относится к рационализации легенды. Очевидно, боги могут есть и пить, но не так, как они смеются, сердятся, занимаются или не занимаются любовью. С того момента, как боги приемлют собственное тело, они принимают на себя и заботы о нем и этими заботами забавляются, забавляются, скорее, тем, что подвержены его потребностям, нежели испытывают их на самом деле. Поступают они так из ложного стыда. Диана, как и другие богини, во всем исполняет свою женскую роль. Она моется, как и другие богини. Но никто никогда не слышал, чтобы она ела подстреленных ею зверей. Она кормит своей добычей таких “чернорабочих” Олимпа, каковыми являются снабдившие ее луком и стрелами циклопы. Что же такое эти *одноглазые* чудовища, которых она прокармливает своей охотой? Низшие, поскольку искусные и работающие, энергии, подчиненные игривому и насмешливому существованию богов. Эти энергии, если бы им не предписали так называемую *полезную* цель, возобновили бы гнусную войну титанов: таким образом, они воображают себя незаменимыми в работе для совершенно *бесполезного* Олимпа — настолько бесполезного, что он вполне мог бы обойтись без самого себя. Зато эти энергии питаются добычей девы: не насыщается ли ею с обжорством и полубог Геркулес? Добыча Дианы — это наши собственные

слепые энергии, укрощенные богиней и потребленные *энергиями работающими*: и те, и другие искажены охотой и трудом под предлогом потребности, полезности — “на потребу” безмятежной бесполезности. Верно, что эта самая безмятежная бесполезность вполне могла бы без этого обходиться. Она является принципом этих энергий — но последние не переносят себя как таковых. Чувство собственной бесполезности повергает их в горе. Только божество счастливо своей бесполезностью.

Но Диана обмывается после охоты: не из необходимости очиститься от покрывающей ее тело земной пыли и пота; это побочные детали, которые могут заставить грезить, сбить с толку Актеона; Диана очищается от пролитой крови, от соприкосновения со слепыми энергиями, с земными потребностями: она *очищается от полезной деятельности*: в волнах она вновь обретает свой принцип безмятежной бесполезности: вот почему эта нагота по видимости полезного тела становится для Актеона мотивом его собственного уничтожения. Он воспринимает все эти, как бы там ни было, ритуальные детали в буквальном смысле; тем самым он находит в них средство схитрить: *перерядиться оленем*. Он думает, что Диана и в самом деле “устала после охоты”, что она “вспотела”, что ей нужно “освежиться”, что это будет подходящий момент для неопровержимой демонстрации *реального присутствия* и т. д.

Отождествление с оленем

Актеон пытается жить как олень и, поджидая “восход Арктура в месяце боэдромионе и мемактерионе”, в период, когда олени покрывают оленух, покидает царский дворец и в одиночку отправляется в лес, предаваясь изучению оленьих повадок — и тут же подражает его движениям, скачкам и прыжкам: бросается бежать, резко останавливается, старается реветь; он *трется, как олень, головой о деревья, вырывает в земле дыры, пока его лоб и лицо не оказываются измазаны землей*. Зуд оленя-самца для него — живое подобие его собственного зуда: на Диану. Заставляет преследовать себя своих специально натасканных для этого собак; представляет, как застает Диану за купанием и слышит, как она произносит слова превращения; и так до того самого дня, когда ему в голову приходит мысль отправиться к священному заказнику в глубоине затененной кипарисами и соснами долины и дожидаться в темном гроте, из которого вытекает источник, пока туда не придет омыться Диана.

Какое же повреждение приключилось тогда с внуком Кадма? Одни говорят, что Актеон, проникнув в один прекрасный день в какой-то из царских загородных домов, застал там прославленного живописца, своего рода Паррасия, который писал на стене Диану. Актеон замер в ошеломлении перед изображением: им овладела внезапная ярость; схватив пристав-

ную лестницу, он нанес ею предшественнику Паррасия смертельный удар. Кое-кто добавляет, что он вскричал: “Лазутчик” или “Изменник” — как будто художник с ним о чем-то предварительно сговорился, — но при этой сцене присутствовал лишь неприметный, едва вышедший из отрочества раб, да к тому же еще и еврей следует предположить, что слова эти были приписаны Актеону задним числом, когда, после его трагического конца, на его счет распространились странные слухи. Между тем, при известии о совершенном его внуком убийстве самого искусного из его художников, властитель впал в безмерную печаль; он воспринял поступок принца как неслыханное святотатство и во искупление предал его проклятию, дабы отратить от своего царства гнев богини. Странное недоразумение, если принять во внимание конец этого удивительного приключения. В самый день убийства Актеон садится на коня и в сопровождении ловчих и своей своры углубляется в лес, с тех пор его больше не видели. Но пока он движется навстречу своей судьбе, на картине у всех на глазах появляется пока еще неизвестная сцена из легенды: Диана, которую покрывает Актеон с головой оленя. Когда столь искусный художник, как этот предшественник Паррасия, мог задумать настолько противоречащую традиции композицию? Не это ли и увидел принц? И не поддался ли он в таком случае вполне оправданному гневу? Но царские должностные лица выдвинули против этого формальное возражение: незадолго до прихода принца они сами проводили художника в эту резиденцию и могли рассмотреть эскиз его произведения: в нем не было ничего недостойного.

Можно ли ожидать, что на картине окажется то, что может с нами произойти? При условии таинственного соответствия изображения нашим непредвиденным намерениям. Если только изображение не оказывает на нас убеждение такой силы, что нам не оста-

ется ничего иного, как воссоздать его в повседневном пространстве. Но хотя, несомненно, приятно видеть, как художник предлагает нам то, что напевает наш дух — и, в особенности, принуждать к откровенности не слишком разговорчивое божество, — нужно все же преодолеть целую бездну, чтобы очертя голову ринуться в интимную сферу нашего привычного демона: как же тогда быть с картиной, которая представляет одновременно с нашим преступлением и наше наказание? Не будет ли она обладать по крайней мере тем достоинством, что удержит нас в нашей комнате?

Актеон и Дионис

Более соблазнительным и правдоподобным представляется нам мнение тех, кто видит в поведении Актеона нарастающее влияние культа Диониса, о смешении ритуалов которого с культом делосской богини он, вероятно, и мечтал. Как Актеон встретился с Дионисом? Ответ прост: бог винограда и бреда, бог, который умирает и воскресает, происходит из той же семьи, что и знаменитый охотник. И можно без преувеличения сказать, что бог этот терзал эту самую семью подобно комплексу, пока не обрел в ней свои земные истоки. Актеон приходится внуком Кадму. В действительности у Кадма было три дочери: Автоноя — та-что-себе-на-уме, — мать нашего героя; Семела, мать Диониса; наконец, Агава, жрица вышеназванного бога и мать Пенфея. Стало быть, по всем законам можно назвать Актеона “двоюродным братом” бога — в смысле генеалогии как духовной, так и телесной. Семела, мать бога, была, таким образом, его теткой; и точно так же Агава, мать Пенфея. Но то, что случилось с Семелой, происходит некоторым образом — в подобной, но негативной форме — и с Актеоном: оба гибнут из-за своего видения. Семелу, Агаву, Актеона обуревала одна и та же страсть: *экстаз*. Похоже, что здесь имеет место врожденная страсть, наследственная хворь отпрысков Кадма: в их крови были боги. Откуда и у обеих женщин, как и у их племянника Актеона, пренебрежение к принятому богослужению, каковое соразмеряет и умеряет сопри-

косновение с божественной вечностью в повседневной жизни и предохраняет его от всяческих излишеств. Для них культ совпадает с судьбой, а их религия состоит в том, чтобы *очертя голову погрузиться в бога или богиню*. Семела не довольствуется тайной связью с Отцом богов, ей претит топить *единящую с богом жизнь* в затхлости альковного адюльтера. Она желает, чтобы Зевс обладал ею целиком и полностью, в своем непереносимом облике. Она желает его *видеть*. Пожранная пламенем, она торжествует: Дионис рождается, чтобы умереть и возродиться. Мог ли Актеон не обдумать подобное событие, случившееся в его же семье? Самое странное, что вариант нашей легенды, поведенный Стесихором, гласит, что он хотел овладеть своей тетушкой Семелой и его превращение в оленя стало наказанием за это посягательство. Здесь Семела и Артемида на мгновение смешиваются, и, хотя, на первый взгляд, речь идет о путанице имен (“Селена” — лунный эпитет Дианы), путаница эта лишней раз подкрепляет предположение в пользу влияния Диониса на Актеона. Если же, наконец, учесть, что отцом Актеона, сына Автонои, сестры Агавы и Семелы, видных участниц мистерий, был Аристей, сын Аполлона и нимфы Кирены, наш герой предстает перед нами обремененным тяжким наследием: не племянник ли он Артемиде, своему демону-хранителю? Какова тогда природа его преступления: отчаянное усилие примирить два переполняющих его противоречивых чаяния? Не сжигает ли его одновременно и кровосмесительное, и мистическое пламя?

Актеон пытается жить как олень. Если к этому его побудили мистерии Диониса, можно предположить, что наущения этого бога подтолкнули его искать необходимую для насилия над Артемидой дерзость в бреду. Можно представить себе “племянника” Семелы, уже зараженного новой ересью, в момент, когда он погружается в размышления об Артемиде. Подоб-

ное занятие обязательно должно быть святотатством, поскольку речь идет о выходе за древние рамки: чтобы его предпринять, Актеону необходимо утратить сознательность, дабы он *знал*, что утрачивает сознание, и познал бред. Направить его, поддержать и оправдать мог только Дионис. Актеон готовит свое преступление как собственное жертвоприношение Артемиде; он приемлет наказание богини как откровение: став оленем, он проникает в секрет ее божественности; растерзанный своими собаками, предваряет миссию Орфея. Но эта смерть, состоящая в том, чтобы в подражание Божественному Господину быть разорванным на части, является образом разглашения и освящения некой тайны. И Пенфей, хулиатель новой религии, перед тем как быть растерзанным своею собственной матерью, припомнив об этом странном приключении, хотя оно и показалось ему странностью, надумал по крайности воззвать к непостижимому мученику: но, испуская дыхание, положился на более человеческие чувства и воззвал к *Автоноэ*: *“О сестра моей матери... да смягчит тебя тень Актеона”*.

Мог ли Актеон знать свою собственную легенду и сознательно искать бреда? Или, скорее, *не опережала ли его извечно эта легенда*, и не был ли его бред слишком притворным, слишком обговоренным, слишком неспешным, чтобы когда-либо ее *догнать*? Актеон и в самом деле бредил, потому что *знал, что бредит*. И, поскольку сомневался в целомудрии Артемиды, сомневался также и в собственном превращении. И тогда Актеон, опасаясь, что он отнюдь не Актеон, *убил* оленя, отсек ему голову, в нее вырядился. И его собственные псы, узнав его, отвернулись и оставили его одного.

Ожидание

Эти силуэты гор, эти леса, лощина и источник, уж не обладают ли они реальностью только в ее отсутствие? Эта поляна, на которой резвится моя свора, эта прогалина, где вдруг возникают олениа, — быть может, это всего-навсего очевидности, самовольничавшие, потому что я решил *ждать ее здесь*? Эта купа буков, эти осины, чья листва нашептывает мне тысячи вещей, чтобы отговорить или убедить остаться еще на какое-то время, или же эти ивы, чуть ниже, в которых она вполне могла бы спрятаться, — почему именно они наделяют так обустроенное пространство излишней для подобного вторжения обыденностью? Чем больше я погружаюсь в видимость этих предметов, тем лучше *вижу* то, что обрисовывает ветерок: *ее* лоб, *ее* прическу, *ее* плечи — если только более бурный порыв не облепит к тому же ей туникой ложбину между бедер, повыше колен. Не ощущает ли на себе *ее* стремительные пятки эта отлогая лужайка, где время от времени колеблются и склоняются то одни, то другие маки, и не хлещет ли по золоченым сапожкам, из которых проступает изгиб *ее* ног, усыпанная цветами трава? Как никогда ощущаю я достоинство пространства — как самое рассудительное наслаждение моего духа, — стучит *ее* лбу, *ее* щекам, горлу, шее и плечам облечься в нем в тело и обосноваться, стоит *ее* непереносимому взгляду его обследовать, стоит *ее* проворным пальцам, ладоням, локтям и лодыжкам рассечь воздух и ударить по нему. Но если простран-

ство предваряет ее приход, стоит ей прийти, и я сомневаюсь, что эти леса останутся существовать у меня на глазах, что эта ложбина до мельчайших своих корней покажется мне чем-то иным, нежели иллюзией; я сомневаюсь, что источник будет журчать вне меня, коль скоро она к нему подойдет. Но покорной останется волна: прежде чем коснуться ее пальцами ноги, нимфа, отбросив свой лук, отделит эту волну от моей мысли.

В пространстве, которому суждено ее принять, я всего только терпим, лишь бы я был так же прост, как вот эти деревья. Моя мысль переполняет пространство, в котором, однако, мысль эта брызжет как питающий водоем источник. *Она сама* хочет обнаружить эти места в их наивной видимости. Ну а я смещаю очертания, вздымаю ветви, будоражу волны...

Найти путь, ведущий в это абсолютное пространство!

Подчас мне казалось, что высоко, на скале, я вижу спину старого Пана, тоже выслеживавшего ее. Но издали его можно принять за камень, за ствол какого-то старого, корявого дерева. Потом его было уже не различить, хотя звуки его свирели все еще отдавались в воздухе. Он стал мелодией. Он перешел в колебание воздуха, в котором она потела, расточала, раздеваясь, аромат своих подмышек, промежности.

Любопытство Дианы

*Haec loca lucis habent nimis,
et cum luce pudoris.
Si secreta magis ducis in antra, sequor.*

Ovid, *Fasti*, VI*

Актеон прикрывает лицо головой оленя и, сочтя себя на диво изобретательным в своем “*larvatus pro Dea*”**, направляется к источнику, чтобы спрятаться в гроте. Он ждет, что она придет.

Все это время незримая Диана рассматривает воображающего нагую богиню Актеона. По мере того, как Актеон все глубже и глубже погружается в размышление, обретает Диана тело. Сначала у нее возникло желание увидеть свое собственное тело, потом — окунуть его в воду. Не знает ли по случайности Актеон также и *этого*? Несомненно знает, но об этом не думает; такова очевидность, из которой под маской оленя проистекают его мечтания. Эта очевидность внушена самой богиней. Желание увидеть себя начало раздражать ее по ходу гона. Когда ты выбрал пространство для загона лишенных сознания тварей вро-

* Слишком здесь все на виду,
и при свете солнца мне стыдно:
Если в пещере секрет скроешь, пойду за тобой.

Овидий, *Фасты*, VI, 115—116.

** “Перед богиней под маской” (лат.) [Ср. с девизом Декарта “*Larvatus prodeco*” — “Выступаю под маской”].

де крупной дичи — кабанов, медведей, оленей, как-
вые не более чем единицы потребности и чередуют
удовлетворение и боязнь, — следует ограничить и
очертить себя в ловких, гибких формах, подчинив-
шись условиям всех подвижных тел, способных на-
толкнуться на другое тело и испытать ответный тол-
чок. Подчиняешься их весу и в то же время пользу-
ешься преимуществами их податливости; в свою оче-
редь познаешь усталость и потребность в роздыхе после
треволнений; и хотя в качестве божества сохраняешь
бесстрастие, к тому же принимаешь и неудобство или
приятность быть зримым в качестве богини. Вы не
оставляете добыче времени вас увидеть; впрочем, до-
быча вас знает и боится. И вот, желание видеть свое
тело подразумевает и риск быть оскверненной взгля-
дом смертного, и вместе с этим риском в природу
богини проникает сначала представление о запятнан-
ности, а потом и его желание. Внезапно она ощуща-
ет, что ее природа не чужда противоречий: она, на
радость брату, никогда не хотела принадлежать дру-
гому богу. Она предпочла находить удовольствие в
извечно неразрешимом выборе: принадлежать или нет
мужскому принципу. Именно здесь ее царство, ее
вселенная. Она начеку, и сама становится объектом
для тех, кому в привычку вошло выслеживать. Нет
ли у нее последователей среди ее поклонников? И
не становится ли самым злостным осквернителем
самый проницательный, самый одаренный набож-
ностью и знаниями из ее последователей? *“Желае-
мый тобой любовник не избавлен от строгостей тво-
их”*. Итак, богиня не может уклониться от опреде-
ленности, которой сама себя наделила. Желая отдох-
нуть от погони, она хочет увидеть себя на отдыхе.
Но желая видеть себя за отдыхом, в волнах, она не
прекращает тем не менее сражаться. Она согласна
быть увиденной — ради того, чтобы разить, чтобы
еще раз убить; но, убивая, она отдается. Чтобы ее
осквернили взглядом, она убивает; но возвысит того,
кто, умирая, ее увидит.

Конечно же, незримая Диана, рассматривая воображающего ее себе Актеона, мечтает о собственном теле; но то тело, в котором намерена проявиться для самой себя, она позаимствует в воображении Актеона. Диана могла бы выбрать и иную зрительную форму: оленуху, медведицу или, если бы стремилась проявить свой собственный принцип, какую-либо форму, способную ужаснуть Актеона и удержать его на расстоянии. Но совсем наоборот: почитаемая как богиня, она хочет быть также почитаемой и как женщина в теле, каковое при первом же взгляде вскружит голову смертного мужчины.

Здесь понятно, что, поскольку Двенадцать богов тождественны по своей сущности, но различаются личностно, никакое начинание одного из них не остается неведомым для остальных, и что малейшее “приключение” кого-то из богов или богинь тут же становится известно всем прочим, составляющим одну-единственную сущность. Божественность о двенадцати персонах всегда оказывается на виду у самой себя: ее “жизнь” состоит тем самым в развлечении своими разнообразными теофаниями в их беспредельной свободе и неисчерпаемом богатстве. Ничего удивительного, что сами боги и насадили среди людей сценические игрища. Разнообразные видоизменения божественной мысли, каковые — не более чем чистая игра в себе, без малейшей полезности, помимо растраты энергии в беспреестанно обновляемых формах, без иной цели, кроме как удержаться вне всякого подчинения полезности, вне даже подчинения божественности божественности, возносят смертного вне сферы подчинения, стóбит во встрече с человеком этим видоизменениям, этим играм сложиться для него в событие, начиная с которого его собственная жизнь, доселе покорная безликой необходимости, возвышается до легенды о подобных играх: так боги и

научили людей созерцать самих себя в зрелище, на-
подобие того как боги созерцают себя в людском
воображении.

Диана и демон-посредник

Краткое содержание: Диана заключает договор с демоном, посредничающим между богами и людьми, чтобы обнаружить себя Актеону. Своим воздушным телом демон *прикидывается* Дианой в ее теофании и внушает Актеону безрассудное желание и надежду обладать богиней. Он становится воображением Актеона и зеркалом Дианы.

Именно этот демон Дианы и проникает в душу Актеона, настраивает его против своей же тени, отделяет от его же легенды и учит понятию божественного бесстрастия. Согласно ему, боги обязаны этим бесстрастием единственно тому, что вытесняют свои *возможные* эмоции в душу демонам. Демоны, таким образом, расплачиваются за олимпийскую безмятежность, точно так же как они расплачиваются и за преобразование людей в полубогов. Действительно, если люди как тела умирают, они как духи могут достичь божественного бесстрастия благодаря имеющейся у них способности умереть: в свою очередь вытесняя те страсти, которые пытаются им передать демоны. Заключенные в свои бессмертные воздушные тела, демоны не могут избежать своего посреднического положения путем смерти, которая бы их *преобразила*. В подобной крайности они иногда сваливают на людей то, что их возбуждает, иногда вступают с ними в союз, чтобы подняться к богам, и — подобно титанам —

угрожают обременить игривую безмятежность Олимпа *серьезностью* страстей. Но боги отводят эту угрозу, поддерживая *общепринятые рассказы* о своих исполненных страсти треволнениях: эти басни обладают тем достоинством, что наставляют людей и успокаивают демонов. Действительно, хоть и бесстрастные, боги тем не менее отнюдь не лишены вкуса к зрелищам, каковые они сами себе показывают при помощи подобных посредничающих демонов: они пользуются последними, чтобы исследовать эмоции, исключаемые их принципом, и тогда облачаются в демоническое тело, дабы смешаться со смертными: так они становятся зримыми людям — либо для теофании, либо для того, чтобы сойтись с какой-либо избранной смертной женщиной. В этом смысле демоны либо посредники между богами и людьми, либо — и это самый распространенный случай — всего лишь маски, имитаторы, играющие порученную им роль. И в том, и в другом случае они прикидываются богами, и подчас, когда оные возвращаются к своему бесстрастию — каковое на самом деле никогда их не покидает, — безразличные к тем существам, которые на мгновение с ними совмещались, эти демонические комедианты продолжают под них подделываться. (Бесстрастие богов заходит так далеко, что в той игре, которую они совершенно добросовестно ведут между собой, правилом является обмануть партнера, дабы испытать его бесстрастие: Марс спит с Венерой, — но нельзя сказать, то ли Марс — это демон, обманывающий богиню, то ли, напротив, уже Венера — всего-навсего женский демон, стремящийся ослабить Марса.) На самом деле демоны не имеют определенного пола: благодаря бесконечной податливости, бесконечной утонченности своего тела они могут отдавать свои формы самым разным богам, и, в силу столь чудесной мягкости, тела их замечательно подходят богиням.

В таком расположении духа пребывает демон. Он соглядатай, и ему скучно. Его развлечение — присут-

ствовать при постыдных и унижительных сценах — как для богов, так и для людей. Пресытившись подобными гнусностями, он ждет, чтобы его успокоили, вывели из заблуждения. Но успокоение противно его натуре. Подвешенному между безмятежностью богов, с которыми он разделяет только бессмертие своего тела, и страстями, претерпеваемыми вместе с родом людским, ему ведомо только постоянное волнение. Тело его столь же пластично, как и нетленно и текуче: и поскольку он пресыщен, ссужая его богам для благодарных *теофаний*, ничего не меняющих в его условиях, предпочтительнее для него богини — единственно в надежде, что их удастся подложить под смертного. Так он воспринимает свою роль посредника.

Как Диана, безмятежное божество, могла когда-либо войти в контакт с подобной мерзостью? По размышлению; и Диана — в некотором более сложном смысле, нежели Паллада — является одной из тех теофаний, в которых полнее всего отразилась сущность божественной природы. Итак, Диана смотрит в это демоническое зеркало и становится тем самым объектом воображения Актеона.

Что же происходит в этом отражении, как не сообщение между идиомами Дианы и идиомами демоническими: бесстрастная по натуре богиня принимает страстность демона в момент отражения своей женской божественности в теле, от которого она хочет зримости, но и *осязаемости*, обусловленной непоруганностью, но и насилуемости, обусловленной *целомудрием*. Ее целомудрие вдруг ограничивается пределами демонического тела; тогда как демон-посредник, присваивая себе отражение богини, взамен снабжает ее собственным сластолюбием, каковое тут же распространяется на всю ни с чем не соизмеримую натуру богини. Результатом чего становится сей однопо-

стасный союз, донельзя вызывающий для смертных, которые более уже не могут полностью различить в этом нерасторжимом сплаве, к кому восходит высокомерие, а к кому целомудрие. Ответственность за все это должна целиком лечь на Диану: под маской своего демонического тела она может тайно отдаться, или *поэкспериментировать инкогнито* с эмоциями, которые исключает ее собственный непреложный принцип, в том числе и с эмоциями целомудрия; так что без ущерба *для присущего ей эфирного и незримого тела*, неразлучная со своим божественным принципом, бесстрастная из-за своей неосязаемости, но зрительница — ибо Диане более других богов свойствен вкус к зрелищу, — она присутствует при собственных приключениях — приключениях, в которых *испытанию подвергается ее целомудрие*.

Спина Артемиды

Не смотри на Артемиду лицом к лицу: под ее взглядом ты исчезнешь. Ибо если на виду все ее тело, ее сущность объемлю уже я сам; набросить вуаль мне не дано только на ее взгляд: для всех вас это смерть. Взамен присматривайся к ней, если сможешь, искоса; или в профиль; но лучше всего — со спины: дело не в том, что она не может тебя увидеть — я далек от подобной нелепицы, — но, пусть ей даже придется рассматривать тебя через плечо, со спины она тебя все же стерпит: и, кто знает, там она, возможно, обязана тебя выдержать; ибо через меня согласна она появиться, через меня, позаимствовав тело, которое должна принять таким, как оно есть, смирившись, вопреки своему самодовольному бесстрастию, в этом единении с волнующими меня движениями, каковые становятся впредь моими собственными. И будь уверен, что *мое* кокетство, основанное на *ее* целомудрии, отнюдь не из последних среди того, что возбуждает ее любопытство: чем больше она отказывает себе в низменных эмоциях, потрясающих нас, демонов и смертных, тем более терзается впредь эмоциями стыдливости, каковая была для нее всего-навсего идеей; она не знает, что рискует со мною не слишком приятными сюрпризами, но воспринимает их с тем любопытством, каковое дозволяет себе ее бесстрастная сущность: если она бежит без устали, и охота здесь не более чем предлог, то лишь для того, чтобы забыть ссуженное ей мною зримое тело, тело, как ты знаешь,

соблазнительное: посмотри же на этот затылок под забранными в шиньон волосами, кольца которых прикрывают уши, посмотри на непринужденно высвобожденную шею, на линию спины, разорванную высоким поясом, пропущенным под старательно скрываемой грудью: раз за разом вырываюсь я из этого корсажа, когда вся моя кипучая злокозненность собирается в одной из грудей, и топорщусь. Но пойдём ниже: рассмотри узкие бока, зад, скроенный как у прекрасного юноши: О, она — из скромности — упрекала меня при первой прикидке за эти упругие и округлые, аккуратно подобранные ягодицы, свободные от дурного вкуса излишеств, которые обнаруживает Афродита... Осмелюсь ли поведать, что именно здесь у тебя больше всего шансов преуспеть, поскольку я спускаюсь по этим бедрам, о, самым длинным и тем не менее самым изящным в их сдержанности; посмотри на крепкое колено, попирающее диких зверей; на эти икры, лодыжки, пятки, которые сулят разгром, как и подобает богине, более быстрой, чем мысль, чем гром и молния. Ну а эти плечи и руки, эти длинные кисти, ужасные, когда хватаются за лук, столь нежные, когда ласкают женский лоб в муках деторождения. Знай, что здесь тоже имеется слабое, если я осмелюсь сказать про нее такое, место; кожный покров на ее ладонях и пальцах; стоит ей прикоснуться к себе во время купания, и она вздрагивает, удивленная касанию ссуженных мною ей форм: ибо я вложил в ее руки всю возбудимость, от которой сам так страдаю, — изящные суставы ее запястий оказались бессильны вырваться из когтей Геры, когда та ее порола, — именно в ладонях этих рук, как и в ложбинках подмышек, бедер и колен, мой вклад весомее, чем вклад ее бесстрастной натуры.

Признания Демона Дианы

Отец богов предоставил в свое время Артемиде сохранение вечной девственности; не успел он на это согласиться, как оказалось, что подобные притязания его дочери чреватые не более и не менее, как пересмотром вопроса о множественности личностей в недрах божественности: Артемида стала отождествлять божественную целостность с целомудрием. Что со стороны Артемиды сводилось к затребованию всей божественности себе одной и, соразмерно тому, что она фигурирует в ряду других богинь, к свершению акта автомонотеизма. Отец богов и не подумал поразмыслить о непоследовательности своих поступков или обещаний: тем не менее, будучи ответственным за равновесие на Олимпе, пусть его и ничуть не волновало лишнее противоречие в собственных поступках, он, как обычно, во всем положился на судьбу и непредсказуемость своей импульсивной природы и внял уроку, предуготовленному ему его собственной беспорядочностью: внезапно вспыхнув к Каллисто, дражайшей подруге Артемиды, не менее целомудренной, нежели его дочь, он решил, что лучшим способом одной рукой вернуть себе то, что он неосмотрительно дал другой, будет обмануть нимфу-охотницу в облики своей дочери. Тем самым он одновременно собирался подвергнуть торжественному опровержению столь ограниченную концепцию, вздумавшую отождествить божественную сущность с целомудрием. С восстановлением равновесия, а вме-

сте с ним и новым подтверждением незыблемой природы божественного, олимпийское бесстрашие было бы не пустым звуком.

Но будет ли он, точнее, может ли он действовать так, чтобы Артемида об этом не знала? Теофании Отца богов никогда не происходят без того, чтобы одновременно в них не была вовлечена и общая божественность Двенадцати богов. Божественный принцип требует присутствия всех в деяниях каждого, даже если они должны этими деяниями на мгновение противостоять друг другу, как то всегда и кажется рассудку смертных, каковы, подчиняясь условиям промежутков пространства и времени, не способны уловить подобную противоречивую одновременность. И тогда Зевс посылает к Артемиде Гермеса: и вот какую странную сделку поручено предложить богине крылоногому богу: Отец богов с превеликим сожалением согласился, чтобы ты осталась девой; взамен он просит тебя (чего, впрочем, ни в коей мере не обязан делать, но о чем, из уважения к твоей божественной воле, ходатайствует как о свидетельстве дочерней любви), чтобы ты позволила ему принять на время твой облик. Артемида догадывается о плагиате. Она отказывается. И Гермес: Если ты заупрямишься, я не отвечаю за настроение Отца богов; не подтолкнешь ли ты его к развязыванию какого-нибудь куда более тяжкого скандала, нежели тот, которого ты хотела бы избежать? Разве остановится он перед тем, чтобы пойти на клятвопреступление, оспорить твоё девство; поощрить уж не знаю какое святотатственное в отношении тебя предприятие, которое ты не сумеешь стереть никаким наказанием: ведь это же он — хранитель твоего обета целомудрия, ведь это же в нем помещается само твоё бытие? Артемида уступает — *то есть уступает Зевсу меня самого*, меня, того демона, который прикидывается перед людьми её телом. Она уступает Зевсу собственную теофанию. И в то же вре-

мя, так ли уж необходимо было Зевсу облекаться в тело своей дочери — мною ей предоставленное, — чтобы добиться своей цели? Разве не мог он принять форму какого-нибудь послушного животного — лебедя, быка, — которого, когда ей захочется, Каллисто без всякой боязни могла бы приласкать? Но независимо от нежелания второй раз подряд использовать одни и те же средства, его демонстрация не достигла бы цели. Если Гермес в конце концов убедил Артемиду, то благодаря следующему доводу: Вспомни, о богиня, что, перед тем как родиться на Делосе, или, скорее, родиться от Лето, ты пребывала в своем первоначальном состоянии — и никогда не перестаешь в нем пребывать, — состоянии древнего божества *плодовитой* Ночи, и что Отец богов, овладев тобой, несмотря на твое нынешнее целомудрие, сделал тебя *матерью*, разродившейся тем богом, которого ты лишь хулишь без меры теперь, в твоей нынешней теофании, богом, имя коего, хоть он и твой сын, заставляет тебя краснеть, когда его называют: Эрос, материнство которого ты дозволила бесстыдно приписать себе Афродите.

При этих словах Гермеса Артемиду, носительница ночного света, хватает свой факел и зажигает его от молнии своего отца. Этим ритуальным жестом она объявляет о своем дочернем повиновении, но также и намеревается подтвердить блеск своего целомудрия и, по-видимому, упрекает Отца богов в насилии, которое он над ней учинил. Тем самым в лоне божественности царит единство, хотя отец и дочь в силу личностной множественности божественной сущности придают ему совершенно разный смысл. Этому учу тебя я, о Актеон, я, чья вечная, но ваяемая по воле богов форма так замечательно подходит, чтобы, смыкаясь с их непостижимыми намерениями, доставлять вашим чувствам доказательства их самоуправного существования: ваш рассудок слиш-

ком часто ставит его под сомнение, привыкнув, как ему свойственно, не доверять реальности вещей незримых, принимать лишь то, что само идет в руки. Пусть в твои придет Диана!

Отраженная Диана

В своей легенде Актеон показан бредущим наугад, отнюдь не рассчитывая *обнаружить Диану*. Или же бредущим наугад с *осознанным намерением застать ее врасплох*. И в том, и в другом случае *бредет* именно Актеон, это он продвигается в пространстве, он приходит на место, где Диана уже начала купаться, когда внезапно появляется он. Итак, Актеон исследует пространство, в котором Диана успела разместиться в том или ином положении. В мире абсолютного пространства отдаленность Актеона по отношению к Диане столь же абсолютна, как неожидан и непосредствен их контакт; между их взаимной удаленностью и их контактом ничего нет; однако же, именно в этот промежуток и погружено размышление Актеона: значит, он создал себе напряжение, которое ведомо только поэту, которое способен ввести в выбранную им для изображения сцену художник, но наш герой либо испытывает неосознанно — и мы скажем, что именно это и заставляет его блуждать в священном лесу, — либо восстанавливает задним числом; но в какой момент? Когда он замечает купающуюся Диану, знает, что потерял, увидев ее растерянной? Или же когда чувствует, как его пожирают собаки? Или же, напротив, когда решает ее *дождаться* в гроте и предугадывает дальнейшие события? (Возможно, именно тогда он и стал добычей демона-посредника; этот демон, поскольку он не является ни богом, ни человеком, но как бы *отражением* одного в другом, будучи сам ис-

ключен из мифического мира, в своем промежуточном положении кладет начало способу видеть и судить, присущему теологам¹ и метафизикам; впредь он подразделяет вселенную на три области: богов, про которых говорит, что они бесстрастны и бессмертны; его собственных бессмертных и страстных собратьев; страстных смертных. Поскольку собственное бессмертие для него — просто-напросто нескончаемое время, оно становится объектом опыта; таким образом он проецирует в мифическое пространство время отражения; тем самым он переводит мифическое пространство, которое для него снаружи, во внутреннее или “ментальное” пространство и в своей роли посредника между двумя мирами, богов и смертных, все еще объединенными в абсолютном мифическом пространстве до его собственного посредничества, он задается вопросом, что такое “внешнее” и что такое “внутреннее”, и в конце концов делает вывод в пользу небытия чистых видимостей: мысли. Так он направляет мечтания Актеона.)

Диана, судя по всему, не знает никакого другого мира, кроме мира абсолютного мифического пространства, в котором развивается ее охота: загнать, поймать, убить, искупаться. Но в приключении Актеона внезапно загнанной оказывается сама Диана, поскольку охотник застал ее безоружной и обнаженной. Этот инцидент принадлежит все еще миру необратимого и не дающего послаблений пространства: опасность, риск — как и на охоте, как и при купании после охоты — заключаются в том, что в этом же пространстве расположен священный заказник, где купается Диана, что тропинки, которые, кажется, никуда не ведут, выходят прямо на него. В этом же пространстве Диана кажется навсегда недоступной для Актеона; — *через миг* я ее оскверню, — говорит он про себя; — *через миг* — этот ретроспективный опыт времени вносит сюда демон-посредник. И через миг я мертв. Но

этот демон наделяет его способностью видеть ее и за гранью смерти и сказать себе: “*И тогда она моется, пока собаки меня пожирают*”. И действительно, Диана заканчивает свое прерванное купание. Что происходит в ней, пока она моется, тогда как она только что превратила в оленя и скормила собакам человека, который увидел ее без покрова? Не продолжает ли его взгляд существовать и посмертно, после уничтожения, и сможет ли полностью стереть волна скверну с нее, с ее тела, которое совершило уничтожающий и стирающий жест? Этот вопрос уже не относится к миру абсолютного мифического пространства; поставленный демоном, он характеризует его болезненное любопытство, и это-то любопытство и определяет мрачное наслаждение Актеона. В пространстве мифического мира этот вопрос *неуместен*. Ведь Диана вписывает вечное возвращение своей женской периодичности (лунный полумесяц) и продвижение по кругу (охота, купание, восхождение на Олимп, охота и т. д.) в абсолютное пространство мифа, тождественное непримиримой сущности богов. Даже богиня принимает в своем божественном состоянии черты женственности, которые и определяют ее теофанию. Но здесь раздолье для демона. Диана, женственное божество, хочет быть в теофании целомудренной девой. Тем самым она отражает размышление о своей божественности: это в прямом смысле слова отраженное божество, пусть и в недрах мифического пространства. Таким обходным путем демон вкрадывается в качестве посредника прямо в ее теофанию. Не только потому, что он предоставляет ей для этого свое зримое тело, но и потому, что в качестве отражения Дианы кладет начало понятию о теофании нового типа: теофании в смысле теологов — в противоположность мифическому пространству; и все это исходя из *обета целомудрия богини, отражения Дианы*. Впредь, если в качестве божественного принципа Диана и бесстрастна, как богиня, *отразившая свою божественность* в девственном теле, она принимает страстность демо-

на, предоставившего ей свое тело, чтобы она могла явиться целомудренной. Тем самым Диана позаимствованным телом подчинена времени отражающего размышления; но отражение мысли, которая является выходом из мифического времени, из вечного возвращения, обращает время в ментальное пространство; время не может подчинить божество, которое едино с мифическим временем вплоть до самой его периодичности; но отраженным временем отражение подчиняет *случайности* позаимствованного божеством тела.

Последствия теофании *Купания Дианы*, таким образом, двойки: будучи испускаемым божественным принципом светом, она приостанавливает и время, и отражение времени; тогда мифическое пространство окружает Актеона и свершается превращение в оленя. В этом экстаз *бредущего наугад Актеона*, вторгающегося в мифическое пространство, где купается Диана. Но эта же теофания пересекает мифическое пространство; и сама омывающая Диану волна оказывается тогда зеркалом ее неосязаемой наготы: *отраженная Диана вновь вбирает в свой принцип свою на мгновение лучезарную красоту*. С тех пор как он предался своим размышлениям, Актеон предвосхищает экстаз; к тому же он не бредет наугад, он *ждет* в своем ментальном пространстве, в глубине грота, что Она придет погрузиться в источник; между Дианой и Актеоном проскальзывает демон, который заводит свои теологические бестактности, и уже Актеон, перехвативший таким образом отражающуюся в своем отражении Диану, посягает на самую интимную простоту богини; или, скорее, эта простота от него ускользает, и ее заменяет сложность демона.

Предостережение Алфея

Прошло уже несколько дней, как Актеон не слышал своего демона. Ничуть этим не обеспокоенный, он, напротив, отдыхал от его обманчиво правдоподобной болтовни. Вновь волнуемые ветерком листья и источник разговаривали с ним и нежно убаюкивали своим перемежающимся шепотком его разум. Внезапно шум воды стал громче и настойчивее: и, со струящейся бородой, вдруг появился Алфей, но тут же приняв внятную форму, он обратился к праздному охотнику с такими словами: “Не обессудь, о Актеон, что меня взволновало твое замешательство; быть может, мой долгий речной опыт преподаст тебе какой-либо полезный урок. Вокруг тебя теснится куда больше случайностей, чем ты подозреваешь; до тебя, как и множество других до меня, неприступную охотницу, неуловимую Деву возжелал и я: и все же, она — божество, а я — всего лишь бог реки; если для того, чтобы поговорить между собой, боги любят принимать ту форму, которую они придали вам, смертным, ибо она является образом их сущности, то в своих раздорах они подчас противостоят друг другу переряженными и по-другому. Неравными были наши уловки в борьбе: когда текучесть становилась мне в тягость, я располагал только тем обликом, в котором ты меня и видишь; она же обладала множеством чар, чтобы избежать моих ухаживаний. И однако же, бросая вызов моим самым подспудным мыслям, она продолжала появляться передо мной как гибкая юная девушка,

которую я всякий раз высматривал при приближении ее шумной охоты. И я был достаточно безумен, чтобы видеть в этом авансы и упорно принимал человеческий облик, чтобы ее соблазнить. Однажды ночью я проскользнул в хоровод ее нимф, но она заранее расстроила мои планы ребяческой выходкой: все они вымазали лица глиной, и я переходил в ее поисках от одной к другой, не раз и не два оказавшись и перед ней, смеющейся надо мною из-за своей земляной маски. Вернувшись в берега, откуда в скромности я выходил когда-то, в один прекрасный день я увидел ее в облициии нимфы Аретусы: как она приближается, колеблется, раздевается и наконец отдается моим еще медлительным водам, затененным ивами и тополями; это было слишком, и, увидев, как она, вот так обнаженная, но прикрытая осязаемой наготой Аретусы, будоражит руками и бедрами текучий покой моего затаенного духа, я в очередной раз поддаюсь безрассудной потребности преподнести ей свою мужественность под видом смертного; и вот, совсем нагая, она бросается от меня наутек; но образ ее наготы придает моему телу рождающуюся неудержимость моих потоков; а мое дыхание набирается смелости воззвать к ней по условному имени: *Аретуса*, вскричал я, *Аретуса, куда же бежишь ты?* Я выхожу из берегов, и чем больше мы пробегаем лощин, равнин между лесистыми холмами и скалами, тем больше я преодолеваю препятствий, а пейзаж подчиняется моим решениям и потворствует любовному гону; то я выигрываю в ширине, то углубляется мое русло; я гонюсь за ней до самого дна пещер, где она, запыхавшись, и спряталась, быть может, меня дожидаясь; тогда, оставив тот очаровательный облик, что пробудил во мне неистовство, она соглашается оказать почтение истинной моей натуре; жидкими и прозрачными становятся ее формы, смешавшись с моими; теперь я угадывал ее по сильному течению, которое она мне передавала; но, успокаивая так мое кипение в недрах земли, она замыкает бездны и через иные мрачные пещеры утека-

ет оттуда до самой Ортигии; там она вновь выходит на свет и снова оказывается в своем чистейшем целомудрии. Таков был, о Актеон, самый счастливый урок пережестывавших во мне через край излишеств; желание рассасывается с исчезновением формы, с которой оно было связано; и божественное могущество, дабы вернуть нас к нашему мирному движению, дает объекту желания иной вид; но самому желанию дает свойство узнать себя в его форме; желание меняется одновременно с тем, что оно преследует; оно собирается уловить свой объект в другой форме, и форма та тогда столь интимна для этого движения, что она доставляет ему удовлетворение его собственного закона: каковой не в том, чтобы сдерживаться или не разливаться — вплоть до застоя, — а торжествовать над собой в постоянном фонтанировании. Тем самым я преодолел самое тяжелое испытание, которому мы, речные боги, должны подчинить свои достоинства: опасность иссякнуть в угрюмом немотствовании. Победоносный, я продолжаю реветь: и Аретуса мне наградой”.

Если бы Актеон понял, что ему проревел Алфей, он ни на секунду не задержался бы в гроте. Он вспомнил бы о своих егерях и своре и продолжил бы свой путь, уповая на охотничью удачу, наугад бредя к превращению из человека в оленя. Ибо действительно, Купание Дианы для Актеона — событие неподвижное и внешнее; Купание Дианы снаружи: чтобы его обнаружить, Актеону вовсе не нужно располагать его в том или ином месте, нет, он должен покинуть свой собственный дух: тогда видимое Актеону происходит *по ту сторону* рождения каких бы то ни было слов: он видит купающуюся Диану и не может сказать, что же он видит. Даже если он блуждает с намерением застать ее врасплох, его блуждания — словно бы восхождение к предшествующему состоянию речи: идти вперед, в леса, и внезапно очутиться перед сце-

ной, все еще неожиданной, хотя само его ожидание определило его путь в леса, все это можно изложить так: это событие вбирает в себя то, что еще можно было выразить в восприятии. *Я не могу сказать об увиденном, что это такое.* Дело не в том, что того, что не можешь высказать, тем паче не можешь и понять: да и не в том, что невозможно видеть то, чего не понимаешь. Актеон, по легенде, *видит* потому, что *не может сказать*, что же он видит: если бы он мог сказать, он *перестал бы* видеть. Но Актеон, размышляющий в гроте, поставляет Актеону, *внезапно оказавшемуся в священном заказнике, где купается Диана*, следующее положение: *Я здесь потому, что не должен здесь быть.* Но реальный опыт может свестись к абсурдному утверждению: *я должен был быть здесь, потому что не должен был быть здесь.*

*Venaturam oculis facere**...

Plautus, *Miles Gloriosus*, 990.

Пока он занимается охотой, Актеону вольготно в теле, преследующем другие тела; в частности, в своем теле сильного молодого мужчины, преследующего гибкое тело божественной девушки без тени сомнения в том, что это тело Дианы, что в подходящий момент он сможет им овладеть. Но когда он, утративший иллюзии охотник, собирается обосноваться в гроте, дабы поразмыслить об исключительно видимом теле Дианы, в его размышление должны погрузиться также и источник, и грот, и пейзаж в своей целокупности. Испытывая непредвиденный и неопределенный момент Купания Дианы как решающее для своего рассудка событие, не мечтал ли Актеон по примеру общин приверженцев Диониса учредить артемидианское отшельничество? Быть может, под маской оленя он приступает к практике, которую в легенде блуждающий по лесу Актеон разве что предвосхищал; превращение в оленя будет тогда лишь последней, озаряющей ступенью, к которой через различные ментальные этапы — очистительные, созерцательные — ведет путь, коим следует продвигаться артемидианскому аскету: от самой охоты это размышление сохраняет по крайней мере коварство — в том смысле, что оно, видимо, разворачивается наподобие силков, добычей которых станет Охотница, сама *тень* эфирного тела Дианы. Если богиня заимствует демо-

* Глазки так и бегают... Плавт, *Хвастливый воин*, 990.

ническое тело, чтобы охотиться в зримом мире, она направляется к священному источнику только для того, чтобы завершить там свою теофанию: результатом Купания Дианы будет возвращение ей чистоты ее незримого эфирного тела. Но и здесь снова артемидианский аскет видит всего одну фигуру, поскольку само Купание — лишь очищение образов, которые имя Дианы порождает в его рассудке: чтобы отыскать *истинный источник*, в котором купается богиня, аскет должен темной ночью вернуться к зарождению слов, к отправной точке отражения Дианы; там-то богиня и совлекает с себя покров своего видимого тела, предается своему эфирному телу... В размышлении полно подвохов: если аскет, пусть даже в малости, сохраняет мысль о силках, если ему в голову придет сравнить свои занятия с налаживанием западни, все пропало: *выпустить добычу в погоне за тенью* оборачивается докучливой банальностью, препятствием для его предприятия; и обращение смысла этого предложения, в котором он был готов преуспеть, не может служить оправданием; итак, он должен больше не думать о своей уловке, утратить грубоватую ментальность охотника, чтобы Диана в своем видимом теле Охотницы могла *в полной уверенности* устремиться к волнам с намерением в них омыться; и пусть аскет поостережется; ему достаточно просто помечтать об этом намерении — и это уже будет жульничеством; вот почему голова оленя, в которую он вырядился, если он не хочет, чтобы она стала венцом жульничества, должна быть наделена достоинством побуждать его к подлинному поступку в самых недрах обмана; по образцу этой оленьей головы, пустой до такой степени, что она содержит его собственную, если и вправду она — власяница, под которой предуготовляется его темная ночь, пусть и он опустошит себя от всех мыслей, всех речей и даже забудет само имя Дианы; пусть он мало-помалу обретет прозрачность волны, и тогда, в темной ночи его рассудка, Диана... но никогда более голову оленя не наполняли мысли; ибо даже

великодушнее всего расположенная сойти на нет мысль все равно по-прежнему дорожит своим приближением к ничто, и сколь бы глубоко ни погружалась она в ночь, все равно по-прежнему остается пристально всматривающимся в ночь *взглядом*: — высшее искушение прервать это *Купание*, приостановить, пусть всего на миг, разъединение Дианы и ее демона, Дианы и ее зримого тела; ... бедный охотник *темной ночью*, мнимый аскет *среди бела дня*: — ибо Диана никогда не перестает отражать свое целомудрие в своем видимом теле: — о порочный круг!.. Итак, извечно подкарауливает он ее, извечно оскверняет своим взглядом, извечно испытывает она потребность омыться от этой скверны — и никакой маске оленя не сделать так, чтобы он мог созерцать Купание Дианы чистым взглядом — если только сама Диана — извне — не откроет внутри охотника глаза умирающего оленя...

Hic Dea silvarum venatu fessa...

По правде говоря, воспроизведение облика Дианы в тот миг, когда она готовится вступить в волны само по себе является искажением “легендарной” сцены. В этом событии, каким его пережил Актеон, похоже, нет места для подобного рода наблюдений; он видит лик Дианы сразу и слишком издалека, и слишком близко, чтобы мечтать о том или ином выражении лица богини.

И однако поэт четко говорит:

*Hic Dea silvarum venatu fessa, solebat
Virgineos artus liquido perfundere rore*.*

Диана устала от охоты — что объясняет внешнюю причину сложившихся обстоятельств, причину, являющуюся также и переменной настроения, состояния души, которая, точь-в-точь как простую смертную, и привела ее в прозрачные воды бьющего из грота источника. Предположим, что в своем размышлении Актеон вдруг уловил эту особенность в выражении лица богини, или же, что как раз тогда, когда он размышлял, и думать не думая об этой детали, *событие*

* Там-то богиня лесов, утомясь от охоты, обычно Девичье тело свое обливала текучею влагой.

Овидий, *Метаморфозы*, кн. 3, 163—164.

прервало его размышление, наглядно ее показав: и на руку ему в этом растущая неспешность сцены.

Она только что пришла. Кто же, все еще он или его рассудок, сумел справиться — всего только с разноголосицей ласкающих слух шумов, поднятых их прибытием? То есть первой группы нимф-охотниц — танцующим шагом, со щебетом, ребяческими возгласами, пока они, суетясь, подготавливают место. Затем далекие голоса: все ближе главная процессия, и вдруг тишина, ни дуновения, разве что взлетит птица или зажурчит ручей; и затем: словно бурный порыв ветра, словно слепящий отблеск в гроте: это *она*, там, снаружи.

... Все произошло так быстро: — этим утром или месяцами ранее покинул Актеон свой дворец? Ему кажется, что он тут уже вечность, что ошеломленный, сдерживающий дыхание, он видит ее — она, которую он всегда представлял себе на бегу, теперь отдыхает, высокая и величественная, слегка откинувшаяся назад, опершись на локти, вытянув длинные ноги, которыми, расшнуровывая сапожки, завладели две из ее нимф, тогда как она держит голову очень прямо, глядя куда-то вдаль; он видит ее такую в профиль, когда легким движением головы божество проявляет вдруг выражение недовольства, легкой скуки, возможно, ожидания; Актеон, вероятно, не отдает себе отчета в том, что сам и наделяет ее этим выражением, что именно так ему становится видно утомление богини, многообещающее и опасное утомление, что перед ним предстает Диана, уставшая от охоты; как простая смертная, она слегка хмурит брови, ее глаза, *голубые*, кажется ему, глаза, слегка обведены тенями, нижняя губа чуть надута в мимолетной гримаске, которая тут же превращается в улыбку, приподнимающую уголки ее рта, словно свидетельствуя о пресытившейся алчности, но также и о подавленном смехе, подбородок чуть склонен на грудь; под ясным лбом расслабляются бро-

ви, веки, отбрасывая на щеки тени, опускаются при взгляде на своих спутниц, которые высвобождают из-под высокого пояса ее божественные бока.

Актеон видит или только называет: округлость плеч и, в вершине угла, образованного опирающейся на локоть рукой, часть подмышки с прядью волос; ниже — узкое запястье длинной руки с тонкими пальцами; жест второй руки, выпускающей лук, ее праздная ладонь и пальцы, которые скользят по прическе и наконец встречаются, чтобы в некотором нетерпении развязать ленточки шиньона; и опять этот взгляд вдаль, вбирая в себя запах диких цветов, источаемый всем ее все еще окруженным спутницами телом...

Нимфы наконец расступаются: она встает, высокая в своей наготе — но кто бы мог осмелиться, у кого хоть когда-либо достало бы дерзости, чтобы поверить... — она протягивает ногу к волне и, еще прежде чем тело медленно погружается в воду — Овидий рассказывает нам, что нимфы закричали от ужаса, неожиданно завидя мужское лицо; что они сгрудились вокруг Дианы, чтобы скрыть ее из виду; но для Актеона все это лишь воссоздание, а для самого поэта — вычурное предвосхищение, — ибо когда Диана пригвоздила его взглядом, когда сама она, каковая не более чем *бытие без жизни и смерти*, отрицание пейзажа, в котором она движется и показывается, *сама невозможность места, где он мог бы когда-либо ее дождаться*, встречается в закатившихся глазах охотника-отступника с жизнью, умирающей от желания ее назвать, она видит наконец себя такою, какой демон-посредник предложил ей сделаться зримой, она, *бесстрастная*, познает издевку этого посредничества, которое выставляет ее напоказ, которое внедряет в нее непреодолимое желание *быть увиденной*; и, пока скверна взгляда смертного мужчины завершает формировать ее наготу в теперь уже зримых очертаниях, от коих впредь она не сможет отказаться, она смакует коварную брешь, учиненную в замкнутом бытии этого тела.

“Диана хотела схватить свои быстрые стрелы”. Но она сложила свое оружие. Взамен руки богини, изготовившиеся омыть ее тело, совершают сейчас непредвиденный стыдливый жест, открывая то, что они скрывают, выдавая теперь способный к оплодотворению живот, внизу которого ее ладонь прикрывает четко очерченный лобок; но вульва проскальзывает у нее между пальцев: уловка демона, который предоставил ей эти зримые прелести в качестве самого непроницаемого покроя ее божественности. Бесстрастная в том бытии, в котором она обитает в несказанном, созданном из безмолвия теле, но подвластная в своей теофании эмоциям тела, в котором знает о своей желанности, целомудренная Диана раскрывается стыду, предлагая вполне сказанные прелести; именно из-за своего *бесстрастия* краснеет Диана на глазах у Актеона, *Диана краснеет за свое целомудрие*.

Если ты сможешь сказать, что же, воля твоя...

Второй жест этих обезоруженных рук — зачерпнуть воды и брызнуть ею в лицо Актеону; жест ритуальный, жест освящения, который свершает превращение охотника в оленя. Не тогда ли Актеону еще слышно, как Диана изрекает:

*Nunc tibi me posito visam velamine narres
Si poteris narrare, licet.*

Воспринимал ли он смысл, а не только звук этих слов, когда *переставал быть человеком, но еще не стал оленем?* Изреченные Дианой, слова эти, похоже, придают ритуальному окроплению смысл двояким образом; ибо они подстрекают к разглашению того, что только что совершилось, через язык и в то же время демонстрируют, что превращение делает эту огласку невозможной. При анализе этих слов вскрывается сразу и подстрекательство, и ирония: *Ныне рассказывай, как ты меня без покрова увидел, — Если ты сможешь сказать, что же, воля твоя!* Подстрекательство: *Давай же, рассказывай — опиши наготу Дианы — опиши мои прелести — их-то ты, конечно, и высматриваешь, а подобные тебе хотели бы об этом узнать!* Ирония: *Если ты сможешь, воля твоя!*

Слова, которые упраздняют язык в мифическом событии, поскольку составляют неотъемлемую часть

той игры, что является единственным выражением мифа, а эта игра и есть сам миф. И в этом смысле Актеон под маской оленя, со своими поисками истины и потребностью ее сообщить, заранее обречен, а не превознесен: обнаружен, а не явлен; стало быть, он не вступает в тот свет, которого взыскует, ибо все делающееся явным свет есть (Еф. 5, 13). С другой стороны, слова богини, прибегая к иронии, предлагают описать сцену *Нагой Дианы перед человеком-оленом* средствами бестактного или оскверняющего языка, отыскать в этой мистерии вразумительное значение иными средствами, нежели сценическая игра, в которой вершится мистерия. Но тогда даже нет необходимости, чтобы божество хоть что-то говорило: Диана сделала свой кропящий жест в молчании пантомимы, каковой и является сам миф, предоставив Актеону приблизиться к себе, готовая его принять, подвергнуть его ритуалу оленя; если Актеон воспринял эти слова лишь в глубине души, то, значит, потому, что сознательно исключил себя из мистерии, полагаясь лишь на “*воля твоя*”; и тогда все, что существует в нем, это слова, годные, чтобы рассказать — “*если ты сможешь*”, — рассказать сцену в мельчайших деталях.

...Nec nos videamus labra Dianae...

“В действительности, Мадам, ничто не доказывает, что вы сами и не есть Отец богов: разве не позаимствовал он ваше нежное личико, чтобы покорить вернейшую из ваших спутниц? Всего мгновение назад я видел, как вы держали Каллисто в объятиях; я сказал: мгновение назад, ибо, не так ли, в любой момент, ежели не всегда, можем мы воскресить в памяти эту сцену; но если божественное способно так менять свои ужасные формы на более приемлемые и тем самым вести души своих поклонников к гибели, не вправе ли я заподозрить...” Эти последние, едва оформившиеся слова так и остались у него в глубине горла; уже рога пробились у него на лбу, уже вытянулись нос и челюсти: но речь стала ему бесполезной: в глазах его отражалось наслаждение, которое, сколь бы невинным оно все еще ни казалось, смешивалось с животным ужасом; и вот уже этот ужас напитался стыдом купальщицы и все то, что в этом стыде было девственного, обратилось нетерпением спастись бегством, но и нетерпением укрыться в руне богини; умирающий человек, все еще желающий объясниться, учтиво, почтительно извиниться; и в то же время эта благопристойная поза, которую он принял, одна нога слегка выдвинута перед другой среди зарослей травы, вот она уже становится неуместным знаком почтения со стороны поднявшегося на задние лапы зверя;

* Не видны нам губы Дианы (*лат.*).

приносящего себя, свой огромный член, в жертву, угрожающего своим пожертвованием богине. Не сама ли Диана самым актом превращения и предложила себя в качестве предмета для изумления? Одной рукой она только что плеснула влагой волны ему в лицо, но, произнося свой приговор, уже убрала вторую руку из ложбины между бедер и — то ли она посвятила тем самым Актеона, то ли, посвятив ранее, включила теперь его в свой последний ритуал, то ли, наконец, положила конец своей теофании — этим жестом открыла свое алое влагалище, открыла свои тайные губы: Актеон видит, как раскрываются эти адские губы, в тот самый миг, когда струя воды застит ему глаза, ослепляет и муштрует: его мысль находит свое завершение в рогах, что прорастают у него на лбу, и шок от подобного свершения бросает его вперед; его руки становятся ногами, кисти — раздвоенными копытами, он даже не удивляется, заметив краем глаза, что они опираются о божественные плечи, а весь его мохнатый живот дрожа приник к ослепительной коже искрящихся влагой боков богини; и вот уже эта дрожь передается и Диане — в миг, когда мужчина осмелился ее коснуться, — Диана дрожит, когда ее рука, которая, как она знает, столь же смертоносна, сколь и прекрасна, хватает похотливое животное за морду и ощущает, как ей в ладонь тычется его язык; волна, поднятая топтанием человека-оленья, движением длинных ног богини, которые то сжимаются, то раздвигаются; одышка рогатой твари, стоны обезоруженной охотницы; она вопит голосом своих нимф и смеется в своем вопле; он опрокидывает ее с неловкостью новообращенного животного, она высвобождается, она скользит, и он вновь рушится на нее и в нее; ах! быть столь близко к цели и столь далеко — эта власяница молчания, что противна его потребности говорить, погружает его в полымя.

Но мошенничество Дианы заключается в том, чтобы не вполне завершить превращение, чтобы оставить ему еще какую-то долю его личности: ноги, туловище, голова Актеона уже целиком принадлежат оленю; но, в то время как его правая рука уже ничем не отличается от мохнатой ноги, а ее кисть — от раздвоенного копыта, левая, вместе с кистью, остается нетронутой, и в этом пробеле читается как колебание богини, так и нечто вроде вызова: далеко ли рискнет зайти все еще подвластный его видению порыв, тогда как его охватывает животный пыл? Беззастенчивость богини доходит до того, что она оставляет ему охотничью куртку, которая полощется поверх членов человека-оленя, а его охотничий рог на перевязи раскачивается и грозит ушибить бедра купальщицы; в этом состоянии его передняя нога, бывшая ранее правой рукой, соскользнув с плеча богини вдоль по спине, которую она ему подставляет, пытается опереться о ее бедро и, короткими рывками огибая бок и проходя по животу, втуне тшится добраться до лобка, тогда как сама она, опустив глаза, с улыбкой, чуть приподнявшей ее сжатые губы, мгновение его терпит; и, действительно, он с ужасом хватается левой, еще не тронутой рукой за ее грудь, которую не может отказать себе в удовольствии погладить; она, круто поворачиваясь, но и словно бы наблюдая за ним краешком глаза, поднимает руку, открывает подмышку, в которую он с жадностью засовывает свою морду, но жадность эта смешивается со страхом, когда его язык наконец-то лижет ее сосок; в своем самом великолепном из всех, в которые она до сих пор облачалась, теле Диана содрогается...

...Огромный, белый как снег олень отделил Актеона от божества; и, прикрывая спину лесной богини, рогатый царь вступает в свое царство. Но царствование его кратко: ликуя, встречают его нимфы; он направляется к ним без малейшей боязни, и они тысячью способов ласкают его, проходятся между рогов, по лбу, вдоль шеи, и вот уже по бокам, по животу; он поводит головой и, полный невинности, бьет копытом, а они, увенчав лаврами, подводят его к богине; две нимфы предуготовляют Охотницу к роздыху и подбирают подол ее платья до самых грудей: Диана раскрывает свои обнаженные ляжки; нимфы подводят оленя, чей пыл они теперь должны как-то сдерживать; и лесная богиня наконец принимает рогатого царя. Но ход брачных церемоний венчает славная смерть героя: не раньше исторг он из Царицы стон, как уже бесчисленная свора наполняет грот своим лаем; собаки вонзают клыки в его мех и, пока они разрывают его на части, *царь орошает своей кровью ослепительное тело Девы*. Тогда нимфы спешат к богине с последними омовениями; но прелести Дианы растворяются в чистом свете, который она расточает, и вскоре только диадема свидетельствует с теперь незримого чела о ее присутствии: светозарный полумесяц поднимается над хребтами гор и занимает свое место на изумрудном своде сумерек.

Достать с неба луну

Актеон боялся случайности: он хотел опередить судьбу, сделаться ее сообщником, от всего сердца хотел совпасть с судьбою, свершить как призвание судьбу человека-оленя; он надеялся обрести спасение и разрушил собственный образ. Но возможно, что здесь мы к нему несправедливы, что мы приписываем ему либо слишком много дионисийских намерений: быть разорванным на части и рассеянным по всей вселенной; либо слишком грязное мошенничество: она примет меня за оленя, и мне ничто не помешает; либо, напротив, избыток деликатности: она увидит, что я с самого начала смирился со своим наказанием. Или же его поведение основывалось на некоем *доводе*: если Диана и в самом деле должна *прийти*, лучше дожить до этого *оленем*, а не охотником; доводе, предполагающем в качестве основания веры практику: на что олень всегда может ответить, что проще всего подготовиться к приходу Дианы, от нее сбежав. Во всех этих побуждениях, каковые, возможно, его посещали, во всяком случае можно выявить следующее: безумную переоценку свободы воли за счет благодати (дабы не вводить здесь понятие *оленьего* волеизъявления); смущающее отсутствие наивности, полное непонимание вечной женственности в лоне божества, совершенное недоразумение по поводу игровой природы богов. Ибо, если Диана это Диана, она в совершенстве может отличить живого оленя от чучела и должна заранее знать, что там, в гроте, поджидает ее

отнюдь не олень, а маска, мужчина, маскирующий свою похотливость; — или же она не знала этого заранее и знать не желала, поскольку, наполняя мгновение всей своей вечной сущностью, она кажется столь же прерывистой, как и ее Отец, и не нуждается ни в предвосхищении будущего, ни в воспоминании о прошлом? Нет ли тогда все же у Актеона оснований все предвидеть, дабы лучше откликнуться на перепады в настроении природы, которая ничего предвидеть не хочет? Меняет ли это что-либо в развитии событий? Быть может, он воображает, что в конце концов она способна *забыть* о превращении? Некоторым образом, как ни крути и ни верти эту ситуацию, всегда натыкаешься на один и тот же изъян: самонадеянную и нечестивую волю усвоить миф через посредничество языка: *насилуемость обнаженной Дианы — непоруганность нагой Дианы* — чистое наложение или буквалистское приложение аналогии с бытием? Стратегема посредничества слов! На *обнаженную Диану* он набросил покров самой ее *наготы*. *Нагая Диана, краснеющая Диана, оскверненная Диана, моющая Диана* — сколько омерзительных подобий, от которых надо было избавиться; осталось последнее: лунный полумесяц, он хотел предложить его новое толкование, показать обман его лживой лучезарности: в таком случае Актеон не доверял этому поверхностному возведению чувственной реальности в разряд духовной истины; разоблаченный божеством в том, что хотел сохранить способность *сказать*, Актеон должен оправдать свою *не-оленистость* как любовь к самой истине. Ни *охотник*, ни *олень*, испытывая отныне отвращение к культу образа, Актеон оказывается *иконоборцем* в присутствии Дианы, или, точнее, столкнувшись лицом к лицу с ее спиной, со спиной той Дианы, какую ее описывают нам поэты, какую преподносят ваятели, — и Актеон испытывал неприязнь к этому *идолу*, который увековечил одновременно и объект его страсти, и его собственную отвергнутость: вот она снова в короткой тунике, с голыми руками и коленями, длин-

ные ноги в шнурованных сапожках; левая рука сжимает серебряный лук, правая, с приподнятым локтем, приоткрывает подмышку, а ее закинута за плечо кисть между затылком и шиньоном готовится вытащить длинными пальцами из колчана стрелу... Готова прыгнуть, голова поднята, взгляд вдали — эта строгость ее чистого лица, *как будто ничего не произошло*; эта поднятая рука, игра пальцев на оперенном конце стрел — Актеон уверен, эти пальцы подают ему неведомый знак, — все это приводит теперь нашего героя в мрачное расположение духа:

“*Бесстыжая сука!*”, кричит он ей в первый раз; но неподвижность Дианы в этой схваченной на бегу позе такова, что на мгновение ему кажется, будто перед ним ее каменное подобие; возможно, иллюзия движения, этого приостановленного порыва, происходит от того, что только что произошло, что еще произойдет: она убивает, потом моется, исчезает, чтобы вновь появиться и убить снова, как будто *ничего не произошло*. Само собой разумеется, что Актеон не ждет более, чтобы нимфы раздели богиню: теперь нужно, чтобы уже он совлек предмет за предметом одеяние с этого ужасного идола.

“*Бесстыжая сука!*”, кричит он снова: намек на улыбку слегка морщит силуэт щек богини. И тут, как будто даже и не пошевелившись, Диана уже пронзила его самой изощренной из своих стрел: одной рукой он вырывает у нее серебряный лук, другой хватает за запястье руку, которую богиня протянула к колчану, и вот он уже охаживает ее луком по ушам, и когда она нагибает голову, чтобы уклониться от ударов, туника падает, развязывается пояс, стрелы вываливаются из колчана на землю, наконец он прихватывает ее за зад и наносит с размаху такой удар, которым впору сломать лук, впору подумать, что серебряный лук сам

собою пляшет по ягодицам Дианы; и действительно, из ее тьмы выныривает край светящегося полумесяца, блеск которого она все еще скрывает своими длинными теньвыми руками; но чем сильнее становится порка, тем ярче расцветает полумесяц; и поскольку ягодицы идола расступаются, Актеон бросается туда, опустив голову: вот он и достиг своего предназначения: покатый лоб, рот широко распахнут, из челюстей торчат клыки: наконец и он стал псом!.. меж зубов струится полумесяц, выскальзывает, ускользает, поднимается ввысь... в слюне тонут последние оскорбления... пес за просто так?.. Он лает — о славная смерть Оленя!.. когда *светозарный полумесяц поднимается над хребтами гор и занимает свое место на изумрудном своде сумерек.*

Долго, по словам некоторых, скитался еще его призрак по окрестностям; он преследовал тех, кто рисковал остаться на ночь вне дома, и предавался бог весть каким еще козням; поскольку не удалось найти его останки, оракулы повелели возвести ему статую сбоку скалы, со взглядом, устремленным вдаль; тем самым он опять *ее* выслеживал, словно застывший навсегда в своем видении; подобие того, кто отверг подобие, обессмертило его любовь к истине...

...Но разве мы не знаем, что все наше благосостояние зависит от этого *промысла*? Разве вы не видите, что не только в Эфесе, но и почти по всей Азии множество людей убеждено: *то, что сделано руками, — отнюдь не боги*? Это грозит не только тем, что наш промысел может потерять доверие; нельзя к тому же допустить, чтобы храм великой богини Дианы ни во что не ставили, а величие той, кого почитают по всей Азии и во всем мире, сошло на нет...

ВЕЛИКА ДИАНА ЭФЕССКАЯ!

РАЗЪЯСНЕНИЯ

АРТЕМИДА / ДИАНА

Этимология имени этого олимпийского божества остается весьма неясной: так что ограничимся упоминанием той, что приведена в “Кратиле” Платона: “...имя Артемиды означает “чистота”, *артемес*, и скромность по причине ее страсти к девичеству. А может быть, назвавший богиню дал ей имя “знающей толк в добродетели”, *артемес хистор*. Наконец, возможно и то, что здесь имеется в виду “ненавидящая посев” мужчиною, *аротон мисеса*: то, что мужчина делает с женщиной...” (“Кратил”, 405—406, по пер. Леона Робена). Также предлагалось: *артемес*, крепкая, целая, нетронутая, девственная; “та, что режет”, от *артао*, резать; “та, что собирает свыше”, от *аиро*, схватить, и *темис*, установительница, и т. д.

Миф об этом странном и сложном божестве, тесно связанный с дельфийским культом Аполлона, вероятно, существенно древнее последнего. Посему не следует удивляться, что, тогда как переданная Гомером традиция делала упор на девственном характере богини как дочери Зевса и Лето, рожденной вместе со своим братом-близнецом Аполлоном на Делосе, сохранились и другие традиции, как, например, та, о которой сообщает Эсхил, египетская по происхождению, превращающая Артемиду в дочь Зевса и Деметры и сестру похищенной Гадесом (Плутоном) Персефоны; или отождествляющая ее с самой Персефой, или делающая ее дочерью Персефоны и называющая матерью Эрота. Эти мифические глубины исследовал Кереньи в своих очерках о Коре, божественной девушке, в которой оплодотворимая девственность и материнство содержатся во взвешенном состоянии. (См. “Введение в основы мифологии”.) Крейцер описал в своей “Символике” диалектическую эволюцию артемидовского мифа: согласно ему, Артемиды дочь Лето — просто-напросто новое явление Илифии, богини плодотворной Ночи и деторождения, на этом основании Артемиды и помогает Лето, когда последняя после долгих блужданий находит наконец убежище на Делосе и рождает там двух божественных близнецов. Действительно, согласно гомеровской традиции, Артемиды появляется на свет прежде своего брата и, едва родившись (божества рождаются

вполне совершенными), помогает Лето разродиться Аполлоном. Отсюда и покровительство, которое она оказывает рожавшим женщинам. Тем самым, согласно Крейцеру, богиня ночи, носительница света в недрах мглы, возродилась в качестве сестры Дня, объединившись с ним как со своей противоположностью. Гомеровская традиция, которая, впрочем, постепенно восторжествовала над остальными версиями мифа и окончательно зафиксировала облик девы-лучницы, тесно связывала ее с мифом об Аполлоне: вместе с братом она убивает Пифона и гиганта Тития, который посягнул было овладеть Лето. Различные документы позволяют установить легенду о кровосмесительном союзе божественных близнецов. (Ср. по этому поводу замечательный очерк Эме Патри “Черный свет Аполлона” в *La Tour Saint-Jacques*, III, 1956.) В то же время вслед за Крейцером, но с другими доводами, некоторые современные мифографы готовы обнаружить сегодня более древнюю богиню под чертами Артемиды, дочери Лето, незаконнорожденной дочери Зевса, которую Гомер показывает нам наказанной ревнивой Герой (“Илиада”, XXI). Возможно, традиция, подхваченная Каллимахом, согласно которой амазонки занесли и установили ее культ в Эфесе, указывает на настоящий источник — хотя в самом Эфесе во времена Каллимаха поклонялись, несмотря на заметные различия, конечно же, Артемиде — единоутробной сестре Аполлона (См. Picard, *Éphèse et Claros*). Достаточно сослаться на капитальное творение Бахофена о матриархате, чтобы распознать в той неумеренной и завершающей стадии гинекократии, каковую являет собой феномен амазонства, органические связи между культом Луны и образом суровой, вооруженной девы, разработанным в образе жизни амазонок. Похоже, именно отсюда и ведет начало возвышение образа богини: на Крите она вскоре слилась с *Бритомартис*, “*dulcis virgo*”, богиней гор, в равной степени почитаемой и охотниками, и рыбаками под именем *Диктинна* (от *диктус*, сеть), имя которой стало одним из самых распространенных наименований Артемиды.

Что касается Артемиды Эфесской, чей культ процветал еще и в эпоху святого Павла, то на закате язычества она представляет собой окончательный синтез всех нюансов, воздействовавших на это странное божество с момента его возникновения: божественную деву-мать, кормящую и зверствующую, со многими сосцами, объединяющую в себе все темные и светлые силы, заявляющую о себе одновременно улыбкой мадонны во славе, иератическим жестом рук и оргиастическим по своему характеру культом.

Римское господство привело к отождествлению эллинистической Артемиды с древней италийской Дианой, святилище

которой находилось в роще в Ариции. Отсюда и имя жреца, связанного с ее культом, Rex Nemorensis, которого его преемник должен сразить в схватке один на один. Так же как Артемида представляла собой женский эквивалент Аполлона, Диана рассматривалась как эквивалент двуликого Януса (Diana). Согласно сообщенному Макробием толкованию, Янус соответствовал одновременно и Аполлону, и Диане и отражал в себе в общих чертах обоих божеств. Янус представлял мир, который идет (eat) без остановки, вращаясь по кругу, выходя из самого себя, чтобы в себя же и вернуться. Цицерон писал не *Янус*, а *Эанус*, Eanus, от eundo. Эта интерпретация вполне подходит и для Дианы, которая тоже непрерывно идет, сообразно периодичности своей божественной природы. Можно, конечно же, долго рассуждать об отношении Януса и Дианы, о вскрываемой этим отношением двойственности самой Дианы; Овидий, доставивший нам наиболее классическое и общеизвестное описание приключений Актеона, хотя и в самой что ни на есть благопристойной форме, не приписывая Актеону ни малейших похотливых намерений, и внесший в свое изображение некую элегическую нотку, при всей своей поэтической вкрадчивости Овидий не колеблясь отождествляет в “Фастах” Диану с кокетливой нимфой-охотницей Карной, показывая нам, как ее в этом изящном облике домогается Янус — и овладевает ею, благодаря своей двуликости сумев обнаружить потайное место, в котором намеревалась укрыться от него нимфа. В качестве возмещения Янус сделал ее “богиней дверных петель”.

МИФ ОБ АКТЕОНЕ / АКТАЕОНЕ

По одной из легенд, Актеон, сын пастуха Аристея и Автонои, дочери Кадма, был посвящен в охоту кентавром Хироном. Согласно этой легенде, его собственные собаки, разорвав под видом оленя его на части, принялись рыскать по округе в поисках лица своего хозяина и не успокоились, пока не узнали его на статуе, высеченной по совету кентавра на склоне скалы. Здесь предание об Актеоне-охотнике, судя по всему, смешивается с легендой о некоем Актаеоне, наскальном божестве или демоне, который забрасывал камнями проходящих мимо путников, пастухов и стада. Этот демон успокоился только в тот день, когда на склоне скалы ему возвели статую, чтобы закрепить его за его изображением.

Археологические и литературные источники, относящиеся к мифу об Актеоне, охотнике, заставшем врасплох за купанием нагую Артемиду (Диану), относительно свежи, и Каллимах (IV век до н. э.), согласно его комментатору и переводчи-

ку М. Е. Кагену, является первым поэтом, приписавшим наложенное Артемидой на Актеона наказание тому факту, что он увидел богиню в ее наготе. (См. “Купание Паллады”; в “Гимне к Артемиде” речь об этом не идет.) До Каллимаха упоминались иные мотивы; Актеон якобы похвалялся, что превзошел богиню как охотник; или же устроил какую-то оргию в ее святилище и т. п. В действительности главным образом начиная с IV века варианты этого мифа вскрывают один нюанс, его все более и более эротическую подноготную; пищу всему приключению дает целомудрие, но также и искусительность прелестей богини — каковые не преминули возбудить Гомера и Еврипида, позднее — Вергилия и Овидия. Далее, как известно, барельефы и живопись доставили чудесные изображения этой сцены. Тем не менее, мотив *Дианы, которую застал нагой Актеон*, объясняется то предначертанием рока, то сознательным посягательством на насилие. Последнее объяснение можно найти в мифографии Гигина (I век): Actaeon Aristaei et Autonoes filius pastor Dianam lavantem spectaculus est et eam violare voluit. Ob id Diana irata fecit ut ei cornua in capite nascerentur et a suis canibus consumeretur*.

Несмотря на эти поздние версии, сам миф, судя по всему, восходит к достаточно глубокой древности: царя-жреца догреческого культа оленя в конце его царствования разрывали на части. Богиня омылась после умерщвления оленя. (См. “Греческие мифы” Р. Грейвса.) Можно также представить себе осквернение этого культа тем или иным реальным персонажем, подменившим путем переодевания священное животное с намерением овладеть жрицей, исполняющей роль Артемиды. Согласно Ланое-Виллену (см. “Книгу символов — Словарь символики и мифологии”), “по-видимому, этот миф имел два смысла: прежде всего Актеон должен был объединять в глазах знающих народ Аттики, оставляющий социальные установки древнего дельфизма, переходя к установкам нарождающегося дионисийства, завезенного в Грецию, как нам представляется, потомками Кадма...”. По Ланое, имя Актеона восходит к Кекропу, первому царю Аттики, называемой Актеей или Актайей, и отсылает к берегу: это страж города. Между Мегарой и Платеями показывали место, где он, как считалось, и увидел нагую Артемиду. Во втором смысле эта история, по-видимому, должна показать нам в лице Актеона дельфийского жреца, каковой, нечаянно вмешавшись, не будучи в них посвященным, в мистерии Артемиды и потом их разгласив, счел нуж-

* Актеон, сын Аристея и Автонои, пастух, увидел купавшуюся Диану и хотел ее изнасиловать. За это разгневанная Диана сделала, чтобы у него на голове выросли рога и его сожрали собственные собаки (лат.).

ным укрыться в самой недоступной глубине леса среди приверженцев Диониса (превращение в оленя), где он в конце концов и был все же обнаружен и предан смерти бывшими стражами его дворца (своими псами).

Мы разделяем лингвистическое толкование Ланое-Виллена, согласно которому *Керберос* (пес) происходит от *Кер* (рогатый) и означает также и *старый рогач* или *старый олень*, символ, по его мнению, дионисийского отшельника. Попытка насилия Актеона над Артемидой происходит тем самым из соперничества дельфийского (Артемиды) и дионисийского (Актеона) культов.

Представление об изнасиловании Артемиды присуще самой природе ее мифа, а опасение мужского насилия основополагающе для всего ее облика, одновременно и целомудренного, и вызывающего: у Актеона были предшественники: роспись на вазе показывает, как Артемиды защищается от гиганта Отоса, который, согласно приведенной в “Одиссее” легенде, хочет ее изнасиловать (“Одиссея”, XI, 305 и далее). Орион, спутник по охоте самой богини, хочет овладеть ею силой и умирает от укуса скорпиона (Гесиод, Фрагменты, XLIII).

АТАЛАНТА

Аталанта, дочь царя Аргоса Иаса (часто смешиваемая с Аталантой, дочерью царя Скироса Схенея) — дева-охотница из Теги; она появляется как фигура Артемиды в легенде о Мелеагре, сыне царя Калидона Ойнея и его супруги Алфеи. Поскольку царь пренебрегал культом Артемиды, богиня наслала чудовищного вепря, который разорял весь Калидон. Тогда братья Алфеи и ее сын Мелеагр, герой похода аргонавтов, созвали на облаву на чудовище знаменитых героев со всей Греции: Ясона, Тесея, Диоскуров, Теламона, Нестора (отца Ахиллеса); присоединилась к этой компании и “быстроногая” Аталанта, “рош ликейских краса”, чей вид и повадки напоминают “отрока с грацией девы” или “деву, суровостью юным героям под стать”. Во время охоты вся компания несет немалый урон, пытаясь загнать чудовище, пока наконец Аталанта — то есть сама богиня — не ранит его смертельно своей стрелой. На основе чего Мелеагр, до безумия влюбившийся в охотницу, хочет присудить ей в качестве трофея голову вепря. Дядя Мелеагра воспринимают это подношение чужачке как оскорбление, и во вспыхнувшей перебранке Мелеагр их убивает. Едва Алфея узнает о смерти своих братьев, как ее одолевает мысль, что именно она и должна позаботиться, чтобы ее сын понес наказание за свою вину. На самом деле, сразу после его

рождения Парки бросили при ней в очаг головню, объявив, что ребенок будет жить до тех пор, пока эта головешка не сгорит. Алфея тут же выхватила ее из огня и залила водой. И вот, разрываясь между материнской любовью и любовью к братьям, Алфея после чудовищных колебаний предает головешку огню, а своего сына тем самым смерти. Это приключение, в котором Артемида в целях наказания использует соблазн, отлично иллюстрирует провокативный характер богини. В этом духе и интерпретирует Светоний знаменитую картину Паррасия, которую Тиберий хранил у себя в спальне и которая изображала “*Meleagro Atalanta ore morigeratur*” (Светоний, “Тиберий”, XLIV).

Каллисто / Каллиста

Каллисто — дочь царя Аркадии Ликаона и спутница охотницы Артемиды; соблазненная Зевсом и впавшая в немилость у Артемиды, которая заметила при купании ее беременность; она превращена в медведицу ревнивой Герой (Юноной) и потом вознесена Зевсом среди созвездий. По другой версии, после превращения в медведицу она была убита самой Артемидой. Тяжелая чадом Зевса, Каллисто произвела на свет Аркаса (*Арктос*: медведь). Судя по всему, эта легенда рационально излагает некий смутный более древний миф. В действительности Ликаон — не кто иной, как ликейский Зевс, которому поклонялись жители Аркадии; Каллисто — всего-навсего двойник Артемиды-*Каллисты* (“прекраснейшей”), которую под этим именем почитали в Аркадии. Поскольку медведица является одним из символических зверей Артемиды — кое-кто этимологически выводит ее имя из *арктос*, — в этом приключении можно обнаружить смутный отголосок инцестуозных домогательств Зевса по отношению к собственной дочери Артемиде.

Кадм

Кадм или Кадмос, сын финикийского царя Агенора, был отправлен отцом на поиски своей сестры Европы, похищенной Зевсом; попав по ходу поисков в Беотию, он встречает и убивает дракона, приходящегося сыном Аресу (Марсу), и по приказу Афины засекает землю зубами чудовища, из которых рождается полчище воинов, тут же принимающихся истреблять друг друга. С пятерыми, оставшимися из них в живых, Кадм основывает город Фивы. Потом Кадм женится на Гар-

* Совокупление Мелеагра и Аталанты (*лат.*).

монии, дочери Ареса и Афродиты, и приживает от нее четырех дочерей: Ино, жену Афаманта, Агаву, мать Пенфея, Автоною, мать Актеона, и Семелу, мать Диониса.

ПРИМЕЧАНИЕ К СТРАНИЦЕ 200.

¹ Святой Августин, чья апологетическая цель — наглядно продемонстрировать безнравственность тех богов, на которых опиралась языческая реакция, исходит из данных римской традиции, согласно каковой боги, призываемые во время эпидемий чумы, предписали проведение в Риме сценических игрищ. Чума отступила, но разбушевдалась новая чума, на сей раз практически неизлечимая: развращение нравов театром. Таким образом святой Августин выявляет сначала представление о сделке: телесное излечение, компенсируемое болезнью духа. На самом деле целью введенных богами сценических игрищ является представить низости самих этих богов, причем подобные представления смешиваются с культовыми торжествами. Новое представление, выявленное Августином: *эти боги свидетельствуют о противоречивом требовании: они хотят, чтобы им поклонялись и в их самом безнравственном, самом постыдном поведении. Эти боги находят удовольствие в своем собственном стыде.* Подобное представление, очевидно, могло сформироваться только в рамках размышлений христианского духа, каковой проецирует мистерию воплощения в такую теологию, для которой мифическая сцена замещала *воплощение*. Античный дух не осознает этого противоречия, он слишком вовлечен в него — до такой степени, что аморальность оказалась подразумеваемой самой функцией мифов. Протесты языческих философов против кошунственного воображения поэтов выдвигались исключительно с моральной и рациональной точки зрения. По-настоящему оригинально в святом Августине то, что он признал: демоны, стремясь сойти за божества, способны *предстать в виде богов, желающих, чтобы им поклонялись как плохим божествам с нравственной точки зрения, или страдающих от того, что они оклеветаны в таком качестве людским воображением.*

Боги не только хотят, чтобы прославлялись их низости, они любят, чтобы им приписывались даже и воображаемые преступления. Полностью развернув противоречивую природу *theologia theatrica*, святой Августин выводит из этого ложность их божественности и реальность их демонической сущности. В какой мере та дилемма, которой он хочет ограничить своих языческих оппонентов, могла быть этими последними осознана? (Наверное, напоминая им о непоследовательности

римских законов: тех законов, что чтили культ богов, но лишали актеров гражданских почестей. Ведь актеры в такой же степени, как и жрецы, являются служителями культа. Чествуешь бога, бесчестишь играющего его роль человека. В этом отношении римляне проявляют непоследовательность и нечестивость. Греки выказывают куда большую последовательность в своем поклонении, почитая сразу личность и бога, и того актера, который изображает его на сцене.) Как бы то ни было, для проведения его рассуждений мысль Августина должна исходить из христианских представлений о Воплощении и, в частности, из понятия *кеносиса*. И весьма любопытно, что, намереваясь *во имя воплощенного Бога, Слова, ставшего плотью, опровергнуть* веру в божеств, которые хотят, чтобы их *наделяли своими собственными пороками, Августин приходит к тому, что реконструирует природу этих богов с точки зрения их противоречивого представления: да и противоречиво оно лишь для его собственного, платонического и христианского рассудка:* в действительности тот, кто говорит *бог*, предполагает некоего хорошего бога — поскольку *дурное божество является просто терминологическим противоречием*, — откуда и возникает мысль, что эти боги — *демоны* (причем демоны эти — промежуточные божества в платоновской теологии — смешиваются с демонами из Евангелий, имеющими совершенно иную природу). Но, если принять, что эти столь плохие божества тем не менее являются божествами, божество в своем желании, чтобы ему поклонялись как плохому или порочному, заимствует у людей образ действия, чреватый осуждением со стороны людской морали. Поскольку божества, чтобы быть настоящими божествами, по своей сути бесстрастны и именно из-за бесстрастия, в смысле платонической и стоической философии, и хороши; если когда-либо эти божества и сближались с людьми, им приходилось заимствовать у смертных как раз то, чем по самой своей природе они от этих смертных более всего отличаются: *страсти*. Что же тогда удивительного в том, что, принимая человеческие страсти, божества усиливают их под стать чрезмерности своей божественной природы и что обретенные богами пороки принимают беспредельные пропорции, достичь которых люди могут только в воображении — за отсутствием возможности безнаказанно вершить подобное в своем смертном состоянии? *Но почему же они подавали пример именно в пороках, а не в добродетели? Почему не предписывали никакого морального законодательства, не позаботились о нравах поклоняющихся себе? Почему?* Потому что боги *из-за самого факта бесстрастности своей природы не могли послужить каким бы то ни было похвальным примером для человека, не могли проявить себя добродетельными!* — ибо высшая добродетель, с точки зре-

ния страстного и смертного человека, совпадает с бесстрастным бессмертием. Если, с точки зрения человека, чем более некий смертный индивид выказывает свою щедрость, тем более выказывает он и бесстрастие, то с точки зрения богов, когда им пришло в голову — или когда нам представляется, что им пришло в голову — с божественной щедростью сообщаться с людьми, они выказали себя по-человечески *добродетельными*, принимая — и оставаясь при этом полностью богами — *самые грязные, самые пагубные страсти* человеческой природы. Таким образом предписать людям представлять их на сцене не в их бесстрастии, а как необычайно развращенных существ — прелюбодеев, кровосмесителей, воров и клятвопреступников, — по-своему приниженных, но не дающих забыть, что речь идет о богах, которые унизились единственно самим фактом общения с почитателями и своего зрелищного представления им; — подобное предписание, говорю я, подталкивает этих богов, поскольку согласуется с фантазиями языческого Рима, к тому, чтобы *воплотиться*.

Воплощение, как бы там ни было, под видом фиглярствующего тела — разглашающего своей игрой тайну немого жеста божественных статуй (собственно говоря, *simulacra, подобий*).

МИШЕЛЬ ФУКО

ПРОЗА АКТЕОНА

Клоссовски возобновляет отношения с давно утерянным опытом. Сегодня среди следов этого опыта не осталось способных нам на него указать; и они, несомненно, так и продолжали бы быть загадочными, если бы вновь не обрели на его языке живость и очевидность. И если бы благодаря этому вновь не заговорили, глася, что Демон — это не Другой, не противоположный Богу полюс, не лишенная (или почти лишенная) применения Антитеза, дурная материя, а, скорее, нечто странное, сбивающее с толку, оставляющее в растерянности и неподвижности: То же самое, в точности Схожее.

Несмотря на все размежевания и преследования, христианская концепция Зла в самом деле отягощена дуализмом и гностицизмом: их бинарное мышление (Бог и Сатана, Свет и Тень, Благо и Тяжесть, великое сражение, некая радикальная и упрямая злокозненность) организовало для нашей мысли порядок из беспорядков. Западное христианство осудило гнозис; но он сохранился в нем в облегченной и сулящей примирение форме; долго хранит оно в своих фантазмах упрощенные дуэли Искушения: через зияющие щели мира перед полузакрытыми глазами коленопреклонного отшельника поднимаются орды диковинных зверей — не имеющие возраста образы материи.

Но что если Дьявол, напротив, если Другой — это Тот же? И если Искушение — отнюдь не один из эпизодов великого противостояния, а вкрадчивое проник-

новение Двойника? Если дуэль разворачивается в зеркальном пространстве? Если вечная История (которой наша — не более чем зримая и поспешно стирающаяся форма) не просто всегда одна и та же, но и есть тождественность этого Того же: одновременно неощутимый сдвиг и хватка неразъединимого? Всему христианскому опыту хорошо знакома эта опасность — искушение испытать искушение по типу неразличимости. Этой глубинной опасности посвящены и прения демонологии, подтачиваемые, а скорее — оживляемые и преумножаемые ею, они до бесконечности подпитывают не имеющую завершения дискуссию: отправиться на шабаш, это вверить себя Дьяволу или, быть может, также и посвятить себя подобию Дьявола, которое Бог, дабы их искушить, посылает не слишком крепким в вере людям — или слишком крепким, легковверным, которые полагают, что есть и другой бог кроме Бога. Жертвами этого искушения, этой западни, в которой барахтается их правосудие, являются и сами судьи, отправляющие на костер якшающихся с демонами: ведь одержимые — просто-напросто истинный образ мнимой власти демонов; образ, при помощи которого Демон овладевает не телами ведьм, а душами их палачей. Если, конечно, не сам Бог принял облик Сатаны, чтобы помрачить дух тех, кто не верит в его одинокое всемогущество; в таком случае Бог, притворяясь Дьяволом, способен устроить странное брачевание ведьмы и ее гонителя, двух этих осужденных фигур: обреченных тем самым на Ад, на реальность Дьявола, на это истинное подобие Бога, притворяющегося Дьяволом. Во всех этих крутасах и выкрутасах преумножаются рискованные игры предельного подобию: Бог, который так похож на Дьявола, который так хорошо подражает Богу...

Понадобился не более и не менее как Декартов Злокозненный Гений, чтобы положить конец великой опасности Тождеств, в которой так и не перестала “изошряться” мысль XVI века. Злокозненный Гений III “Размышления” — отнюдь не исполненный с

легким нажимом конспект коренящихся в человеке обманчивых способностей, а то, что более всего схоже с богом, то, что способно подражать всем Его возможностям, провозглашать, как и он, вечные истины и сделать, если захочет, $2+2$ равным 5. Он — его чудесный близнец. С поправкой на злокачественность, которая тут же лишает его всякой возможности существовать. Отныне тревога о подобиях замолкает. Забылось даже, что вплоть до начала классической эпохи (см. литературу и, в первую очередь, театр барокко) эти подобия служили одним из главных поводов, вызывающих у западной мысли головокружение. Продолжали беспокоиться о Зле, о реальности образов и представлений, о синтезе разнородного. Уже не думалось, что закружить голову может То же.

Incipit, как и Заратустра, Клоссовски. С этой, слегка затемненной и тайной, стороны христианского опыта он внезапно раскрывает (словно она — их двойник, возможно, подобие) сияющую теофанию греческих богов. Между омерзительным Козлом, являющим себя на шабаше, и девственной богиней, ускользающей в прохладу вод, игра обратная: при купании Дианы подобие преподносит себя в бегстве от предельной близости, а не в настойчивом вторжении иного мира; но сомнение остается тем же самым, как и риск раздвоения: “Диана заключает договор с демоном, посредничающим между богами и людьми, чтобы обнаружить себя Актеону. Своим воздушным телом демон *прикидывается* Дианой в ее теофании и внушает Актеону безрассудное желание и надежду обладать богиней. Он становится воображением Актеона и зеркалом Дианы”. И окончательное превращение Актеона преображает его не в растерзанного оленя, а в непристойного и необузданного, восхитительно осквернительного козла. Словно в сообщничестве божественного со святотатственным какая-то частица греческого света прибороздила молнией глубину христианской ночи.

Клоссовски оказывается на пересечении двух дорог, очень далеких друг от друга и тем не менее весьма схожих, исходящих из Того же и, возможно, туда и ведущих: дороги теологов и дороги греческих богов, чье блестящее возвращение немедленно провозгласил Ницше. Возвращение богов, являющееся к тому же, причем без возможности отделить одно от другого, соскальзыванием Демона в мутную вялость ночи: “Что если бы днем или ночью подкрался к тебе в твое уединеннейшее одиночество некий демон и сказал бы тебе: “Эту жизнь, как ты теперь ее живешь и жил, должен будешь ты прожить еще раз и еще бесчисленное количество раз; и ничего в ней не будет нового, но каждая боль и каждое удовольствие, каждая мысль и каждый вздох и все несказанно малое и великое в твоей жизни должно будет наново вернуться к тебе, и все в том же порядке и в той же последовательности, — также и этот паук и этот лунный свет между деревьями, также и это вот мгновение и я сам. Вечные песочные часы бытия переворачиваются все снова и снова — и ты вместе с ними, песчинка из песка!” — Разве бы ты не бросился навзничь, скрежеща зубами и проклиная говорящего так демона? Или тебе довелось однажды пережить чудовищное мгновение, когда ты бы ответил ему: «Ты — бог, и никогда не слышал я ничего более божественного!»¹.

*

Именно тут-то опыту Клоссовски, разве что с небольшими скидками, и место: в мире, где царит Злокозненный Гений, не обретший своего бога, или же сумевший ничуть не хуже сам сойти за Бога, или,

¹ Я подчеркнул *демон, я сам и бог*. Этот текст цитируется в “Столь роковом желании”, ключевом сборнике, который содержит редкой глубины страницы о Ницше и позволяет заново прочесть всего Клоссовски. [Отрывок из “Веселой науки” цитируется по: Ф. Ницше. Соч. в двух томах. Т. 1. С. 660. М.: Мысль, 1990.]

возможно, сам случившийся Богом. Едва ли этот мир — Небеса, Ад или Чистилище; это просто-напросто наш собственный мир. В конечном счете, некий мир, который был бы совсем таким же, как наш, если бы не был тем же самым. В этом неощутимом расхождении Того же обретает свое рождение некое бесконечное движение. Движение это совершенно чуждо диалектике; ибо речь не идет ни о доказательстве противоречия, ни об игре сначала установленного, а потом отвергнутого тождества; равенство $A=A$ оживляется внутренним — и бесконечным — движением, которое оттесняет каждый из двух членов равенства от своей собственной тождественности и отправляет их друг к другу игрой (силой и вероломством) самого этого сдвига. Так что из этого утверждения не может родиться никакая истина; но зато в процессе раскрытия пребывает некое опасное пространство, в котором обретают свой язык рассуждения, выдумки, загоняющие в безвыходное положение и сами в нем находящиеся уловки Клоссовски. Язык для нас столь же существенный, как и у Бланшо и Батая, поскольку он, в свою очередь, учит нас, как самое тяжелое в мысли должно найти вне диалектики свою озаренную легкость.

По правде говоря, ни Бог, ни Сатана никогда не показываются в этом пространстве. Неукоснительное отсутствие, каковое является также и их переплетением. Но ни тот, ни другой и не названы, быть может, потому, что они — “взывающие”, а не взываемые. Это узкая и сверхчувственная область, все фигуры попали здесь в запрещенный чем-то список. Здесь пересекаешь парадоксальное пространство реального евхаристического присутствия. Присутствия, которое реально лишь в той степени, в которой Бог устранился из мира, оставив в нем только след и пустоту, так что реальность этого присутствия — это отсутствие, в котором оно обретает место и где оно через пресуществление ирреализуется. *Numen quod habitat simulacro**.

* Божество, которое пребывает в подобии (лат.).

Вот почему Клоссовски не одобряет Клоделя или Дю Боса², предписывающих Жиду религиозное обращение; он отлично знает, что ошибаются те, кто полагает Бога одной, а Дьявола — другой крайностью, заставляя их сражаться собственной персоной, во плоти и крови (бог в крови с дьяволом во плоти), и что Жид был куда правее, когда по очереди сближался с ними и от них ускользал, играя по просьбам других в подобие дьявола, и не зная при этом, чем же он тут является: его игрушкой, объектом, инструментом, или же стал к тому же избранником некоего внимательного и коварного бога. Возможно, в этом сама суть спасения: не заявлять о себе знаками, а действовать в глубинах подобий.

И поскольку все фигуры, которых изображает и заставляя двигаться в своем языке Клоссовски, являются подобиями, нужно обязательно воспринимать это слово вместе с отголосками, которыми мы теперь можем его наделить: это пустой образ (в противоположность реальности); представление чего-то (в каковом это что-то проявляется, но также и отступает и в некотором смысле прячется); ложь, заставляющая принять один знак за другой³; знак присутствия божества (и взаимная возможность принять этот знак за его противоположность); совместное наступление Того же и Другого (притворяться, уподобляться чему-то — это, прежде всего, наступать вместе). И тем самым установить это столь характерное для Клоссовского и необычайно богатое созвездие: подобие-симулякр, уподобление-факсимильность, одновременность-симультантность, притворство-симуляция и утаивание-диссимуляция.

² Gide, *Du Bos et le demon*, à *Un si funeste désir*, Paris, Gallimard, "Collection blanche", 1963, pp. 37—54, и "En marge de la correspondance de Claudel et de Gide", *ibid.*, pp. 55—88.

³ Замечательно сказал Мармонтель: "Притворство выражает лживость чувства и мысли" (*Œuvres*, Paris, Verdrière, 1819, t. X, p. 431).

Для лингвистов знак обладает своим значением только благодаря игре и своей независимости от всех остальных знаков. У него нет никакого самостоятельного, естественного или непосредственного отношения с тем, что он означает. Он весом не только из-за своего контекста, но и из-за всей виртуальной протяженности, которая разворачивается как бы пунктиром в той же плоскости, что и он: из-за этого множества всех означающих, определяющих на данный момент язык, он и вынужден говорить то, что говорит. В области религиозной часто встречается знак совершенно другой структуры; он говорит то, что говорит, из-за глубинной принадлежности к истоку, из-за посвящения. Нет в Писании дерева, живого или засохшего растения, каковое не отсылало бы к древу Креста — древесине, вырезанной из Первого Древа, у подножия которого пал Адам. Подобная фигура через меняющиеся формы громоздится в глубину ярусами, что придает ей двойственное и странное свойство — не обозначать какой-либо смысл, а относиться к некоей модели (к чему-то простому, чьим двойником она является, но что вбирало бы ее в себя как свое преломление и свое преходящее раздвоение) и быть связанной с историей никогда не завершаемого проявления; в этой истории знак всегда может быть отослан к какому-то новому эпизоду или к чему-то еще более простому, здесь появится более изначальная (но позднейшая в Откровении) модель, придавая ему совершенно противоположный смысл: так древо Грехопадения в один прекрасный день стало тем, чем оно всегда и было, деревом Примирения. Подобный знак одновременно и пророческий, и ироничен: целиком висящий на грядущем, которое он заранее повторяет и которое в свою очередь повторит среди бела дня и его; он гласит одно, потом другое — или, скорее, он уже говорил — так, что это невозможно было узнать, — и то, и другое. По своей сути это подобие — гласящее

одновременно все и без конца притворно изображающее не то, о чем оно говорит. Он предлагает образ, зависящий от некоей всегда идущей на попятную истины, — *Фабулу*; он связывает в ее форме, словно в загадке, аватары света, который ему предстоит — *Фатум*. Фабула и Фатум оба отсылают к первому высказыванию, откуда они происходят, к тому корню, который латиняне понимают как речь и в котором греки видят к тому же сущность обеспечиваемой светом зримости.

Несомненно, нужно установить строгое разграничение между знаками и подобиями. Они отнюдь не относятся к одному и тому же опыту, даже если им случается подчас перекрываться. Дело в том, что подобие не определяет смысла; оно принадлежит строю кажимостей в разрыве времени: озарению Полудня и вечному возвращению. Может статься, что греческая религия только и знала, что одни подобия. Сначала софисты, потом стоики и эпикурейцы хотели прочесть эти подобия как знаки, запоздалое прочтение, стершее греческих богов. Христианская экзегеза, будучи по происхождению александрийской, унаследовала эту трактовку.

В радикальном повороте, каковым является наше сегодня и при помощи которого мы пытаемся обойти стороной весь александризм нашей культуры, Клоссовски является тем, кто на основе христианского опыта вновь обрел обаяние и глубину подобия — по ту сторону всех вчерашних игр: смысла и бессмыслия, означающего и означаемого, символа и знака. Наверное, именно это и придает его творчеству культовый и солнечный характер, стоит только обнаружить в нем ницшеанский сюжет, в котором речь идет о Дионисе и Распятом (поскольку они, как увидел Ницше, — подобия друг друга).

В произведениях Клоссовски царство подобий подчиняется точно очерченным правилам. Обращение ситуации происходит мгновенно, и *за* превращается в *против* чуть ли не на детективный лад (хоро-

шие становятся плохими, мертвые оживают, соперники оказываются сообщниками, палачи — изошренными спасителями, случайные встречи загодя подготовлены, наибанальнейшие фразы можно понимать двояко). Каждое переворачивание кажется шагом на пути к некоей эпифании; но в действительности каждое откровение лишь углубляет загадку, преумножает неопределенность и раскрывает один какой-нибудь элемент только для того, чтобы прикрыть взаимоотношения, существующие между всеми остальными. Но самое необычное и сложное во всем этом — что подобия — отнюдь не вещи и не следы, не те прекрасные обездвиженные формы, какими были греческие статуи. Подобия здесь — это человеческие существа.

Мир Клоссовски скуп на предметы; к тому же оные образуют разве что скудное посредничество между людьми, чьими двойниками и как бы неустойчивыми паузами они являются: это портреты, фотографии, стереоскопические виды, подписи на чеках, расстегнутые корсеты, схожие с пустой, но все еще жесткой раковиной торса. Взамен изобильны Люди-Подобия: еще не слишком многочисленные в “Роберте”, они преумножаются в “Революции”⁴ и, особенно, в “Суфлере” — до такой степени, что текст, почти избавившись от всякого декора, от всякой материальности, которая могла бы нести устойчивые и готовые к толкованию знаки, образует уже всего-навсего череду сцепленных друг с другом диалогов. Дело в том, что люди — куда более головокружительные подобия, нежели раскрашенные лики божеств. Это совершенно двусмысленные существа, поскольку они разговаривают, делают жесты, подмигивают друг другу, перебирают пальцами и внезапно появляются в окнах подобно семафорам (чтобы подать знак или произве-

⁴ Klossowski (P.), *Sade et Révolution* (conférence au Collège de sociologie, février 1939), в Sade (D. A., marquis de), *Œuvres complètes*, t. III, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1962, pp. 349—365. [Странная неточность. Речь, конечно же, идет не о докладе ...*Révolution*, а о книге *Révocation...*, “Отмена нантского эдикта”, хронологически — второй части трилогии о Роберте.]

сти впечатление, что они его подают, тогда как они производят всего-то подобие знака?).

Среди такого рода персонажей дело имеешь не с глубокими и постоянными в воспоминаниях существами, а с существами, обреченными, как и у Ницше, на глубокое забвение, на то забвение, которое позволяет в “вос-поминании” внезапное появление Того же. Все в них дробится, раскрывается, предлагается и в то же мгновение отводится; они могут быть как живыми, так и мертвыми, особой роли это не играет; забвение в них присматривает за Тожественным. Они ничего не значат, они сами собой притворяются: Витторио и фон А., дядюшка Флоранс и чудовищный муж, Теодор, каковой есть К., особенно же Роберта, которая притворяется Робертой на ничтожнейшем, непреодолимом расстоянии, из-за чего Роберта и есть то, что она есть — *сегодня* вечером.

*

Все эти фигуры-подобия кружат на месте: развратники становятся инквизиторами, семинаристы — нацистскими офицерами, беспокойные гонители Теодора Лаказа собираются дружеским полукругом около постели К. Эти мгновенные искривления производятся единственно игрой “чередователей” опыта. Эти чередователи являются единственными перипетиями романов Клоссовски, но в точном смысле слова: они обеспечивают поворот и возврат. Итак: испытание-провокация (камень истины, который в то же время является искушением наихудшим: фреска в “Призвании” или святотатственное задание, порученное фон А.); сомнительная инквизиция (цензоры, которые выдают себя за старых развратников, вроде Малагриды, или психиатр с подозрительными намерениями); двуличный заговор (сеть “сопротивления”, казнящая д-ра Родена). Но прежде всего двумя основными конфигурациями, которые чередуют видимость, являются гостеприимство и театр: две структу-

ры, расположенные друг напротив друга в перевернутой симметрии.

Хозяин (и уже это слово взвихрится на своей внутренней оси, называя одновременно и предмет, и нечто его дополняющее*), хозяин преподносит то, чем он обладает, так как он может обладать только тем, что предлагает — что имеется тут, у него на глазах, и для всех. Он, как говорится одним чудесно двусмысленным словом, “осмотрительный”. Украдкой и со всей скупостью его дающий взгляд, *смотр*, взимает свою долю услад и совершенно самовластно изымает ту грань вещей, которая касается (ибо им *смотрится*) только его. Но этот взгляд обладает способностью отлучаться, оставлять пустым занимаемое им место и преподносить то, что он объемлет своей осмотрительной алчностью. Так что его подарок становится подобием приношения в тот самый момент, когда он сохраняет из того, что дает, только отдаленный хрупкий силуэт, зримое подобие. В “Суфлере” место этого дающего взгляда, каким он царил в “Роберте” и “Отмене”, занимает театр. Театр навязывает Роберте роль Роберты: иначе говоря, он стремится свести к нулю внутреннее расстояние, раскрываемое в подобии (под воздействием дающего взгляда), и вселить саму Роберту в того двойника, которого отделил от нее Теодор (возможно, К.). Но если Роберта играет свою роль с естественностью (что случается с ней по крайней мере в одной реплике), это уже не более чем подобие театра, зато если мямлит свой текст, то за псевдоактрисой (каковая плоха в той степени, в которой она не актриса, а Роберта) ускользает Роберта-Роберта. Вот почему играть эту роль может единственно подобие Роберты, которое настолько с ней схоже, что, возможно, сама Роберта и является этим подобием. Таким образом, нужно либо, чтобы у Роберты было два существования, либо, чтобы было две Роберты с одним существованием: нужно, чтобы она была чис-

* Французское слово *l'hôte* означает одновременно и *хозяин*, и *гость* (прим. пер.).

тым подобием самой себя. Во взгляде раздваивается (вплоть до самой смерти) Смотрящий; на сцене много театра непоправимым онтологическим расколом достигнут Смотримый⁵.

Но не стоит ли за всей этой большой игрой пережаемых опытов, заставляющих мигать подобия, некий абсолютный Оператор, который посылает тем самым загадочные знаки? В “Прерванном призвании” кажется, что все подобия и их чередование организованы вокруг одного главного зова, который в них слышим — или же с таким же успехом остается немым. В следующих текстах этот неосязаемый, но зовущий Бог был заменен двумя зримыми фигурами или, скорее, двумя рядами фигур, которые по отношению к подобиям находятся на одном уровне и одновременно как нельзя далеки от равновесия: раздваивающие и удвоенные. На одном краю династия чудовищных персонажей на грани жизни и смерти: профессор Октав, или же тот “старый мастер”, который в начале “Суфлера” управляет переключением стрелок на пригородном вокзале, в просторном застекленном зале до или после существования. Но действительно ли вмешивается этот “оператор”? Как связывает он интригу? Что он в точности такое? Мастер, дядюшка Роберты (тот, у которого два лица), д-р Роден (тот, кто умер и воскрес), любитель стереоскопических зрелищ, костоправ (который формует и разминает тело), К. (который крадет у других произведения и, возможно, жен, если не отдает свою) или Теодор Лаказ (который заставляет играть Роберту)? Или муж Роберты? Необъятная генеалогия ведет от Всемогущего к тому, кто распят в подобии, каковым является (поскольку он, каковой есть К., говорит “я”, когда говорит Теодор). Но с другого края находится столь же важный оператор подобий, Роберта. Без усталости ласкает она руками, своими прекрасными длинными руками плечи и ше-

⁵ Здесь вновь обнаруживается — но в чистой форме, в избавленной от подобий игре — евхаристическая проблема реального присутствия и пресуществления.

велюры, зарождает желания, взывает к старым любовникам, отстегивает свой покрытый блестками пояс или униформу Армии спасения, отдается солдатам или собирает пожертвования на скрытые нужды. Вне всякого сомнения, именно она преломляет своего мужа во всех чудовищных или жалких персонажах, по которым он расходится. Имя ей легион. Не той, которая всегда говорит “нет”. Но, напротив, той, что всегда говорит “да”. Раздвоенное “да”, которое порождает то промежуточное пространство, где каждый пребывает рядом с собой. Не будем говорить: “Роберта-Дьявол” и “Теодор-Бог”. Скажем лучше, что один из них является подобием Бога (тем же, что и Бог, стало быть, Дьяволом), а другой — подобием Сатаны (тем же, что и Лукавый, стало быть, Богом). Но один из них — Униженный-Инквизитор (смехотворный искатель знаков, упрямый и всегда разочарованный толкователь: ибо нет никаких знаков, одни подобия), а другой — Святая-Ведьма (всегда готовая отправиться на шабаш, куда ее желание тщетно призывает живые существа, ибо людей там не бывает, одни подобия). От природы подобиям свойственно не допускать ни толкования, верящего в знаки, ни добродетели, любящей живые существа.

Католики доискиваются знаков. Кальвинисты им совсем не доверяют, потому что верят единственно в избранничество душ. Но что если мы — не знаки и не души, а просто то, что мы и есть (не зримые сыны своих творений, не подчинены предопределению), и тем самым раздираемы на части в отстоянии от себя подобия? Так вот, дело в том, что у знаков и у человеческой судьбы едва ли еще есть что-то общее; дело в том, что Нантский эдикт был отменен; дело в том, что отныне нам придется пребывать в пустоте, оставленной разделом христианской теологии⁶; дело в том,

⁶ Когда кальвинистка Роберта оскверняет, чтобы спасти человека, дарохранительницу, в которой для нее не таится никакого реального присутствия, ее через этот крохотный храм вдруг хватают две руки — ее собственные: в пустоте знака и произведения торжествует подобие раздвоенной Роберты.

что на этой пустынной (или, быть может, богатой этой покинутостью) земле мы могли бы прислушаться к словам Гельдерлина: “Zeichen sind wir, bedeutungslos”^{*} или, возможно, и того более, ко всем тем великим и мимолетным подобиям, что заставляли богов искриться под лучами восходящего солнца или мерцать огромными серебряными радугами в глубинах ночи.

Вот почему из всех текстов Клоссовски “Купание Дианы” наверняка ближе всего к тому ослепительно-му, но для нас весьма темному, свету, из которого являются к нам подобия. В этом толковании легенды мы вновь сталкиваемся с конфигурацией, схожей с той, что организует остальные повествования, словно все они обретают здесь свою основную мифическую модель: фреска-провозвестница, как в “Призвании”; Актеон приходится племянником Артемиде, как и Антуан Роберте; Дионис — дядя Актеона и старый мастер опьянения, растерзанности, без конца обновляемой смерти, постоянной теофании; Диана, раздвоившаяся из-за своего собственного желания, и Актеон, превращенный в оленя одновременно и своим желанием, и желанием Артемиды. И однако в этом тексте, посвященном толкованию далекой легенды и мифа о расставании (человек наказан за то, что попытался приблизиться к обнаженному божеству), подношение как нельзя близко. Тела здесь молоды, прекрасны, нетронуты; в своем бегстве они в полной уверенности стремятся друг к другу. Дело в том, что подобие еще подает себя в своей искрящейся свежести, не прибегая к загадке знаков. Фантазмы здесь — приращение видимости в изначальном свете. Но это такое начало, которое своим собственным импульсом отступает в недоступную даль. Купающаяся Диана, богиня, ускользающая в воду в то самое мгновение, когда она подставляет себя взгляду, это не только кружной путь греческих богов, это момент, когда нетронутое единство божественного “отражает свою божественность в девственном теле” и тем самым раздваивается

* Знаки мы суть, смысла лишённые (нем.).

на демона, который заставляет ее вдалеке от самой себя показаться целомудренной и в то же время предоставляет ее насилию Козла. И когда божество перестает мерцать на полянах, чтобы раздвоиться в видимости, в которую она впадает оправдываясь, оно выходит из мифического пространства и вступает во время теологов. Желанный след богов собирается (быть может, теряется) в дарохранительнице и двусмысленной игре их знаков.

Тогда чистое слово мифа перестает быть возможным. Как переписать впредь на языке, подобном нашему, утраченный, но настойчивый строй подобий? Поневоле нечисто слово, которое влечет к свету такие тени и хочет восстановить для всех этих подобий по ту сторону реки нечто вроде зримого тела, знака или существа. Там *dira cupido**. Это желание и заронила богиня в душу Актеона в момент превращения и смерти: если ты можешь описать наготу Дианы, воля твоя.

Язык Клоссовски — это проза Актеона: преступающее слово. Не таково ли вообще любое слово, когда оно имеет дело с безмолвием? Жид и многие другие вместе с ним хотели переписать нечистое безмолвие на чистом языке, без сомнения, не видя, что подобное слово непременно удерживает свою чистоту из некоего более глубокого безмолвия, которого оно не называет и которое в этом слове говорит — ему наперекор, делая его тем самым смутным и нечистым⁷. Теперь, после Батая и Бланшо, мы знаем, что язык обязан своей преступательной силой обратному отношению, отношению нечистого слова к чистому безмолвию, и что именно в бесконечно пробегаемом пространстве этой нечистоты слово и может обратиться к такому безмолвию. У Батая письмо есть отмена освящения: пресуществление, ритуализованное в обрат-

* Столь роковое желание (*лат.*); слова из “Энеиды”, послужившие заглавием для уже упоминавшейся выше книги Клоссовски *Un si funeste désir*.

⁷ О слове и чистоте см. *La Messe de Georges Bataille, à Un si funeste désir*, op. cit., pp. 123—125.

ном направлении, когда реальное присутствие вновь становится простертым телом и оказывается препро-
вожденным к безмолвию актом рвоты. Язык Бланшо
обращен к смерти: не для того, чтобы восторжество-
вать над нею в исполненных славы словах, а чтобы
удержаться в том орфическом измерении, где пение,
ставшее из-за смерти возможным и необходимым,
никогда не может ни посмотреть смерти прямо в лицо,
ни сделать ее зримой: так что он говорит ей и о ней в
невозможности, обрекающей его на бесконечное бор-
мотание.

Клоссовскому ведомы эти формы преступления. Но
он подхватывает их движением, которое свойственно
именно ему: он трактует свой собственный язык как
подобие. “Прерванное призвание” — это притворный
комментарий к повествованию, которое и само по себе
является подобием, поскольку оно не существует или,
скорее, поскольку оно целиком и заключается в этом,
сделанном на него комментарии. В результате на един-
ственном языковом уровне открывается та внутрен-
няя дистанция тождественности, которая позволяет
комментарию к недоступному произведению про-
явиться в самом присутствии этого произведения, а
произведению — украдкой скрыться в комментарии,
каковой, однако же, является его единственной фор-
мой существования: таинство реального присутствия
и загадка Того же. В трилогии о Роберте использован
другой подход — по крайней мере, на первый взгляд:
отрывки из дневников, сцены, построенные как диа-
логи, длинные беседы, которые, кажется, подталки-
вают речь к действительности некоего непосредствен-
ного, причем не обзорного, языка. Однако между эти-
ми тремя текстами устанавливаются сложные отно-
шения. “Сегодня вечером, Роберта” существует уже
внутри самого своего текста, поскольку оный расска-
зывает о принятом Робертой решении подвергнуть
один из эпизодов романа цензуре. Но это первое по-
вествование существует также и во втором, которое
его оспаривает изнутри дневника Роберты, потом в

третьем, когда мы видим подготовку к его театральному представлению, каковое ускользает прямо в тексте “Суфлера”, где Роберта, призванная оживить Роберту своим тождественным присутствием, раздваивается в неустрашимом зиянии. В то же время рассказчик первого повествования, Антуан, распределяется во втором между Робертой и Октавом, потом рассыпается в множественность “Суфлера”, где говорящий, чью личность мы не можем установить, это либо Теодор Лаказ, либо К., его двойник, который силится сойти за него, хочет приписать себе его книги и в конце концов оказывается на его месте, либо, что также возможно, Старик, который руководит переключением стрелок и остается невидимым Суфлером всего этого языка. Уже испустивший последнее дыхание Суфлер, подсказывающий и подсказываемый, — может, опять, из-за порога смерти, говорит Октав?

Не одни и не другие, а, наверное, как раз это наложение голосов, которые подсказывают, “вдохновляют” друг друга: навевая свои слова в чужую речь и беспрестанно воодушевляя ее импульсом, “пневмой”, каковая ей не принадлежит; испускаясь также и в смысле дыхательном, в смысле *выдоха*, который гасит пламя свечи; надувая, наконец, в смысле присвоения чего-то, предназначенного другому (как надувают другого с его местом, ролью, положением, женой). Итак, по мере того как язык Клоссовски снова сам собой овладевает, нависает над тем, что он только что сказал, волютой нового повествования (их три, как и витков на винтовой лестнице, украшающей обложку “Суфлера”), говорящий субъект рассеивается в голоса, которые друг друга надувают и вдохновляют, что-то подсказывают, замолкают, сменяют друг друга — разнося акт письма и самого писателя по всему расстоянию до подобия, где он теряется, дышит и живет.

Обычно, автор, говоря о себе как об авторе, прибегает к признаниям “дневника”, который излагает повседневные истины — нечистую истину на лишенном излишеств, чистом языке. В этом подхвате свое-

го собственного языка, в этом не склонном ни к какой близости отступлению Клоссовски изобретает пространство подобия, являющееся, наверное, современным, но еще скрытым местом литературы. То, что пишет Клоссовски, — редкий случай! — сулит открытие: здесь видно, что бытие литературы не касается ни людей, ни знаков, но того пространства двойника, той полости подобия, в которой христианство оказалось очаровано своим Демоном, а греки опасались мерцающего присутствия богов с их стрелами. Отдаленности и близости Того же, в которых мы, остальные, встречаем теперь наш единственный язык.

(1964)

МНОГОЛИКИЙ МОНОМАН

12 августа 2001 года, на два дня пережив свое девяностошестилетие, в Париже скончался Пьер Клоссовски, один из самых загадочных классиков ушедшего века, человек столь же странный в своем творчестве, как и фантастичный по биографии.

С биографии, как правило, и начинают представление Клоссовского, ибо эффектные и хорошо известные реалии его жизни поставляют, казалось бы, куда более надежную пищу непосвященному уму, нежели дробящееся в бесконечных отражениях зыбкое марево творческих фантазмов, лабиринты книг, сопротивление которых пониманию служит залогом успеха их автора. Ступим на эту стезю, поддавшись подобному соблазну, и мы — сразу оговорившись, однако, что если и можно составить мало-мальски целостное представление о феномене Клоссовского, то лишь воспринимая его в несовместимых, практически исключаящих друг друга регистрах. Итак...

Под сенью, отроком, великих

Будущий писатель родился в Париже в семье столь же старинной, сколь и артистической: его отец, Эрик Клоссовски де Ролла, польский дворянин по происхождению, но с весьма древней примесью гугенотской крови, сам во втором поколении художник и декоратор, более всего был известен как историк искусства (в первую очередь — искусства XIX века); мать, Баладина, русская по матери, полька по отцу, тоже художница, училась в свое время у Боннара, который, как и Дерен или Морис Дени, был частым гостем в их доме; так что нет ничего удивительного в том, что Пьер, так же как и его младший брат Бальтазар, под псевдонимом Бальтюс вошедший в историю изобразительного искусства в качестве одного из крупнейших художников XX века, с ранних лет увлекся

рисованием. В то же время он с детства свободно владеет несколькими языками (что частично объясняется длительным пребыванием семьи в Германии и, на протяжении Первой мировой войны, в Швейцарии), при этом, по его чуть кокетливым словам, первым учебником грамматики, который он изучал, была грамматика латинская. В начале 20-х годов в доме вернувшейся, расставшись с мужем, с детьми в Париж Клоссовской начинает регулярно бывать увлеченный его хозяйкой Рильке, он знакомит юного Пьера с Андре Жидом, “секретарем” которого тот ненадолго становится; влияние великих современников во многом определяет дальнейшую судьбу юноши, отвлекая, в частности, от занятий рисунком в сторону литературы.

Процесс этот был не лишен определенных конфликтов и драматизма: ближе всего к реализации заложенной в нем тяги к живописному юный Пьер подходит, когда один из гостей дома, издатель Морис Закс предлагает ему проиллюстрировать задуманное им библиофильское издание “Фальшивомонетчиков”; однако сделанные юношей наброски эпатируют своей эротикой и демонизмом самого писателя, и тот их отвергает (как говорят, некоторые акварели той поры сохранились в архиве Кокто). Прерывая свое несомненное живописное призвание, Пьер отдается занятиям литературой и философией.

Первым литературным опытом Клоссовского (на дворе 1930 год) стал совместный с уже успевшим снискать к тому времени определенную славу поэтом П.-Ж. Жувом (почти не известный у нас Пьер-Жан Жув безусловно относится к крупнейшим французским поэтам первой половины — если не всего — ушедшего века) перевод поздних, “безумных” стихов Гельдерлина — и на протяжении почти полувека он оставался верен непростому призванию переводчика. Впечатляет список переведенных им авторов и произведений: Вальтер Беньямин, Кьеркегор, Кафка, Тертуллиан, Светоний, “Дневники” Пауля Клее, “Логико-философский трактат” Витгенштейна, “Веселая наука” и фрагменты “Воли к власти” Ницше, “Ницше” Хайдеггера, переписка Рильке с Лу Андреас-Саломе... и, наконец, самый знаменитый и спорный — радикально-новаторский (в чем-то схожий с попыткой Брюсова, но на другой, куда более к этому предрасположенной языковой почве) перевод “Энеиды”.

Тридцатые годы стали, пожалуй, ключевым этапом интеллектуального становления будущего писателя, периодом поисков и встреч, попыток самоопределения и сопутствующих им кризисов, выход из которых он обрящет лишь по окончании войны. По-прежнему его жизнь насыщена общением со

множеством выдающихся фигур французской интеллектуальной сцены: после краткого сотрудничества с д-ром Лафоргом (между прочим, известным защитником прав гомосексуалистов) и княгиней Марией Бонапарт по основанию первого Психоаналитического общества, Клоссовски вступает в группу “Контратака”, где встречается с временно примирившимися *frères implacables* французского интеллектуального авангарда, Андре Бретоном и Жоржем Батаем; вместе с последним, ставшим на долгие годы его близким другом, участвует затем в деятельности знаменитого Социологического коллежа, где близко сходитя с Роже Кайуа, Мишелем Лейрисом и, особенно, Андре Массоном, знакомится среди прочих с Вальтером Беньямином и Адорно. На смену деятельному участию в собраниях организовавшегося вокруг Батая тайного сообщества “Ацефал” и публикациям в одноименном журнале на рубеже сороковых годов приходит посещение богословско-религиозного кружка “Живой Господь” (здесь можно было бы пополнить список знакомств с великими современниками еще десятком-другим имен: Камю и Бланшо, Сартр и Лакан, Мерло-Понти и Даньелу...), закончившееся сильнейшим религиозным кризисом, который в параллель к усердным теологическим штудиям то приводит его за порог доминиканских обителей, то заставляет на какое-то время перейти под впечатлением от чтения Кьеркегора в кальвинизм... Что же касается внутренней эволюции будущего писателя, то постепенным погружением в существенно более философский, чем ранее, круг вопросов, с ним своего рода *сживанием* он обязан в первую очередь двум событиям, имевшим место еще в начале 30-х: кратковременному, но, тем не менее, оставившему глубокий след (или, скорее, шрам) увлечению психоанализом и встрече, на сей раз — всерьез и надолго — с мыслью и творчеством тогда еще полузапретного маркиза де Сада.¹

Родной мне Сад

Так называлась первая книга Клоссовского, вышедшая в 1947 году и вызвавшая определенный скандал; собраны же в ней были работы, писавшиеся на протяжении четырнадцати

¹ Более чем характерно и то, что первая опубликованная в печати статья Клоссовского была озаглавлена “Элементы психоаналитического исследования маркиза де Сада”, и то, что она впервые была переиздана только после смерти писателя. В один ряд с разрывом с фрейдовским психоанализом и стойкой враждебностью в его отношении естественно вписывается и полная глухота Клоссовского к построениям Юнга.

предыдущих лет. Эпатировавшее публику название — отнюдь не признание в собственных извращениях, а указание на их универсальный характер, на укорененность некоего запретного внутреннего сада в подсознании каждого из нас и на мощнейшую энергию, вкладываемую культивируемой в нем сладострастной эмоцией в восстание индивидуального “я” против “я” социального. В этой книге, послужившей, вполне вероятно, поворотным пунктом в истории философского осмысления как творчества, так и самого феномена проклятого маркиза, Клоссовски прежде всего разглядел в своей оптике одну из болевых точек всего узла проблем Сада и садизма: проблему невозможности сообщения, сочетаемости языков эротики и богословия и напрямую вывел из их противоречия радикальный садовский атеизм.

Согласно уточненному диагнозу, вынесенному двадцатью годами позднее при повторной публикации этой книги в предпосланной ей статье “Философ-злодей” (относимой на склоне дней автором к весьма краткому списку своих главных произведений), основным движущим мотивом де Сада была невозможность говорить о непередаваемых отклонениях от нормы сообразно рациональным нормам атеизма, и исходная проблема оборачивается новой гранью: какова в садовском извращении функция разума? Существенно для Клоссовского, указывающего на “нечитаемость, придаваемую садовским опытом общепринятой форме сообщения”, и другое — то, что Сад дает определенное разрешение ключевому контрапункту видеть/говорить (описание/рассуждение) и напрямую связывает его с извращением (столь же противоречивым понятием, смыкающим в себе подсознательную укорененность и социальную обусловленность).

Клоссовски о своем Саде (1967 г.)

«Удаляясь от того состояния духа, которое побудило меня сказать: “Родной мне Сад”, я ни в коей мере не смыкаюсь с теми, кто не перестает настаивать на глубинном характере садовского атеизма для доказательства *освободительных* достоинств освобожденной мысли. Освобожденная от *Бога*, какой, по заявлению атеизма, есть *ничто*, эта мысль тем самым и освобождается от *ничего*? И освобождается ради... ничего?

На этот вопрос тшится ответить совсем свежий очерк, “Философ-злодей”. Предваряющий переиздание старого опуса, он должен не только оттенить все то, что отторгает автора от его былой концепции, но и по возможности заполнить существенный пробел. Если автор некогда упорствовал в своем исход-

ном намерении, каковое начал реализовывать в “Наброске системы Сада”, самом старом из собранных здесь текстов, не стоит ли ему ныне с большей строгостью продолжить исследование отношений Сада с рассудком, исходя из следующих констатаций: 1. Рациональный *атеизм* является наследником *монотеистических норм*, устанавливаемую которыми *единую экономику души* он поддерживает — наряду с собственностью и тождественностью ответственного “я”; 2. Если основой и целью рационального атеизма является *верховенство человека*, Сад преследует *распад человека* на основе устранения рассудочных норм; 3. За неимением концептуальной формулировки, которая отличалась бы от формулировок рационального материализма той эпохи, Сад превратил атеизм в “религию” полной чудовищности; 4. Эта “религия” включает в себя и некую аскезу — аскезу *апатического* возобновления поступков, что подтверждает недостаточность атеизма; 5. Таким образом, садовый атеизм вновь вводит божественный характер чудовищности — *божественный* в том смысле, что ее “реальное присутствие” всегда актуализируется лишь посредством ритуала — скажем, возобновляемых поступков; 6. Тем самым оказывается, что отнюдь не атеизм обуславливает и высвобождает садовскую чудовищность, а напротив, эта последняя принуждает Сада дерационализировать атеизм, стоит ему на его основе попытаться рационализировать свою собственную чудовищность.

Одно дело описать садовскую мысль; совсем другое — садовый садизм. Посему следовало признать исходный и неустрашимый факт содомии, исходя из которого стерильное наслаждение стерильным объектом и развивает в качестве подопытия разрушению норм садовскую эмоцию, чтобы показать, что под прикрытием *рационального значения* аффективное *расстройство* изобличает гарантирующего нормы *единого Бога* в качестве расстройства рассудка. Изобличение, которое вписывается в круговорот некоего *соучастия*, согласно законам самой мысли. Может ли эта последняя когда-либо с подобным соучастием порвать?..»

Души бессчетные порывы

Одной из сквозных, ключевых идей Клоссовского, заявленной им уже в эти годы в полемике с психоанализом, является убежденность в наличии в человеке особого духовного измерения, неких интимных глубин, в понимании природы и свойств которых он расходится и будет расходиться с магистральными течениями мысли двадцатого века: экзистенциализ-

мом, психоанализом, структурализмом. Для него ни сартровская феноменология, ни фрейдовская троичность психического аппарата, ни структурные схемы окажутся ни в коей мере не способны отразить истинную природу души, души, которая “согласно Откровению, единственно уполномоченному учить о ее истинном происхождении, рождена из Господнего дыхания”. “Душа не вечна, но, по причине своего божественного происхождения, бессмертна, — пишет Клоссовски в разгар своих религиозных метаний. — Будучи тварной, она ограничена и наделена способностью чувствовать. [...] Являясь по своей природе дыханием, душа по действию есть дух”.

Наряду с художественно материализованным в “Бафомете” тезисом о “дыхательной”, пневматической природе души, важнейшими постулатами остаются для Клоссовского наличие неустранимого и несообщаемого, невыразимого субстрата, кроющегося в ее глубинах и не подлежащего обмену, но вместе с тем и составляющего ее индивидуальность, и представление о человеческой душе как загадочном местопребывании, если не среде обитания, внешних автономных сил, принимающих, как правило, обличие побуждений. Именно движениям этих духовных сил он и следует — в попытке так или иначе их представить, согласно томистскому девизу *contemplata aliis tradere*, передать другим плоды созерцания, выразить абстрактно-незримое в конкретно-чувственных формах: сделать зримыми. Его идеал — не только зрелище того, что мы не можем видеть, но и трансценденция за пределы умопостигаемого (“Что такое умопостигаемое? — с легким презрением задает он риторический вопрос. — Всего-навсего меновое”), точкой опоры для которой может служить только чувственно воспринимаемое.

Ясно, что реализация и без того столь амбициозного проекта еще более усложняется из-за проблемы коммуникации.

Идиома идиоме рознь

Одной из главных “маний” (забудем на время, что сам он окрестил себя “мономаном”) писателя на протяжении всех перипетий его творческого пути остается глубинная убежденность в принципиальной невозможности сообщить, передать свой, скажем, экзистенциальный, опыт другому. Базисную модель, “уникальный знак” неслиянности, неперевоимости друг в друга индивидуальных опытов он находит при этом в классической богословской проблеме *сообщения идиом* (или идиомов).

Communicatio idiomatum — так называется на латыни один из ключевых догматических вопросов, в равной степени занимающий как католическую церковь или протестантскую теологию, так и, под именем *общения свойств*, ортодоксальное православие. Речь идет о непосредственном ипостасном *со-единении в Христе* двух природ, божественной и человеческой, каковые в силу своей едва ли не противоположности не могут сочетаться, не повлияв друг на друга, друг друга не изменив в рамках своего рода *modus vivendi* и не наделяя противоположную природу (хотя бы только в выражении) чуждыми ей свойствами. Сложное взаимоотношение двух рядов свойств (в частности, абсолютного божественного и относительного человеческого знания) и стало объектом пристального внимания как великих представителей патристики², так и позднейших протестантских теологов, не говоря уже о православии, устами Иоанна Дамаскина представившего одну из наиболее развернутых концепций этого *со-общения*. Но для Клоссовского модельный, матричный — универсальный — характер самой этой коллизии выводит ее за рамки не только высокой теологии, но и христианства в целом, распространяя ее вообще на соотношение божественного и человеческого начал — в частности, в античности, где она принимает форму подчас трагического противоречия между человеческими страстями и божественной бесстрастностью (помимо самого “Купания Дианы”, Клоссовски подробно

² Стоит напомнить, что исторически первым подробно развернутым обсуждением этой *христологической* проблемы стала ожесточеннейшая (парадоксальная иллюстративность — или *double bind*, — зачастую не сводившаяся к словесным аргументам) полемика между александрийским и антиохийским христианством в V веке, закончившаяся разгромом антиохийцев и объявлением учения их лидера Нестория еретическим. Характерно, что вождь противоположной партии, Кирилл Александрийский, исходил как раз таки из представления в первую очередь о Боге-Слове, Логосе, а не об историческом Христе, и одновременно подчеркивал ограниченность слова человеческого: “Для кого не очевидно, что наша природа не обладает ни понятиями, ни словами, посредством коих можно было бы вполне верно и правильно выразить свойства Божественной и неизреченной природы. Поэтому мы вынуждены употреблять сообразные нашей природе слова, хотя бы для некоторого уяснения превышающих наш ум предметов. В самом деле, разве можно выразить нечто такое, что превышает и саму нашу мысль?” (Справедливости ради надо, правда, отметить, что Клоссовски в очередной раз опирается в этом вопросе не на решения Эфесского или даже Халкедонского соборов, а, скорее, на Августина, более провешенная концепция которого оставалась основополагающей на Западе вплоть до эпохи Аквината.)

излагает свою точку зрения на этот счет в длинном “августинском” примечании к нему).

Естественно, что столь широко понимаемое *communicatio idiomatum* обязано включать в свою структуру парадокс и, следовательно, противоречие, ибо несводимость друг к другу двух столь разных начал, божественного и человеческого, с очевидностью не может быть исчерпана на языке (т. е. в рамках) одного из них: человеческого, слишком человеческого. В этом можно видеть еще одну из подспудных причин постоянных логических сломов и даже “ломок” в его текстах — от которых легко перекинуть мостик к излюбленным Клоссовским солицизмам, т. е. выражениям, подразумевающим противоположность тому, что они говорят. Именно здесь кроются причины той бессвязности, несостыкованности, непоследовательности, противоречивости, которая составляет закон вселенной Клоссовского — как внешней, так и внутренней. По существу здесь и само слово *идиома*, ибо именно те выбивающиеся из равномерно-размеренного знакового поля точки, где вершится таинство преобразования одного внутренне обусловленного знакового пространства в другое, и интересуют писателя, служат ему эталоном реального присутствия экзистенциального в умопостигаемом, мысли в вы-мысле.

Открывает *communicatio idiomatum* и само то парадоксальное пространство, в котором в языческом мире действует демон, а в христианском — теолог³; действительно, их функции схожи: разрешить квадратуру круга, своим посредничеством совершить смычку бесконечно удаленных друг от друга бесконечного мира божественности и ограниченного мира конечного человеческого существования. Но в мире Клоссовского, пропитанном его иронией мире, где отсутствует истина, предлагаемая ими панацея — не более, чем паллиатив: кроющаяся здесь мистерия всегда граничит с мистификацией, демон-теолог то и дело оборачивается другой своей стороной — это и трикстер, обманщик *par excellence*, тем паче, что “все, что говорит Христос, говорит и Антихрист”; мы видим это и в “Купании Дианы”, и в “Бафомете”, а в более “земном” преломлении и в отразившем личный опыт писателя его первом романе...

³ Уютно уменьшенное *подобие* этого пространства — пространство перевода, скитание в котором толмача-переводчика сводится, собственно, к надежде *невзначай* (к означиванию прикасаться нельзя!) отыскать заведомо несуществующий эквивалент заведомо несущественной в строе случайно конвенциализированного устава самозаконной идиоме.

...к написанию которого его привело счастливое “снятие” бросавших Клоссовского из крайности в крайность интимно-религиозных противоречий; пришло оно, как и следовало ожидать, совсем не с той стороны, с которой его можно было ждать: вскоре после войны вчерашний доминиканский послушник неожиданно для окружающих женится, обретая семейное счастье, скорое отцовство, определенного рода душевное равновесие и единственную и неповторимую музу, влияние которой на его произведения выходит далеко за рамки канонов жанра (Беатриче, Лаура, Гала...). По словам самого писателя, для него это было настоящее возрождение, и впредь все его творчество оказывается осенено знаком *Роберты* — того женского образа, как литературного, так и визуального, за чертами которого безошибочно проступает ставшая женой писателя Дениз Мари Роберта Морен-Синклер, вдова и мать двоих детей, чей муж погиб на войне, а сама она за участие в Сопротивлении была депортирована в Равенсбрюк.

(Немного фантазии? Перед ним открывается женщина, обнажается, открывается женское тело — тот фокус, где происходит превращение, почти алхимическая трансмутация желаний, каковая и становится отныне темой и сюжетом всего его творчества; тот узел, где фантазм неразрывно смыкается с событием — именно его отныне Клоссовски и будет изображать. Именно тело, обнаженное тело, женское тело, несущее на себе отпечаток требующих его наготы событий, становится чистым продуктом желания, глубоко личностного побуждения, обрастает своего рода историей, приобретает физиономию, жесты — даже имя, — чтобы со временем стать единственным и неповторимым *знаком*, через посредство которого новоявленный мономан только и может отныне воспринимать условный строй повседневности. Знаком, быть может, всего-навсего женского существа, когда его домогается демон пола...)

Вместе с внешними обстоятельствами меняется и сама направленность интеллектуальной активности Клоссовского: стерильная аналитическая работа критической мысли слегка отодвигается в сторону, уступая авансцену плодовитости художественного вымысла, что осознается и самим писателем, воспринимающим воображение как непрменный коррелят самой абстрактной и сухой философской или теологической мысли. Его изобильное творчество пятидесятых годов (не следует забывать, что в эти же годы сделано и большинство его переводов) даже хронологически отражает это путешествие в страну вымысла: от гибридных “Прерванного призвания” и “Купания Дианы” ко все более беллетризируемой в процессе

написания трилогии “Законы гостеприимства”. По сути дела своеобразной кульминацией и завершением беллетристического приключения, странствия мысли Клоссовского в краю воображения, станет чуть позже “Бафомет”, вскоре после написания которого, воздав должное “главному” своему автору, более чем родному Ницше, в сложнейшей своей теоретической книге “Ницше и порочный круг”, писатель объявит об окончательном отказе от письма в пользу другого своего, временно прерванного призвания — живописи.

Прерванное призвание

Названный так небольшой роман Клоссовского, опубликованный в 1950 году, безусловно автобиографический, рассказывающий о годах его религиозных метаний и выводящий под маской целый ряд весьма известных религиозных деятелей (и тем самым, естественно, вызвавший оживленную полемику), достаточно недвусмысленным образом комментировал и собственное самоосознание писателем своего жизненного пути, и те перспективы, в которых он себя мыслил. Надо сказать, что с годами модель прерванного (буквально — *подвешенного*) призвания еще не раз оказывалась приложима к принимаемым им экзистенциальным выборам, в частности, подобными “приостановленными”, прерванными на время призваниями в конечном итоге оказались и письмо (писательство), и живопись.

Этот характер комментария подчеркивается и дублируется самой формой романа. Для начала, эта книга, собственно говоря, должна называться не “Прерванное призвание”, а “Прерванное призвание”, являя собою пространный критический отклик на одноименный анонимный роман, причем взявший объективный тон автор постепенно переходит от рассуждений о романе вообще к подробному и весьма субъективному комментарию его персонажей и интриги. Тем самым происходит как бы удвоение точки зрения: анонимный автор-комментатор смотрит на описываемые события глазами своего alter ego, главного героя романа, семинариста Иеронима, который оказывается вовлечен в сложную, постоянно ставящую под сомнение то, что совсем недавно казалось непреложным, борьбу между двумя противоположными течениями в лоне церковной иерархии: инквизиционной партией и партией благочестия, методы, цели и сами деятели которых переплетаются, однако, столь тесно, сочетаются столь двусмысленно, что становятся неразличимы. Итогом метаний Иеронима по двойному лабиринту — хитросплетений богословской мысли и паутине непрояснимых человеческих взаимоотношений — стано-

вится, естественно, его отказ от религиозного призвания и возврат к мирской жизни.

Разобравшись в этом романе с собственным прошлым, писатель наметил в нем и многие приемы, которые будут в дальнейшем характеризовать его творчество; к примеру, теологические споры как движитель интриги, дотошное описание некоего изображения (здесь — фрески), причем в состоянии написания, т. е. изменения, и его теоретическое, богословское истолкование, прямая связь изображенного с происходящим вокруг — все эти формальные черты будут регулярно повторяться и в других текстах писателя.

От биографии к автобиографии

“Писать о живом Клоссовском по-своему абсурдно”, — обмолвился за несколько *десятков* лет до его смерти один из критиков, начиная разговор о *посмертном* в мысли писателя; и сама странность подобной постановки вопроса (с причудливой и вряд ли осознанной иронией перекликающейся с универсумом незадолго до того опубликованного “Бафомета”) невольно наводит на размышление о вкладе собственной, личной жизни Клоссовского в его творчество и о формах ее описания — а также и об их взаимовлиянии друг на друга.

Клоссовски не зря называет себя мономаном, человеком, одержимым одной идеей — одним образом, одним комплексом еще не отлившихся (или уже не способных отлиться) в понятия идей: специфически инсценируемой *мыслью*, — не только одержимым, но и постоянно обнаруживающим ее присутствие за хороводом сменяющих друг друга аватар. Переход от античности к христианству, от садовской содомии к законам гостеприимства, от реальности присутствия к мнимости вечного возвращения оказывается для него не только внутренне обусловленным, но и по-своему необходимым, за ним стоит не сознательно преследуемая умозрительная конструкция, а тот самый постулируемый им непостижимый остаток индивидуальной души, который не под силу зондировать никакому орудью человеческой коммуникации, будь то даже и религиозный или эротический (или, вспоминая святую Терезу, религиозно-эротический) экстаз. Смыкаясь тем самым с опытом философствования ударами молота, с безудержной садовской трансгрессией — преступанием через все и вся пределы, Клоссовски, как и Батай, неминуемо сталкивается с необходимостью говорить о собственной жизни — чрезвычайно опасный для столь склонного к рефлексии писателя путь.

На практике — в случае Клоссовского — этот путь ведет, казалось бы, от предельно автобиографического, с конкретными “привязками”, романа *à clef* — первого его, напомним, беллетристического опыта — “Прерванное призвание” (от которого писатель позже не только дистанцировался, но и чуть ли не отказывался, — как нам представляется именно из-за непретворенной, буквально проведенной его биографичности) к уводящей за пределы нашего мира фантастике “Бафомета”, в котором один из (в общем-то, второстепенных, важных в первую очередь как определенная инстанция) персонажей наделен, всего-навсего, некоторыми чертами автора, но движение это, если так можно выразиться, двунаправленно, и его можно трактовать и как углубление “авто”-измерения биографического. Из этого движения вытекает, в частности, полная непригодность анонсированного нами выше биографического подхода; поленившись поставить скобки, отметим также, что не делаем тайны из подразумеваемого здесь подхода: описывать феномен Клоссовского тем же повторением иного, той же противоречащей самой себе серийностью, какими отмечены практически все его тексты — и уж во всяком случае оба представленных здесь.

Автобиография, смыкая в странном двойном захвате описываемого и описывающего (а также, если воспользоваться современными ярлыками, принципиально неустранимые из нее *фикшн* и *нон-фикшн*), со времен, пожалуй, Ницше выступает в качестве основного возмутителя традиционной субъектно-объектной триангуляции литературного пространства, но в первую очередь подрывает иное его “минковское” измерение, время — или, по крайней мере, выводит из-под его юрисдикции биографическое начало. Расшатываемая ею скрепа единой личности, каковая, вместо того чтобы нарциссически узурпировать себе роль личности единственной, начинает в “Ессе Ното” и вовсе бесконечно дробиться на отражающиеся друг в друге осколки и подобия, доставляет неожиданную свободу как странствиям письма, так и неопишуемости жизни на основе фантазирующего и фантазируемого личного начала.

С другой стороны, автобиографические импульсы заостряют своей двусмысленностью проблематику *communicatio idiomatum* и подчеркивают одну из краеугольных идей Клоссовского: если *знак* является в нашем мире основой любой (по крайней мере, общепринятой) коммуникации, то основы человеческого существования (связанные для него с *душою*) по самой своей природе не знаковы, недоступны общественной семиотизации. Тем самым, чтобы обойти вытекающую отсюда заведомую тщетность, недостаточность традиционных, конвенционных способов общения, возможны два выхода: во-пер-

вых, можно попытаться отвергнуть повседневную семиотику, углубившись в природу Знака как такового: в стремлении по-добраться как можно ближе к пресловутым основам, провести троянского коня переосмысления в святая святых “империи знаков”; во-вторых, можно, оставаясь в рамках традиционного семиотизма нашей культуры, видоизменить знак, дублируя, подменяя его чем-то другим — например, жестом, или образом, или иероглифом.

Клоссовски пошел обоими путями.

Возможно, они сходятся.

Писать — не то, что видеть

Уже в середине пятидесятых, на волне всплеска собственной художественной активности, Клоссовски в своем знаменитом этюде о живописи Бальтюса задается вопросом: как приспособить к языковому выражению то, что переносится в мысль со взглядом, и как потом отделить мысль от речи в понимаемом с первого же взгляда образе? Остается ли, собственно говоря, понятый образ образом? И проблема сочетаемости речи, образа и мысли не отпускает писателя, не раз подчеркивавшего, что в основе его книг лежат представшие в виде образов фантазмы, до самого конца.

Обнаружив когда-то у Сада разрыв между дескриптивным и тем самым исходно *созерцательным* характером эротизма и дискурсивностью диктуемой теологией картины мира, Клоссовски находит углубление этой темы у, безусловно, самого близкого себе мыслителя, Ницше. Цитируя в завершающей главе (“Туринская эйфория”) посвященной ему книги⁴ предлагаемую немецким философом генеалогию философского измерения человеческого духа, которая ведет от образов к описывающим их словам и затем к основанным единственно на словах общим понятиям, Клоссовски делает вывод о том, что “продукт” эмотивной экономики напряженностей (Ницше) или позывов (Сад) обречен быть вторичным, каждый из переходов — от изображения к описанию, от описания к осмыслению — чреват неизбежной утратой исходной напряженности лично пережитого, индивидуального опыта. Попыткой срезать путь, обойти на нем эти два порога, отделяющие адресата художественной мысли от ее источника и непоправимо ослабляющие

⁴ Для замысла Клоссовского характерно, что все обильные цитаты в этой объемистой книге (“Ницше и порочный круг”, 1969) “взяты из посмертных фрагментов Ницше — в основном последнего десятилетия (1880—88)”.

исходную экзистенциальную насыщенность сообщаемого, и представилась Клоссовскому живопись. Образ вместо знака, показ вместо рассказа, такова, на первый взгляд, панацея от превратностей со-общения.

Вместо, а не вместе: “Купание Дианы” учит нас, что слова слепят, зрелище навязывает немоту...

Показ vs. рассказ

Послушаем лишний раз самого Клоссовского: “Описанная сцена и та же самая сцена в качестве картины являют собою столь же разнящиеся друг от друга способы восприятия, сколь тождественным представляется сам их предмет. Описание может разворачиваться в подразумеваемых сценой комментариях или обсуждениях, и тем не менее оно уносит нас прочь, в другие плоскости, которые не имеют ничего общего с той сценой, какою она предстает на картине. Картина же не комментирует, не перечисляет детали, поскольку схватывает их изначально, в их противостоянии или взаимосвязи, таким образом, что последние действуют с тем большей силой, что очерчивают во всех частях картины тишину, или же отсутствие тем самым вытесненного комментария”.

Где-то в районе 1953 года Клоссовски вновь берет в руки карандаш: после пары акварельных проб именно грифель, давно ушедший в архивы истории искусства простой графитный карандаш становится его орудием по проникновению в доступные лишь во-ображению области. Получилось так, что его поощрил к этому издатель, знаменитый в будущем Жером Лендон, опасавшийся цензурных сложностей с публикацией второго романа писателя “Сегодня вечером, Роберта” и надумавший придать планируемой книге видимость изысканного библиофильского издания; в результате его инициативы книга вышла с шестью рисунками автора. На протяжении 50-х годов Клоссовски продолжает перемежать занятия литературой досугом с карандашом в руке, выполнив за это время более пятидесяти рисунков; оставаясь верен графитной технике, он очень быстро вырабатывает свой индивидуальный стиль, переходит к специфическому, для рисунка — огромному, формату и находит свою тематику: помимо исполненных в этот период примерно тридцати портретов⁵, все это воображаемые сцены, “живые картины”, либо инспирированные классичес-

⁵ Круг портретируемых достаточно естественен: Жид, Бретон, Батай, Полан, Бютор, Бальтюс, Вальдберг, Лели, Бонфуа, Барт (сосед и частый партнер Денизы по домашнему музицированию в четыре руки)...

кой литературой (от Сада до Батая), либо, чаще, послужившие отправной точкой для его собственных литературных описаний. Обычно смысловым центром подобных мерцающих пепельным перламутром сцен оказывается исполненное провокативной силы, вызывающее предвкушаемое им самим желание обнаженное женское (много реже — юношеское) тело, как правило, это — тело его героини, Роберты, всегда — жены, Денизы.

Первоначально воспринимавшиеся своим автором как чисто личностные, сугубо приватные опыты вызвали тем не менее интерес и хвалебные отзывы у многих его знакомых, в том числе, к его удивлению, и у художников; собственно, Массон и Джакометти и стали инициаторами его первой, “частной”, выставки, точнее, камерного показа.

Андре Массон о живописи Клоссовского

«Я сказал однажды Пьеру Клоссовскому: ваше графическое творчество не поддается классификации; как и у Фюсли, оно не может выступать ни под каким флагом. Все связано в первую очередь с упорядочением глубин; у обоих, визионеров, в основе образа — фантазмов — лежит мысль.

Никакого диктата школы или подчинения моде. Себя навязывает пришедшее изнутри видение. Своеособое никогда не идет на уступки.

Отношение с сочинениями существует, но никогда не иллюстративно: точнее было бы говорить об изводе.

Следствием этих изображенных в натуральную величину, да еще с какой-то чуть ли не садовской церемониальностью, “живых картин” является экстаз.

Использование одного только заброшенного со времен Энгра и Дега графитного карандаша насыщает эти рисунки ртутным свечением, особенно поразительным в графических изводах из “Бафомета”. Призрачный, лучезарный свет. Достижимое здесь чрезвычайно необременительное согласие между тем, что внушает письмо, и его графическим эквивалентом — из самых редкостных.

Редкостно и отчаянно индивидуально, как и все, что доходит до нас от Пьера Клоссовского».

Цвет vs. письмо

Живописное творчество Клоссовского сначала затухает, а потом и вовсе сходит на нет в 60-е, когда его писательство

напротив достигает кульминации в двух его центральных произведениях: беллетристическом “Бафомете” (за который писатель получает в 1965 году Премию критиков) и сложнейшем полифоническом опусе “Ницше и порочный круг” (1969). В следующем, 1970 году он публикует свое в общем-то последнее значительное произведение, небольшой “экономический трактат” (или памфлет?) “Живые деньги”, сопровождаемый представительной коллекцией фотоснимков с изображением иллюстрирующих его “живых картин” с Денизой в качестве главного персонажа, и вновь начинает усердно заниматься рисунком, который, как непосредственный способ выражения, на теоретическом уровне предпочитает всегда опосредованному письму; неожиданная развязка наступает в 1972 году: Клоссовски осваивает новую, на сей раз уже не забытую, а просто-напросто уникальную живописную (точнее, опять же графическую) технику — теперь он рисует свои огромные рисунки *цветными* карандашами — и заявляет об отказе от дальнейшей литературной деятельности ради живописи, поскольку из-за их разнонаправленности не может совмещать эти два вида творческой активности: жест, по-своему сравнимый с бормотанием Гельдерлина, молчанием Рембо, немотой Ницше, невозможностью замолчать Беккета, декларированным отказом от письма Роже Ляпорта. Жест, свидетельствующий о принципиальном отличии от другого великого писателя-художника, Анри Мишо, который видел в своей живописи и в литературном труде два взаимно усиливающие друг друга измерения единого творческого процесса.

В дальнейшем Клоссовски пишет только короткие тексты, связанные со своей (реже — чужой) живописью и предназначенные для регулярно выходящих каталогов его выставок, или дает интервью или комментарии по поводу своего творчества — как живописного, так и литературного (о единственном исключении см. ниже). Зато поток его художественной продукции стремительно нарастает: доведенный до 1990 года каталог уже включает в себя примерно 350 рисунков; параллельно этому растет и признание: там же перечисляются десятки состоявшихся по всему свету персональных выставок художника. В подавляющем большинстве его рисунки по-прежнему содержат парафраз литературных произведений (в первую очередь, собственных), по-прежнему лейтмотивом представленных на них визионерских сцен является самовластное пользование так или иначе уклоняющимся от этого женским (или юношеским) телом, по-прежнему чаще всего в центре листа сияет своей ослепительно непристойной наготой предстающая в разных ипостасях Роберта-Дениза.

Роберта — ключевой образ центральной панели не столько трилогии, сколько собранного воедино в 1965 году *триптиха* “Законы гостеприимства”, состоящего из романов “Отмена Нантского эдикта”, “Сегодня вечером, Роберта” и “Суфлер”⁶. В двух первых из них (для причудливых путей творческой мысли писателя, тяготеющей скорее к пространственному, а не временному разворачиванию материала, весьма характерно, что первый роман был написан и опубликован (1959) позднее второго (1954)) главными действующими лицами являются пожилой профессор теологии Октав, в котором без труда прослеживается сходство с самим писателем, и его молодая супруга Роберта (напомним, что Роберта — третье имя жены Клоссовского Денизы). Вынесенные в название трилогии “законы” гостеприимства требуют от установившего их мужа предлагать свою жену тому или иному приглашенному им гостю; их цель — позволить приблизиться, “актуализируя” ее, к непознаваемой сущности собственной супруги. Эта тема проводится в чередѣ вариаций, обусловленных сменой и жанра/стиля (дневниковые записи, теолого-философский трактат, драматургические зарисовки, описания картин), и точки зрения (так весь “Нантский эдикт” состоит из перемежающихся дневниковых записей Октава и Роберты⁷; воспоминания Антуана, влюбленного в Роберту юного племянника Октава (на “роль” которого в реальных прикидках соответствующих “живых сцен” пробовался Мишель Бютор), сменяются в “Роберте” драма-

⁶ О том, что это и в самом деле триптих, говорит и сам автор, называющий первую и третью книги трилогии ее “боковыми створками”; необходимо отметить также, что окончательно отлилась в единое целое вся трилогия, только будучи собрана воедино в издании 1965 года и, что главное, снабжена столь существенными для ее автора предисловием и послесловием (которое, по словам Бланшо, является “самыми драматичными страницами, какие только может предоставить сегодня нашему прочтению абстрактное письмо”; см. посвященное Клоссовскому эссе Бланшо “Смех богов”, Новая русская книга, 2001, №3—4, стр. 15—20).

⁷ Здесь необходимо также упомянуть и о включенном в дневник Октава *catalogue raisonné* его собрания картин, принадлежащих кисти вымышленного ученика Курбе (ироничная отсылка к в равной степени дорогой Батаю, Массону и Лакану картине классика “Начало мира”?) Фредерика Тоннера; все эти полотна (написанные, по словам Октава, с “живых картин”) сопровождаются детальными описаниями, а их названия послужили в дальнейшем темой и для графических вариаций писателя — уже в качестве художника; одной из этих картин, “Юдифи”, Клоссовски посвятил даже отдельное эссе.

тургическими зарисовками и повествованием от третьего лица)⁸, перемежаемых эротическими сценами, в которых Роберта становится предметом домогательств со стороны самых разных — подчас эфемерных, напоминающих будущего “Бафомета” — персонажей, связанных, очевидно, и с ее собственными желаниями. При этом, как всегда у Клоссовского, сквозь классическую риторику текста и его метафизические темноты постоянно просвечивает специфическая ирония автора, подчеркивающая заведомую непознаваемость искомой “сущности” Роберты и осознанную недостаточность языковых средств для выражения даже того небольшого, что подобными методами удастся проявить. В третьей части, “Суфлере” (1960), самом беллетристически развернутом его произведении, ситуация еще больше запутывается и усложняется, персонажи (начиная с “автора”, ведущего повествование от первого лица и утверждающего, иронически привнося в текст вывернутое наизнанку автобиографическое измерение, что написал также “Сегодня вечером, Роберта” и “Родной мне Сад”: он оказывается то Теодором Лаказом, то его странным двойником, неким К. — не ироничен ли опять намек на героев Кафки?) множатся и то и дело дwoятся, смешивая воедино вымысел и реальность на “подмостках общества” — собственно, таково полное название романа — “Суфлер, или Театр общества”.

Под знаком Януса

Раздвоение (которое часто трудно отличить от удвоения), порождая им серийность всего и вся, персонажей и сцен, событий и интерпретаций — один из законов (художественного) мира Клоссовского, двусмысленность лежит в его основе, причем сталкиваемые здесь попутно смыслы зачастую противоречивы или же попросту несовместны. Примерам несть числа:

⁸ Подобное варьирование можно найти и в “Купании Дианы”, начинающемся с инстанции первого лица, рассказчика, собеседующего с явно подразумеваемой, хотя и не явно очерченной, аудиторией; далее *я/вы* то плавно перетекает в *мы*, то полностью обезличивается в наукообразном, мифографическом письме, то начинает скитаться как по задействованным, так и не очень, в основной интриге лицам — от самого Актеона и демона-посредника до речного бога Алфея, постоянно меняя при этом нарративный регистр во всем спектре между рассуждением и показом, между настоящим временем показа, прошедшим временем рассуждения и циклическим мифологическим временем теофаний, — чтобы завершиться ораторством вотивной хвалы великой богине, иронически оттененной внезапными “экономическими” соображениями.

в “Купании Дианы”, написанном параллельно трилогии, богиня-охотница — это одновременно холодная и бесстрастная дочь Зевса и истомленная охотница, черпающая наслаждение в прохладе волн, то облаченная в желанную плоть и обладабельная (это максимально подходящее к случаю “недослово” с трудом удалось не впустить в перевод) в своих осязаемых формах, то божество вне досягаемости любого смертного, лунный серп; Ожье в “Бафомете” — одновременно сир Бозеан и воплощение святой Терезы, объект желания и притязания сладострастных рыцарей Храма и Владыка изменений, он то вращается в нетленном теле в непостижимом и недостижимом духовном универсуме, то ласкаем чередой бестелесных рыцарей — и особенно характерно здесь соседство и равноправие одновременности и последовательности. То же относится и к легендарной метаморфозе Актеона, который у Клоссовского становится двуединым существом, получеловеком-полуживотным (при этом одновременно и оленем — и жертвой, и царем, — и псом). Если подобные раздвоения диалектичны, то двойственна и сама эта диалектика — одновременно между образом и объектом, который он представляет, и между представляющим образом и внимающим ему субъектом; обе эти перспективы до бесконечности преломляются друг в друге, неразрывно срастаясь.

(Особо яркий пример сложного сочетания удвоений и сдвиганий доставляет сцена допроса Великим Магистром муравьеда-антихриста в “Бафомете”: здесь Ницше в облике муравьеда произносит слова Антихриста, который повторяет слова Христа; но говорит не сам, а устами Ожье, направляемыми волей Терезы.)

Удвоение лежит и в основе рассмотренного в “Купании Дианы” механизма общения во всех смыслах *непознаваемых* божеств с человеком в античном мире: *сочетать* сиюминутное кипение человеческих страстей с бессмертием эфемерного божественного тела, коему страсти неведомы, способен в своем двуедином существе единственно демон-посредник, вдобавок наделяемый тем самым и определенными андрогинными чертами — ведь одержимость демоном сродни сексуальному обладанию, а сам он зажат в своем положении, одержим двояким образом (здесь невольно вспоминаются и лубочные средневековые представления о сборе суккубом семени для представления потом в роли инкуба).

Все эти двойственности в конечном счете размывают самую спорную характеристику большинства персонажей Клоссовского — не их индивидуальность, а тождественность (“Все творчество Клоссовского устремлено к одной цели: засвидетельствовать утрату личной самоидентичности, размыть “я”; таков блистательный трофей, который персонажи Клоссовского выносят из путешествия на край безумия”, — говорит в “Логике

смысла” Делез). Не оставаясь сами собою, персонажи эти также и не складываются суммированием своих удвоений в единую личность, а являют собою разве что серии призрачных подобий, спектры своих изменений, владыкой которых провозглашает себя не менее изменчивый и многоликий Бафомет.

Incipit Vaphometo

В подчеркнуто — своей серьезностью — ироническую рамку исторического романа (с ироническими же реминисценциями собственного детского чтения “Айвенго”) в “Бафомете” вставлено причудливое, экзотическое и еще более ироническое “потустороннее”, вневременное повествование, служащее умозрительной иллюстрацией достаточно естественной теологической проблемы: что происходит с исторгнутыми из своих тел душами между (первый возникающий здесь вопрос: каково временное измерение этого *между*?) их исторжением и Господним судом? Эти души, представленные писателем в виде бесплотных дыханий, донельзя далеки от обычных литературных персонажей; достаточно сказать, что наиболее спорным для них вопросом является проблема собственной идентичности — тождественности и неизменности: продолжают ли они обладать ею, как полагает Великий Магистр, или способны пройти через весь спектр возможных существований, как учит преображенный Ожье-Бафомет, на разные лады обсуждают (и показывают, будучи смесью разных душ) Тереза Авильская, Фридрих Ницше и даже брат Дамиан, в фигуре которого слились воедино и сам Пьер Клоссовски, и исповедник святой Терезы Сан Хуан де ла Крус, и изваявший ее Бернини, и Октав из “Законов гостеприимства”.

Итак, действующие лица этого романа лишены собственного лица — идентичности, ответственности и даже инициативы в тех событиях, которые их касаются; они бесплотны, летучи и проницаемы друг для друга, являя собой лишь те или иные флуктуации интенсивности и намерения-интенции (однокоренные слова!). Немудрено, что при подобном обращении с канонами романного жанра, сопровождаемом подчеркнуто фабульным построением действия, реальными “героями” книги становятся в первую очередь те или иные идеи, отдельные мысли или же мыслительные комплексы, сращенные с образами концепции, в роли функций которых и выступают, причем сплошь и рядом подменяя друг друга, поименованные персонажи. Посему даже “главным” из последних, являющимся носителями основных идейных комплексов, отказано в постоянстве; даже голос того или иного персонажа от него отчужда-

ется и передается неведомо кому; посему рассуждения-аргументация и “реальные” действия становятся двумя сторонами одного и того же повествовательного развертывания и отнюдь не должны дополнять друг друга: нет ничего странного в том, что мы то и дело наталкиваемся на страницы, целиком посвященные нюансированной, но чисто “головной” аргументации (и контраргументации), или же на цепочки спонтанных, не мотивированных писателем в своем сцеплении событий. При этом в а-топическом (в смысле как пространства, так и времени) прибежище исторгнутых душ меняется, естественно, и сама логика⁹, которой подчиняется аргументация, в свою очередь проецируясь на расклад когда-то произошедших событий — собирая их в совершенно новые конфигурации, что и иллюстрирует новое — до бесконечности — “проигрывание” давно свершившегося (конечно же, это коловращение служит также и иронической репликой остающегося в данном тексте в тени ницшевского вечного возвращения).

Одной из многих неопределенностей, зыбкостей, становится и пол персонажей: в добавление к недвусмысленно заявленной уже в прологе гомосексуальной линии Ожье вместе с духом святой Терезы обретает в ходе своей метаморфозы и прочие признаки женского пола, и в самом деле являя собой не столько законченного андрогина, сколько некое балансирующее на зыбком пределе между полами существо — как балансирует между животным и человеческим началом муравьед-Ницше. Столь же двусмысленно и описание ни разу не названного по имени отрока-искусителя из эпилога, выступающего ко всему прочему откровенным эротическим соперником упомянутой там Роберты.

Эта сцена невольно заставляет задуматься еще и о том, что, несмотря на то, что, как было подчеркнуто выше, “Бафомет” куда буквальнее, чем какое-либо другое произведение мировой литературы можно назвать философским (или, если угодно, метафизическим, теологическим и т. п.) романом, он как нельзя далек от философского трактата: помимо авантюрного начала, рядящего ментальную интригу в формы, позаимствованные у традиционной беллетристики (“восточная повесть”, повторяет Клоссовски неожиданную формулу Бланшо), важнейшую роль в восприятии романа играет разлитое в нем эротическое чувство, переходящее в томление вожделение, не раз венчаемое в развертывании действия оргазмом, но достигающее своего стерильного апофеоза в щемяще личностном эпилоге.

⁹ Например, в этом по-своему чудовищном мире сквозного просмотра тесно связанное с исчезновением самотождественности душ *отсутствие обмана* влечет за собой и *отсутствие истины*.

«Бафомет», преобразуя в миф легенду о тамплиерах, с барочной пышностью выражает этот опыт вечного возвращения — смешанный здесь с циклами метемпсихоза и сделавшийся тем самым более комическим нежели трагичным (по образу некоторых восточных сказаний). Все происходит в вихрящемся потусторонье — царстве духов, — где вполне естественно, что на свету незримости все истины утрачивают свой блеск, где Бог — не более чем удаленная и весьма ослабленная сфера, где смерть сверх того утратила свое всемогущество и даже способность что-либо решать: ни бессмертные, ни смертные, преданные постоянному изменению, каковое их повторяет, самоотсутствующие в движении напряженности, которое составляет их единственную субстанцию и превращает их тождественное бытие в игру, в сходство, где не с чем иметь сходство, в неподражаемое подражание, — таковы «дыхания», духовные речения или слова писателя, как таковы же и фигуры и произведения, образованные этими словами. Остается необъяснимое желание вернуться на свет под предлогом восславить догмат конечного воскрешения, желание воплотиться, пусть даже и в одном теле с несколькими другими, желание не очиститься, а, скорее, развратиться и развратить всю очистительную работу, в чем я готов видеть справедливое осуждение вечности бытия. (Это как бы новая и весьма впечатляющая версия мифа об Эре.) Произнесено будет слово гнозис — возможно, зря; возможно, по делу. Пусть, по крайней мере, это сближение будет сделано не для того, чтобы «состарить» по сути своей современное произведение, а в том же духе, в котором Кафка мог — и когда писал, и когда не писал — воображать, что его произведение, если бы он его написал, смогло послужить поводом для некоей новой Каббалы. Напомним некоторые черты сходства. Гностицизм отнюдь не сводится к манихейству, зачастую являя собой весьма проработанный дуализм. Из-за той роли, которую он придает отражению Бога, притягательности низа, доставляемой собственным взглядом, он ставит проблему повторяемости Того же и тем самым вводит в единство множественность. Не всегда прибегая к синкретизму, он во многих случаях вводит требования, благодаря которым христианским и языческим мистериям удается переходить друг в друга. Он уделяет определенное место великим женским фигурам и элементам сексуальности (андрогиния, содомия). Он сживается с идеей циклического времени (вплоть до метемпсихоза), но для того,

чтобы бороться с тем, что называет “циклом смерти”, таким движением возвращения, нового подъема к высшему, которому недостает весьма немногого, чтобы преобразоваться в вечное возвращение. Он уделяет место забвению, каковое предстает как более глубокая память: внезапно Бог узнает — он об этом забыл, — что он не первый Бог, что над ним есть еще один, еще более безмолвный, более недоступный Бог (заманчиво добавить: и так далее). Он по своей сути является повествованием, космическим рассказом, которым правит запутанность, застывшим рассказом, в котором истины порождаются, рассказываясь в бесконечном преумножении. Верно, что ему недостает, как недостает и Евангелиям, “высшего проявления божественного”, смеха, того смеха, раскаты которого “возникают в глубинах целостной истины” и каковой является даром творчества Клоссовского».

Батай, Бланшо, Клоссовски

Сближение этих трех авторов представляется не просто естественным, но прямо-таки неминуемым — и дело тут отнюдь не в личных пристрастиях, имеющих место в случае Фуко (который, как известно, в молодости мечтал писать “как Бланшо” и проявил не только инициативу, но и заметные усилия, чтобы стать другом Клоссовского), и не в стечении биографических обстоятельств, скрестивших их пути. Помимо внешнего, мета-эстетического плана, сходства их произведений, ведущих по пути отказа от устоявшихся, общепринятых условностей в обращении с такими ключевыми, казалось бы, константами человеческого существования, как мысль, память или языковая коммуникация, объединяет этих трех писателей и мыслителей общий взгляд на литературу как на способ подойти максимально близко к той грани, к тому пределу, которым, собственно, и *о-пределяется* человеческий удел. Пожалуй, только у Бланшо этот предел имеет имя, под которым опознаваем и для нас, — смерть (с коей брачуются и Орфей, и Сирены). Для остальных же важна скорее “структура” предела, кромки, неуловимой и неприступной грани, от замороженности которой они, как Орфей и Ахав, не в силах избавиться.

(Сделаем большое и порождающее другие отступления отступление, сведем его к минимуму. Да, Клоссовски и Бланшо были тесно знакомы, без сомнения, осознавали свою странную близость. Сумели, наконец, прежде других найти необы-

чайно, несвоевременно, как и все в них, точные слова друг о друге¹⁰, и тем не менее... Вопрос, неминуемо возникающий при первой встрече с текстами Клоссовского, разительно отличается от ключевого для Бланшо: “Возможна ли литература?”. Точнее, он приводит к этому же вопросу, но сложным, почти парадоксальным обходным путем, ибо в своей наивной, казалось бы, очевидной форме: а при чем тут литература? нельзя ли донести тот же пучок смыслов в форме, как сказали бы в англоязычном мире, нон-фикшн? — невольно заставляет вновь присмотреться к разнице между показом и рассказом, между “говорить” и “видеть”, ухом и глазом и, на следующем витке, задуматься о том, какое же таинство превращает языковой феномен, речевой массив, тот или иной дискурс, в литературное произведение. Если присмотреться, обнаруживаешь, что действие всех произведений Клоссовского, даже “Купания Дианы” и “Ницше...”, разворачивается в зазоре, пространстве, простертом между мыслью и ее выселками, вы-мыслом — *восполнением* мысли, сказал бы Жак Деррида, который, однако, хранит, как и остальные представители деконструктивной линии постструктурализма, в отношении Клоссовского полное молчание, посвящая, опять же, Бланшо текст за текстом, — где, собственно, только и возможен порочный круг, наделяющий подобия собственной самостью, но лишаящий их вечное круговращенье центра.)

Возвращаясь назад, именно эта завороченность пределом и определяет сугубо личностный (но ни в коем случае не исповедальный, ибо их мысль с впечатляющей настой-

¹⁰ Клоссовскому принадлежит одна из лучших формулировок о понимании столь “темной” прозы Бланшо: “Мы касаемся здесь тайны независимо от нашего понимания, поскольку этой тайне принадлежим, и в нас ей принадлежащее остается, остается столь же неуловимым для нашего разума, как и несообщаемость пережитого и изложенного факта. Искусство Мориса Бланшо состоит, стало быть, в том, чтобы вовлечь какую-то часть нас самих в отношение с тем, что он говорит. Читая то, что он нам говорит, мы этого не понимаем, мы (вос)принимаяем в себя в меньшей степени, чем сами уже приняты в его фразу”, — при том что его собственная проза являет в этом отношении полную противоположность: она как раз таки не впускает в себя читателя, отводя ему роль зрителя и подставляя его взгляду свою зеркальную, непроницаемую поверхность. Возможно, это объясняется исходной разницей в присутствующем в их текстах теологическом субстрате — апофатическом, уступчивом в своей уклончивости у Бланшо и катафатическом, доктринерски заостренном у Клоссовского.

чивостью бьется во вне — снаружи) характер их творчества, их поиска, заводящего еще дальше, чем проникли до них Сад и Малларме, Арто или Руссель. И при этом разводит их в совершенно разные стороны: главной чертой предела у Бланшо является его недостижимость, у Батая¹¹ — нестерпимость, у Клоссовского — несущественность¹². Именно с несущественностью самого *что ни на есть* существенного напрямую связана и поразительная, разрушающая самую логику *двусмысленность*, распространяющаяся на все уровни текста, и постоянно присутствующая в текстах писателя хихикающая ирония, и его отказ от письма в пользу рисунка.

Знак знаку знак

В определенном смысле трансгрессивный характер письма Клоссовского еще более радикален, чем у Батая и Бланшо, ибо ставит под удар один из основных, имплицитно неоспоримых постулатов не только письма, но и вообще языка — в полном созвучии с отказом от литературы в пользу живописи, *живого письма*. Это, естественно, почувствовали все три мыслителя (Фуко, Бланшо, Делез), попытавшиеся дать связный анализ феномена его творчества: под угрозой здесь сама канонизированная семиотизмом нашей культуры структура знака, негласно задействованная практически во всех дискурсивных практиках. Вместо знаковых систем в этом метатексте на поверхность поднят единственный, единый, еди-

¹¹ С Батаем, помимо всего прочего, сближает Клоссовского и интерес к экономике — не в плане общефилософском, а в плане, скорее, псевдо-психоаналитическом; в развитой им в “Живых деньгах” (изданы в 1970 году с многочисленными, подчас — довольно рискованными, фотографиями “живых картин”, центральной фигурой которых является Дениза-Роберта) теории, он развивает идеи Сада и Фурье, противопоставляя товарно-рыночной экономике экономику *позывов*: место классических экономических категорий средств производства, денег и продукта здесь занимают соответственно побуждающие силы, фантазмы и насыщенности-интенсивности — основной, вспомним Делеза, субстрат мысли Ницше.

¹² Конечно же, апофатическая отрицательность этих заведомо приближенных формулировок глубоко неслучайна, но сами авторы подсказывают и более “позитивные” самохарактеристики; здесь мы воздержимся от трактовки *le neutre* (этимологически — *neuter*) Бланшо и *transgression* Батая, но *l'indifference* Клоссовского — это вновь-таки отрицательное *без-различие*.

ничный знак¹³, запускающий универсальный механизм — не перевода, а, скорее, переноса: таинство един(ствен)ного знака повторяется в любом знаке, матрично для любой семиотической (знаковой) деятельности; у Клоссовского имя этому избранному знаку на письме — Роберта (или ее отражения, такие как Бафомет или Диана), в живописи — (обнаженное) женское — всегда единственное! — тело (сочетаемость с которым мужского — или мужских — на его рисунках можно в очередной раз трактовать как иронический пример *Communicatio idiomatum*). Характерно высказывание Клоссовского по мотивам своей живописи: “Образ — это знак, но другой вселенной, нежели вселенная значащих знаков”; всего один шаг отсюда и до знаменитого лозунга писателя: интерпретировать мысль на основе воображения, а не объяснять его ею.

Первым, собственно, осознал уникальную роль этого уникального знака для себя сам писатель. В послесловии к переизданию сведенной в один том трилогии о Роберте его внезапно озаряет интуиция об особом значении для него этого имени, без которого он был бы обречен идти на поводу у традиционных логики и синтаксиса, оставаясь в рамках, как он скажет позже, “сокращенных знаков”, способных убедить встречное сознание в своей знаковости и составляющих код повседневности. Вся определяющая ментальную топологию конкретного “я” внутренняя экономика, будь то, по Саду, экономика позывов или, по Ницше, экономика напряжений-интенсивностей, подлежит при письме прохождению через знаковую решетку социальной обусловленности — фильтр, который, если говорить на не свойственном Клоссовскому языке, пропускает из бессознательного в сознание лишь те продукты мысли, которые подверглись прокрустовской прокатке на семиотических решетках. Ясно, что огромный монолит единого знака не может пройти ни сквозь одну социальную решетку, о которые собственно и бились Сад и Ницше, но важно то, что своим весом он их продавливает, искривляет, нарушает их декартову расчерченность, позволяет выйти на свет сгусткам опыта, освобожденного от просвечивающего присмотра *cogito*.

¹³ Подобный принцип характерен, в частности, для китайской культуры с ее модельным сочетанием инь-ян и вобравшей в себя ключевые архетипы нумерологией. Ср. в этой связи и фразу самого Клоссовского: “Я трактую картину как иероглиф”, и, особенно, неоднократно повторявшееся им же высказывание об обязательно заложенном внутри единственного знака женском начале (рискну сослаться и на собственную попытку заменить в пандан означающему понятие *означаемого* на концепцию *означающей* — напр., в “Западно-восточном паспорту”, опубликовано в книге *Ж. Деррида. Золы угасшй прах*. СПб., Академический проект, 2002, стр. 113—121).

При этом обратным, реактивным движением и сам уникальный знак, функция которого напоминает функцию демона, наделяющего реальным присутствием пустую личину, симулякр божества (демоническое означающее vs. божественное означаемое?), становится своего рода палимпсестом, наслоением бесконечного числа следов других — не то прото-, не то пост- — знаков, наподобие архетипа (опять чуждое Клоссовскому слово!), и проецирует себя на них, и вбирает их в себя: и диктует, и диктуется — бесконечно, непрерывно видоизменяясь, *модифицируясь*.

Актеон читающий

Помимо глубоких философских последствий подобного деяния, подробно, сообразно их статусу, анализируемых великими мыслителями — Фуко, Бланшо, Делезом, — такой подход живо затрагивает и простого, вроде нас, читателя, который, словно Актеон в “Купании Дианы”, мечется между различными, исключаящими друг друга прочтениями: именно здесь коренится странная, но последовательная неудача, на которую обречены попытки воспринять эти тексты в рамках традиционной эстетики (и эстетика понимается здесь максимально широко, не как искусственное искусствоведческое начетничество, а как мощнейший жест мысли, выходящей за свои пределы и пронизывающей все пласты человеческого существования). Да, здесь, то постепенно, то враз ломаются практически все навыки чтения, традиционные читательские привычки, сама та идиоматика и идеология, которые позволяют нам напрямую общаться со свойствами текста, индивидуализировать и тем самым усваивать отраженный в нем экзистенциальный опыт, — и, между прочим, это означает, что автор достиг своей цели.

Если говорить конкретнее, к числу последовательно и радикально игнорируемых Клоссовским постулатов, на первый взгляд, относятся: идентичность или, по меньшей мере, опознаваемость персонажей, непротиворечивость излагаемых фактов, сцепленность временной и логической прогрессий текста¹⁴... Но стоит внимательнее присмотреться к его стратегии, и становится ясно, что на кону здесь, собственно, сами соответствующие концепции: строго очерченной и неделимой инди-

¹⁴ Пара разноплановых примеров подобной расстыковки: чисто формальный — движущееся в прошедшем времени повествование “Бафомета” несколько раз внезапно сбивается на настоящее; смысловой — сцена сна Ожье вмонтирована в основной текст ракоходно: ее начало ранее происходило много позже конца.

видуальности, объективно предстающих фактов, линейно спрямляемого временного измерения, причинно-следственной обусловленности... Что по цепочке, через разрушенное под стройным зданием знания¹⁵ фундаментальное понятие информации (чье главное качество — способность быть переданной), приводит (мы продолжаем двигаться в противояход традиционному причинно-следственному развертыванию) к принципиальному тезису Клоссовского о неперемной ущербности любого (со)общения — ведь невозможность передачи опыта заявлена им даже и для разных измерений одной и той же личности: с одной стороны, “вихрь” Великого Магистра расщепляется то на спирали восприятия, воли и сознания, то на память и забвение, с другой — “Если ты сможешь сказать, что же, воля твоя”, — провозглашает Актеону Диана, подчеркивая помимо всего прочего несообщаемость двух идиомов, зрительного образа и словесного выражения, несообщаемость, жертвой которой, как, того не ведая, напророчил в заглавии своей статьи о нем Фуко, станет сам замолчавший писатель.

Резкая смена оптики возникает уже в “Прологе” к “Бафомету”, — “пародии на исторический роман”, где с самого начала взят объективный тон всеведущего рационального повествователя, с тем большим шоком оборачивающимся для читателя пучком разнородных, вряд ли совместимых, но властно совмещаемых автором повествовательных векторов. К этому прибавляется внезапная смена времени повествования с прошедшего на настоящее; периодически повторяясь на протяжении всего текста, она в первую очередь свидетельствует о смене литературных парадигм: повествование-рассказ уступает место непосредственному представлению — театру, спектаклю, показу. Показ же выводит на первый план жест, жесты персонажей.

Жест как таковой по сути подобен идиоме: он не сводим к рациональной конфигурации смысла, смыслов — и это подчеркивается, в частности, недвусмысленно амбивалентной проработкой всех персонажей на рисунках Клоссовского, жест у которых — сразу и движение, и мгновение двусмысленности, солецизм, антиптоза, силлепсис; особенно это бросается в глаза в чуть ли не независимом поведении самых “красноречивых” частей тела, кистей рук, которые со своей отталкивающе-призывной жестикуляцией становятся центрами эро-

¹⁵ Знание в его современном, т. е. как раз таки основывающемся на понятии информации, понимании, безусловно, является одной из главных мишеней Клоссовского, гностика, но не позитивиста.

тического общения персонажей¹⁶. При этом язык жестов по своему богаче разговорного, поскольку не так ограничен условиями интерпретативных кодов, а связан, скорее, с особенностями личного опыта — как раз того, над недостижимой передачей чего и бьется в своих текстах писатель. Так и оказывается, что телесные идиомы — единственный способ передать непередаваемую природу Дианы или Роберты, Ожье или Великого Магистра.

Theologia theatrica

Не удивительно, что при подобном внимании к телесному воплощению смысла Клоссовски проявляет живейший интерес к театру — не столько как к жанру, сколько как к парадигме двусмысленной сочетаемости духовного и телесного, смыслового и экзистенциального. Театр для него — то особое пространство, в котором происходит встреча общепринятых знаковых кодов с неповторимым своеобразием человеческой души — каковая сама являет собой подобие театра, поскольку служит площадкой для действия разнородных населяющих ее сил. Как и для Арто, театр для Клоссовского служит в первую очередь средством компенсации исходной неполноценности слова, вполне уместного только “в начале” и только “у Бога”.

И именно жест — как противоположность знаку, как воплощенное слово — становится для Клоссовского квинтэссенцией театра. Жесты его персонажей, которые всегда кажутся прерванными, приостановленными (“повешенными”), атрибуты, материальные или символические, которыми он их наделяет, обладают значением и функциями тропов. Они обозначают то, что не имеет имени, придают телесность и цвета тому, что не выражает никакого смысла, ссужает характер его мысли. Характерна фраза Клоссовского из предисловия к своему переводу “Энеиды”: “Эпическая поэма Вергилия — в действительности театр, в котором слова мимируют жесты и состояния души персонажей”.

“Не говорил ли я уже, что, записывая действие этой книги, думал, будто присутствую на спектакле?” — спрашивает Клоссовски в заметках по поводу “Бафомета” (отметим, коли о них зашла речь, что написаны эти заметки были ни много ни мало спустя двадцать два года после самого романа). И это

¹⁶ Характерен один из рисунков Клоссовского к “Купанию Дианы”: на нем Актеон предстает уже почти превратившимся в оленя, человеческой остается лишь одна его рука — та, которой он жадно ласкает богиню.

“театральное” решение последней сцены рельефно подчеркивает ее исключительный характер: дело не столько в том, что она меняет ракурс восприятия всех предыдущих — у Клоссовского (владыки изменений) меняется все и всегда и поэтому ничто никогда не изменяется, — но вводит совершенно новое измерение: личностное (первое лицо; между прочим, авторскому alter ego, брату Дамиану, здесь шестьдесят лет, как и Клоссовскому во время написания романа), ахроничное (явственно современный характер изображаемого), очищенное от предыдущих фантазмов (юноша ни разу не назван по имени, все время “он”, быть может, это и не Ожье).

Интересующий Клоссовского театр *par excellence* — это не рождающаяся из духа музыки греческая трагедия, не наполненный миазмами чумы — пусть даже в балийском своем изводе — театр жестокости, а, прежде всего, анализируемый Августином языческий театр, поздние римские инсценировки мифологических сцен, своего рода продолжение поклонения статуям-симулякрам римских богов, хотя выводы писателя, конечно же, далеки от христианской апологетики отца церкви и целят, скорее, в сравнительный анализ лишь проявляемых на сцене общих мировоззренческих установок античности и христианства — чем ему и близка августиновская *theologia theatrica*, с оглядкой на *theologia fabulosa*, первую из трех теологий Варрона, возводимая во второй и шестой книгах “О Граде Божиим”.

(И, *a parte*, в свете подобного привилегирующего отношения Клоссовского к театру естественно возникает вопрос: а почему он, собственно, ничего для театра не писал? На него есть два ответа; первый, приближенный: он писал для театра — см. об этом подробнее в самом конце; второй, куда более точный, приводит друг Клоссовского, писатель розановского толка (автор не опавших, а *подклеенных листьев*, *Papiers collés*) и, в прошлом, театральный фанатик Жорж Перро: “Его порождения схвачены в ножницы между речью и жестом — и тем самым невозможны в театре, который не допускает воображения, который на нем кончается”¹⁷.)

Реальность присутствия

Эта каноническая формула таинства евхаристии отражает у Клоссовского не только существенные для него конкретные догматические различия, обнаруживаемые в этом вопросе католичеством и протестанством (см. об этом в “Суффлере”), но

¹⁷ Вспомним в этой связи и режиссерские провалы Арто.

и (быть может, прежде всего) весьма нетривиальную коллизию между двумя общими теологическими парадигмами — христианской и языческой, водораздел между которыми составляет догмат о воплощении, меняющий всю перспективу возможных теофаний, отношение к иконическим образам и вообще аксиомы зрительного восприятия. Действительно, в античности статуи имели покровительственный характер, но не были причастны к божественной сущности, тогда как после воплощения образ начинает выражать сверхъестественное в воспроизводящей его плотской, земной реальности

Отсюда, в частности, вытекает сложность языческого *видения* (в пандан к христианскому *взгляду*; ср. у Мессиаана): множественность эпифаний и их непосредственность; непрерывность появлений, исчезновений, метаморфоз. Что не позволяло античному зрителю идентифицировать и тем более удержать явленное. Боги не выдавали ничего из своей сущности, а зритель эпифаний пребывал в вечно неустойчивом, опасном, чреватом катастрофой ожидании — при полной априорной безоблачности своего положения над ним довлел своеобразный иррациональный удел, принимающий в античности форму/образ рока: античная вселенная — это мир, где правит *Unheimliche*.

Отсюда и “бафометовский” закон, наследуемый из нее художественным миром Клоссовского — закон универсального изменения. Проводником этого переноса оказывается, естественно, осуществляющий филиацию между язычеством и христианством Августин (один из чаще всего цитируемых или подразумеваемых Клоссовским авторов — вспомним хотя бы “одного знаменитого хулителя богов”, упоминаемого в “Купании Дианы” или отступление о *theologia theatrica* в длинном примечании к нему). По словам гиппонского епископа, всматриваясь в самое себя, душа зрит отнюдь не нечто неизменное — и, следовательно, видит она заведомо не точно, неправильно. Если писатель некоторое время преследует тождественность одного из персонажей (“физиономию”, как он сам любит говорить), то лишь для того, чтобы тут же ее запутать, его раздвоив или смешав с другим — идет ли речь о Диане или Ожье, не говоря уже о Роберте.

От симулякра к подобию

Философски, с чего начинается свое блестящее эссе Фуко, многие из трактуемых Клоссовским проблем, а также и воображаемых ситуаций, являются преломлением унаследованной из феноменологии (но куда более древней) и столь популяр-

ной в новейшей французской философии — от Сартра до Левинаса, от Делеза до Бодрийяра — общей философской проблематики Того же и Другого (именно так, между прочим, следует переводить французское *l'autre*, а не, как подчас можно прочесть в русских переводах, *Иное*. Как раз куда более грубая, проводящая сущностный раздел идея *инаковости*, исключая свой “диалектический” переход в категорию того же (если иное устроено *иначе*, чем то же, то про другое подобная постановка вопроса просто бессмысленна), остается за скобками, подчеркнуто не имеет места в системе, например, Левинаса, а с другой стороны, обесмысливает само применение этих понятий в приложении к доктрине (“подобию доктрины”, говорит Клоссовски) вечного возвращения Ницше. Иначе говоря, другое (другой) — не обязательно иное (ср. *alter ego*; вообще исходное латинское *alter* — это один из двух, другой, второй, такой же, сходный, иногда — противоположный или переменявшийся, но никогда не иной *по сути*), и это особенно важно в серийной вселенной Клоссовского, в которой инаковость, в силу зыбкости тождественности, постоянно обесмысливается, а другое ведет извечную тяжбу с тем же¹⁸). Сам Клоссовски практически не использует этих двух понятий и не обсуждает их проблематику; его темы — то “подобие доктрины”, каковым является учение о вечном возвращении, и сама идея *подобия*.

При этом постоянно используемое Клоссовским для подобия как образа (во всех контекстах: и литературно-философском, и живописном) слово *simulacre* (лат. *simulacrum*) может привести к недопониманию, ибо не без его легкой руки оказалось в дальнейшем задействовано в качестве одного из терминов — сначала в философских идиолектах, а потом, под влиянием в основном Бодрийяра, и в общефилософском лексиконе. Надо учитывать, что, с легкостью родясь в этой новой своей ипостаси *термина* на русском как экзотический *симулякр*¹⁹, это слово продолжает оставаться во французском (как и в остальных романских языках) самым обычным, не маркированным излишней ученостью, практически обиходным словом.

¹⁸ По-моему, весь этот круг соображений (забудем о французской составляющей айсберга) недоучтен в интересном разборе пары иной/другой у В. Айрапетяна (см. его книгу: Толкуя слово: Опыт герменевтики по-русски, — Языки славянской культуры, М., 2001).

¹⁹ Это нововведение продолжает оставаться одним из самых чужеродных строю русского языка (странным образом двусмысленно — и по смыслу, и по звучанию — рифмуясь с какими-нибудь гюковскими *ляврами*), и его извиняет разве что выходящая в нем на поверхность идея *симуляции*, то есть, в некотором роде, сознательного (следовательно, злокозненного) обмана. (Ср. также предлагавшийся некогда Б. Останиным вариант *симуляж*.)

Именно таким его и подхватил в трех своих работах, посвященных *симулякру* у Платона, Лукреция и Клоссовского, Жиль Делез. В своем анализе он возвращается к появлению этого слова в “Софисте” Платона — то есть в его французском переводе; имеет полный смысл напомнить, что, с одной стороны, в греческом оригинале там стоит отбившееся далеко в сторону на пути из греков в варяги слово *фантазма*, противопоставляемое истинному образу-иконе, а с другой, — что на русский в этом диалоге соответствующее слово передано (в полном соответствии со словарями, от академического XVIII века до Гака-Ганшиной) как *подобие* или *призрачное подобие*.

Именно в этом традиционном значении и использует *симулякр* Клоссовски, и не следует модернизировать его тексты — при всей близости идеи симуляции его вселенной (Фуко: “...столь характерное для Клоссовского и необычайно богатое созвездие: подобие-симулякр, уподобление-факсимильность, одновременность-симультантность, притворство-симуляция и утаивание-диссимуляция”). Нужно, скорее, держать в уме особое, свойственное античности значение этого слова, от которого, собственно, и отправляется Клоссовски. По его словам, из поздней римской эстетики он его и позаимствовал: *симулякры*, статуи или изображения божеств, представлявшие собой помещенные в общественных местах “пространственные и осязательные” видения тем самым явленных в своем присутствии богов, описывались у Филострата Лемносского, Аполлония Тианского, у Апулея. При этом особо заинтересовало Клоссовского то, что они “характеризовали представляемых богов сексуально”, замещая неопределенность их сущности конкретикой пола.

С другой стороны, Клоссовски неоднократно цитирует и Гермеса Трисмегиста: “В невозможности создать душу, дабы оживить подобия богов, призывались и заточались в священных образах души демонов и ангелов, дабы благодаря душам этим наделены были идолаи способностью творить добро и зло”. Про призываемых здесь демонов — согласно представлениям неоплатоников, существ промежуточной между бесстрастными богами и людьми, рабами своих страстей, — про незаменимых посредников между людьми и недостижимыми божествами, и идет, в частности, речь в “Купании Дианы”, причем роль их куда сложнее, чем может показаться *на первый взгляд*: переведившийся Клоссовским Тертуллиан говорит про них: “Демон присутствовал сразу и в вещи, которую наделял зримостью, и в том, кому позволял ее увидеть”. Да, любой вуайерист (или визионер), любой художник — и тем более Клоссовски — одержим демоном и сам являет собой симулякр...

Но вспомним и свидетельство книги Бытия о том, что по образу и подобию Своему сотворил Бог человека...

«Бафомет» — целиком теологический роман, противопоставляющий в качестве двух членов фундаментальной дизъюнкции системы Бога и Антихриста. Строй божественного творения по сути держится на телах и телах отвержен. В божественном строе, в строе существования, тела дают душам, или, скорее, им навязывают, два свойства: тождественность и бессмертие, личностность и воскрешаемость, несообщаемость и целостность[...]

Какова же эта другая сторона — система Бафомета, чистых дыханий или смертных душ? Они не отождествляют себя с личностями, они отложили, отменили подобное отождествление. Тем не менее они обладают некоей своеособостью, множественными особенностями: флуктуациями, образующими на гребне волн нечто вроде фигур. Мы соприкасаемся здесь с той точкой, в которой миф Клоссовского о дыханиях становится также и некоей философией. Похоже, что дыхания — и сами по себе, и в нас — надо понимать как чистые напряженности, интенсивности. Именно в этой форме интенсивных количеств или степеней мертвые духи и обладают “пробавлением”, несмотря на то, что утратили “существование” или телесную протяженность. Именно в этой форме они своеособы, несмотря на то что утратили тождественность своего я. Интенсивности включают в себя неравное или различное, каждая уже в самой себе являет отличие, так что все они включены в проявление каждой из них. Это мир чистых намерений-интенций, объясняет Бафомет: “самолюбие не представляет особой ценности”, “всякое намерение оставалось для намерений проницаемым”, “верх над другим могло взять только намерение, более других насыщенное в прошлом надеждами на будущее”, “ему навстречу приходит другое дыхание, так они взаимно примысливают и предполагают друг друга, но каждое в соответствии с *переменной напряженностью намерения*”. Доиндивидуальные и безличные особенности, величие *Безличия*, особенности, подвижные и сообщающиеся, которые проникают друг в друга в бесконечности градаций, бесконечности изменений. Чарующий мир, где утрачена тождественность “я” — не в интересах тождественности Единого или единства Целого, а в пользу интенсивной множественности и способности превращаться, где друг в друге разыгрываются отношения власти. Это состояние в сравнении с христианским *simplificatio* следует называть *complicatio*. Уже в “Роберте...” было показано усилие Октава проникнуть в Роберту, провести в нее свое намерение (свою интенсивную интенциональность) и тем самым даже передать ее другим намерени-

ям, например, “выдавая” ее насилующим ее духам. И в “Бафомете”, — Тереза вдувается в тело юного пажа, чтобы образовать андрогина или Владыку изменений, который предоставляет себя намерениям других, который готов участвовать в других духах: “Ведь я не создатель, который подчинил само бытие тому, что он создал, то, что создал, — единственному “я”, а это “я” — единственному телу”. Система антихриста — это система призрачных подобий, противостоящая миру тождественностей. Но, отменяя тождественность, прямо когда подобие говорит и говорится, оно занимает и зрение, и речь, вдохновляет свет и звук. Оно открывается к своему различию — и ко всем остальным тоже. Все призрачные подобия поднимаются на поверхность, образуя на гребне волн интенсивности эту подвижную фигуру, насыщенный фантазм.»

Стиль это человек

Фантасмагоричен и язык Клоссовского — этот искусственно “препарированный” язык не столько анахроничен, сколько ахронологичен, чужд как современности, так и архаике (с этим перекликаются и нарочитые анахронизмы, столь редкие на его рисунках: так Фома встречает там Христа в романской базилике, в кельях тамплиеров можно увидеть телефон, Диана носит шляпки и подчас пользуется зонтиком, а рядом со святым Николаем красуется велосипед). При этом от ахронологии не отстает и атопия (можно назвать ее просто утопией): действительно, все поразительно последовательные описания Клоссовского безупречно детальны — но в координатах, принципиально отличных от пространственно-временных.

Да и сам стиль (язык) Клоссовского — вещь столь же противоречивая, как и его, скажем, теоретические построения или их теологические предпосылки. Достаточно упомянуть о небольшом скандале — после присуждения “Бафомету” престижной Премии критиков один из членов ее жюри (кажется почти естественным, что самый маститый), Роже Кайуа, когда-то, во времена Социологического коллежа и “Ацефала”, соратник Клоссовского (и, в первую очередь, Батая), заявил о своем выходе из состава жюри, ибо он не может поступиться принципами — на его взгляд, “Бафомет” является изобилующим банальными *ошибками* надругательством над канонами классического французского языка²⁰.

²⁰ При упоминании о безусловно замечательной фигуре Роже Кайуа хочется, воздавая ему должное, чуть отвлечься и — каза-

Чуть раньше аналогичное, но, естественно, не столь скандальное неприятие вызвал и один из самых радикальных опытов Клоссовского, его перевод “Энеиды”, в котором переводчик стремился сохранить весь языковой театр (или, сказал бы Фуко на языке своей рецензии, *арсенал*) оригинала — от топики до логики, от мимики слов до аффективной жестикюляции фраз, — не останавливаясь перед пересмотром исторически обусловленных условностей классического — и не только! — французского языка. Несмотря на почти что панегирический отклик Фуко, броско озаглавленный “Кровоточащие слова”, эта брюсовская по духу попытка по сю пору остается во Франции альтернативой, маргиналией к магистральному спрямлению латинской (и маллармеанской) извилистости к картезианской планиметрии додерридианского французского.

Именно переводческое родословие Клоссовского и подвигло критику к выявлению в его языковой стратегии (чем она отличается от стилистики?) нескольких четко обьярлыченных страт: в первую очередь, естественно, латинской и немецкой (двух, заметим в скобках, наиболее задействованных теологией языков).

лось бы, неуместно — процитировать по этому поводу строки Мориса Бланшо, посвященные Мишелю Фуко и, в частности, его первому “пропагандисту”, каковым Бланшо, судя по всему, с полным правом, считает Кайуа: “Я напоминаю о роли Кайуа, поскольку она, как мне кажется, до сих пор остается неизвестной. Сам Кайуа далеко не всегда был обласкан официальными авторитетами в той или иной области. Слишком многим он интересовался. Консерватор, новатор, всегда чуть в стороне, он не входил в сообщество охранителей общепризнанного знания. И вдобавок выработал свой собственный, изумительно — иногда до излишества — красивый стиль и в результате счел себя призванным присматривать — весьма придирчивый ревнитель — за соблюдением норм французского языка. Стиль Фуко своим великолепием и своей точностью — качества, на первый взгляд, противоречивые — поверг его в недоумение. Он не мог понять, не разрушает ли этот высокий барочный стиль ту особую, исключительную ученость, многообразные черты которой — философские, социологические, исторические — его и стесняли, и вдохновляли. Быть может, он видел в Фуко своего двойника, которому суждено приобщить его наследие. Никому не по нраву узнать вдруг себя — чужим — в зеркале, где видишь обычно не свою копию, а того, кем хотел бы быть”.

«Естественное место перевода — соседний лист в открытой книге: страница рядом, покрытая параллельными знаками. Тот, кто переводит, ночной проводник, безмолвно переправляет смысл слева направо, через сгиб книжного тома. Без оружия или багажа. Чем это материально обеспечивается, остается его тайной; известно только, что, переправившись через границу, основные подразделения смысла тут же слегка перегруппировываются в подобные же скопления: произведение спасено.

Но слово? Я имею в виду микроскопическое событие, которое произошло в какой-то момент времени и ни в какой другой; которое отложилось на этом участке листа бумаги и никаком другом? Слово как факт соположения и последовательности на той узенькой цепочке, где мы говорим?

Даже буквальные, наши переводы не могут его учитывать; ведь они заставляют произведения скользить по равномерной плоскости языков; ведь они направлены вбок.

Пьер Клоссовски опубликовал нынче вертикальный перевод “Энеиды”. Перевод, в котором слово в слово осуществляется как бы отвесное выпадение латыни на французский — следуя фигуре не подстрочной, а надстрочной:

“Битвы пою и мужа, что первым из Трои ступил в Италию, роком гонимый, на брег Лавинийский”.

Каждое слово, словно Эней, несет с собой двух своих родичей и святое место своего рождения.

Оно падает из латинского стиха на французскую строку, словно его значение не может быть отделено от его места; словно то, что нужно сказать, можно сказать только в точности в той точке, где выпал рок и жребий стихотворения.

Новизна этого кажущегося “слово за словом” (как говорят, “капля за каплей”) велика. Для перевода Клоссовски базируется не на сходстве французского и латыни; он обосновывается в полости их самой большой разницы.

Во французском языке синтаксис предписывает порядок, и последовательность слов вскрывает точную архитектуру управления. Латинская же фраза может подчиняться одновременно двум предписаниям: выявляемому склонением предписанию синтаксиса и другому, чисто пластическому, обнаруживаемому всегда вольным, но никогда не произвольным порядком слов.

Квинтилиан говорил о прекрасной гладкой стене речи, которую каждый может возвести по своему вкусу из разроз-

ненных камней слов. В переводах обычно (но это всего-навсего выбор) со всей возможной точностью воспроизводятся предписания синтаксические. Пространственный же порядок затушевывается, словно для латинян он не более чем хрупкая игра.

Клоссовски рискует поступить наоборот; или, скорее, хочет сделать то, чего никто никогда не делал: сохранить зримым поэтическую предписываемую раскладку, сохранив чуть в стороне, никогда с ними не порывая, необходимые синтаксические сети.

И тогда проявляется вся поэтика “словесного ландшафта”: одно за одним слова покидают свой вергилианский барельеф, чтобы продолжить во французском тексте все ту же битву — тем же оружием, в тех же позах и с теми же жестами. Дело в том, что в линейном развертывании эпопеи слова не довольствуются тем, что говорят о том, о чем рассказывают; они этому подражают, образуя столкновением, бегством, встречами “двойника” приключения.

Они следуют за ним как своего рода отбрасываемая тень; они также ему и предшествуют, словно передовые огни. Они не описывают по своей прихоти судьбу; они ей подчиняются — наравне с волнами, богами, богатырями, пламенем и людьми. Они тоже подвластны фатуму, той самой старой речи, что связывает стих и время. Клоссовски говорит об этом в предисловии: “Кровоточат слова, а не раны”.

Можно сказать, что все начинание основано на химере; что латинский порядок *Ibant obscuro sola sub nocte* имеет совсем другое значение, нежели французское *Ils allaint obscurs sous la désolée nuit*²¹; что инверсия, сдвиг, разъединение двух обычно связанных слов, столкновение двух других, обычно разделенных, говорят по-французски и по-латыни не одно и то же.

Необходимо признать, что существует два сорта переводов; они разнятся и по функциям, и по природе. Первые продвигают в другой язык то, что должно остаться тем же самым (смысл, красоты); они хороши, когда идут “от подобного к тому же”.

И еще есть такие, которые бросают один язык об другой, присутствуют при столкновении, фиксируют падение и измеряют его угол. В качестве метательного орудия они берут оригинальный текст, а целью им служит язык перевода. Задача их не в том, чтобы доставить себе родившийся где-то в другом месте смысл, а в том, чтобы смутить переводимым языком язык перевода.

²¹ Темными шли под унылою ночью.

Можно раскромсать непрерывность французской прозы поэтическим рассеиванием Гельдерлина. Можно также взорвать предписание французского языка, навязав ему процессию и церемонию вергилиевского стиха.

Подобного рода перевод ценен как негатив произведения: он служит ему следом, выщербленным в принимающем его языке. Доставляет он не переписывание, не эквивалент, а пустой и в первый раз несомненной знак своего реального присутствия.

В этой просторной бухте, которая взрезала берега нашего языка, сверкает сама “Энеида”. Среди слов, которые она рассеивает и собирает, она — ускользающая богиня и охотница, Диана за купанием, о которой поведал в ином месте Клоссовски, застигнутая врасплох нагая Артемида, погружающаяся в воду и разъяренная, отдающая на растерзание собственным собакам бесстыдника, чей взгляд не смог сохранить молчание. Она любовно разрывает в клочья прозу, которая одновременно и преследует ее, и подносит ей себя в “столь роковом желании”.

Божественная “Энеида” кое в чем играет для текста Клоссовского ту же убийственную роль, что случайность у Малларме: она подчиняет язык внешней неизбежности, в которой парадоксальным образом открываются причудливые и чудесные возможности. Тем не менее эта неизбежность, сколь бы далекой она не была, не вполне нам чужда.

Внезапное возвращение наших слов в вергилиевские “ландшафты” заставляет французский язык преодолеть в возвратном движении все принадлежавшие ему конфигурации. Читая перевод Клоссовского, проходишь через обустройства фраз, расположения слов, принадлежавшие Монтеню, Ронсару, “Роману о Розе”, “Песне о Роланде”. Здесь узнаешь расклады Ренессанса, там — Средних веков, в другом месте — вульгарной латыни. Все эти распределения накладываются друг на друга, одною только игрою слов в пространстве дозволяя лицезреть долгую судьбу языка.

Великолепием этого строя, чей рельефный ордер он не перестает демонстрировать, текст Клоссовского воссоединяется с латинским истоком нашего языка, как поэма Вергилия достигала истоков Рима; он замечательным образом повествует о связанных с его основанием странствиях, о долгом плавании наугад, грозах и утраченных кораблях, закреплении, наконец, на вечном месте.

И совсем так же, как “Энеида” заставляет отсвечивать из глубин римского мира и порядка былые перипетии и наконец свершившуюся судьбу, это новое произведение Клоссовского заставляет искриться среди нашего языка те возвышенные лан-

дшафты, в которых его поочередно задерживала история. О рождении Рима рассказано на языке, блеск которого делает его прозрачным для рождения французского.

Этот двойник Вергилия есть также и двойник нашего собственного языка, но двойник, который его разрывает и к нему же препровождает. Эта фигура двойного разрушителя привычна Клоссовскому, поскольку она уже господствовала в его собственных сочинениях. Она никуда не исчезала на протяжении всей трилогии о Роберте.

И вот теперь Вергилий, уже старый проводник Данте, становится “Суфлером” нашего языка: он изрекает наш самый древний порядок; из глубины времен он предписывает нашу прозу и на наших глазах искрящимся дуновением ее рассеивает.»

Клоссовски о своем литературном творчестве (1970 г.)

«Мои истинные темы продиктованы одним или несколькими навязчивыми (или “осаждающимися”) инстинктами, которые пытаются найти себе выход сразу и в “действии”,

и в

“инструменте”,

способном наделить факт навязчивостью.

Тем самым продиктованные “воображением” произведения неотделимы от их инструментровки, тогда как неотделимы от них, в свою очередь, и произведения “концептуальные” — в той степени, в которой они сочленимы с самой их оригинальностью.

В этой связи следует сослаться на три мои текста:

— послесловие к “Законам гостеприимства” (“единственный знак”),

— “Философ-злодей” (Сад),

— “Порочный круг” (в особенности добавление, касающееся семиотики Ницше).

Тогда станет лучше виден смысл подобия-симулякра (в том истолковании, которое дал этому термину святой Августин с точки зрения *theologia theatrica* (Варрон), подхваченный мною в “Купании Дианы” и в “Порочном круге” по отношению к фантазму (*Wahnbild* и *Trugbild*).

Три мои основные книги (“Роберта”, “Диана”, “Бафомет”) переходят от картины (сценической) к аргументации (диалогической) и возвращаются от последней к картине. Диалоги перемежаются разнообразными позициями и позами персонажей.

То с лицевой стороны, то с изнанки друг друга; как запутанность тела сопротивляется любым поползновениям рассудка его распутать, так, лишь скрывая немое упрямство чертежей, и доказываются теоремы.»

Смех богов

Да, в творчестве Клоссовского, особенно литературном, невозможно укрыться от всепроникающего, но не имеющего четко очерченного источника смеха. Да, здесь имеют место ирония, юмор, комизм, а прежде всего пародия, но невольно возникает впечатление, что они вторичны: не они вызывают смех, а он служит их причиной. Может, именно это ощущение космической укорененности, встроенности превышающего любую иронию и любой юмор смеха в основы демонстрируемого нам мироздания и побудило Бланшо обмолвиться о смехе богов, смехе бессмертных, который дает нам услышать Клоссовски. Да (смех, как и гром, всегда говорит “да”), здесь имеет место та веселость, которая рождается из абсолютного разрыва, от несообщаемости идиом, самой природы: тот смех бессмертных, о котором упоминает в “Степном волке” Гессе, смех беззлой и неласковый, но все же сочувствующий, схожий со смехом никогда не насмехающегося над своими персонажами Босха и абсолютно чуждый раблезианско-бахтинскому. Веселость онтологическая, ирония мистификации, юмор утаивания, комизм непрявленного, бесстрастная пародия, бич любой семиотики.

Порожденный универсальным разрывом, укорененный во все соединяющем, но и все пустошашем едином знаке, смех этот, поскольку смешны не сломы и разрывы в мироздании, а внезапные их срастания, часто принимает обличие юмора совпадений, узнаваний, случая, каковым далеко не всегда помогает автор, хотя они частенько требуют не вполне традиционной эрудиции²². Если происхождение имен рыцарей-храмников Клоссовски выдает в своих замечаниях (чья юмористичность заключается в чудовищном их запаздывании), то уловить связь между обезглавленным, несущим в руках собственную голову королем и журналом “Ацефал”, эмблема которого (работы Массона) как раз и изображала подобную эмблематическую фигуру, и тем более с одноименным тайным обще-

²² В этом смысле Клоссовски вообще не пытается помочь читателю, который, например, вряд ли догадается, что игра в шахматы считалась в среде Ордена одним из тягчайших проступков, или должен распознавать (Бог с ней, с Библией) цитаты из неупомянутого в тексте Ницше.

ством, где под руководством Жоржа Батая всерьез, на грани практики обсуждалось человеческое жертвоприношение, предоставляется посвященному читателю. То же самое и с именем Бозеан (Beauséant) — совсем уж мало кто из читателей современного романа догадается, что практически так же звучало несколько мистифицированное тамплиерами название их знаменитого двухцветного стяга (Beaucéant). Упоминание похорон невестки Филиппа отсылает к истории Маргариты Бургундской и жесточайше подавленного королем несвоевременного проявления либертинажа — не где-нибудь, а в королевской семье. А чего стоит имя доктора Игдрасиля (с одним г) из “Суфлера”?

И, как всегда, смех — сила, своими раскатами взрывающая любую систему, любую целостность, — у Клоссовского не проясняем: не только не эксплицируем, но даже с трудом локализуем, сплошь и рядом предельно субъективен — пародирует ли кружение муравьяда вокруг распятия идею вечного возвращения? Не пародийны ли по отношению друг к другу дыхания (souffles) из “Бафомета” и название романа “Суфлер”? Уж не кроется ли какая-то особо изощренная ирония за очевидной опiskeй (или опечаткой): “Нестор, отец Ахиллеса”? Не пародирует ли мир “Бафомета”, мир исторгнутых из своих тел душ, наш, современный мир отторгнутых от душ тел? И, наконец, не рождается ли смех из самой серьезности? не демоническое ли это, к примеру, изобретение, присущее симулякрам и их дискурсивным отражениям, стереотипам, каковые выступают в качестве неявной пародии на сужающих им свою жизнь доноров — как богов, так и демонов?

Сад, опять Сад (1970 г.)

«Сад, провозглашая “право сказать все”, тем не менее подчиняет себя неявным запретам классического синтаксиса: тот принуждает его к повторяемости. С точки зрения общепринятого чтения, его сообщение в рамках неукоснительно соблюдаемого синтаксиса становится “нечитаемым”. И вот, именно это “нечитаемое”, порождение повторяемости, и утверждает одержимость (несообщаемую). “Нечитаемое”, как мне кажется, покрывает в этом отношении то, что Ролан Барт называет сегодня “написуемым”; читатель, чтобы не остаться простым “потребителем текста”, приглашается сам “порождать” текст — на основе его написуемости, каковая противоположна потребительской читаемости.

Сад довел многие аргументации до описания самих поступков, даже до картин. Можно отсечь аргументы и “читать” толь-

ко картины. Именно так, как он предполагал, и поступит большинство его читателей. Сам он избегал непосредственно сталкивать читателя с картиной, поскольку картина одновременно и мотивирует его рассуждения, и происходит из них наглядным образом: вторжение “сверхприроды” требует экзегезы, каковая настраивает читателя на “чудо”.

У Сада имеется некий принудительный фантазм, каковой является не тем, что он материально описывает, а тем, что под предлогом описания гнусностей он демонстрирует путем письменной повторяемости. Описанию никогда не исчерпать описываемой картины. Повторяемое описание картины занимает здесь место подобия экстаза.

Исходя из садовской “повторяемости” как доставляемого посредством стереотипов (классического) синтаксиса “ораторского” подобия-симулякра, я, со своей стороны, извлек следующие следствия:

Подчинение цензуре “классического” синтаксиса, или же его неукоснительной, исключаящей любые противоречивые предложения (по образу “аномалий”) логики возвращает в точности к навязчивому принуждению фантазма (не доступного сообщению). Сознательно практикуемые нормативного плана стереотипы (синтаксиса) провоцируют присутствие того, что они очерчивают; их описательность затуманивает неподобающий характер фантазма и в то же время прослеживает контур его смутного облика. Откуда и ощущение диспропорции между неподобающим характером фантазма и его локализацией в стереотипных терминах, каковые выставляют его напоказ под предлогом уклонения от него.

Расшатать синтаксис, дабы “восстановить” фантазм таким, какой он и есть, разложить формы, чтобы воспроизвести их фантазматику, — это выпустить добычу ради тени; или же устранить любое принуждение, никакое из них не осуществляя: во имя тщетной свободы. Без стереотипов синтаксиса, вообще без стереотипов, нет, в свою очередь, и никаких принуждающих подобий.

Любое изобретение того или иного симулякра предполагает господство ранее превалирующих стереотипов, ибо он их деконструирует и в свою очередь навязывает в качестве стереотипа только ради того, чтобы построить себя из их элементов».

И все-таки Ницше

Думаю, прочитав эту книгу, можно догадаться, насколько трудно и главное нелепо пересказывать Клоссовского. Поэтому по возможности и не хотелось затрагивать вскользь тему,

которую невозможно рассматривать в отрыве от самого большого его текста, невероятно насыщенной мыслью книги “Ницше и порочный круг”. Но и не упомянуть в явной форме об общении Клоссовского с самым важным для него мыслителем все-таки невозможно. Поэтому, оставаясь вне бесконечного круга вечного возвращения, подытожим только некоторые моменты, которые так или иначе уже были затронуты выше.

Интерес к Ницше органично проистек из увлеченности писателя маркизом де Садам и возник еще в середине 30-х годов, причем Клоссовски очень рано понял, что на пути утверждения новых форм мысли немецкий профессор зашел куда дальше французского либертена.

По его мнению, в отличие от Сада, который все еще противопоставляет одной общей идее другую, Ницше утверждает абсолютную, неустранимую своеобразность собственного пафоса. Его цель — не заговор, а верховенство или, если пользоваться языком Батая, суверенность, в нем не осталось ничего от садовской попытки перевернуть, вывернуть наизнанку, обратить стадную мысль: здесь отрицание куда более радикально и направлено уже на саму мысль как таковую. Собственно, именно Ницше и обязан Клоссовски своим пониманием впервые упомянутого все в том же послесловии к “Законам гостеприимства” “феномена мысли”: именно Ницше первым отказался от представления о мысли как о некоторой способности (или функции) вырабатывать общезначимые “истины”, каковой постепенно овладевает наш интеллект. В русле идей Ницше, мысль понимается Клоссовским как некая получающая и порождающая знаки машина, питаемая от пронизывающих душу силовых линий: позывов, волений, аффектов — и знаки эти совсем не обязательно входят в код повседневности. Один из главных уроков Ницше состоит при этом в том, что феномен мысли, неразрывно связанный с ее содержанием, является в то же время и особой формой человеческого существования, иначе говоря, умопостигаемое воспринимается человеческой душой только воплощенным в экзистенциальное — и связь этих двух планов (идиомов) и называется метафизикой.

Этот факт и приводит к тому, что у таких маньяков как Ницше и Клоссовски “феномен мысли” вбирает в себя всю жизнь, превращая их в мономанов, — и вынуждает погрузиться в биографию, одновременно с чем так понятая мысль уходит в другую плоскость, вырывается из-под диктата понятий и концепций, не имеет больше дела с “фактами”, но срастается с пафосом. Так что по-своему неизбежно, что в книге о Ницше (сам Клоссовски назвал ее, что тоже характерно для лишенного “фактов” мыслительного пространства, книгой “редкого невежества”) Клоссовски выступает в роли своего рода

биографа, поочередно обращающегося к доктрине и к жизни немецкого философа.

Подчеркнув лишний раз, что Ницше не пытается отыскивать истину, не считает, что это дело философии, Клоссовски со своей стороны утверждает, что философия — это прежде всего “патетическое познание” (выводя отсюда, в частности, и “крен” Ницше к музыке), а его воля к власти является альтернативой обязующей возможности мыслить: “Ницше отвергает всякую мысль, объединенную в единое целое с обязанностью мыслить” и поэтому “развил не философию, а, вне университетских рамок, вариации на личностную тему”, стремясь оправдать “нечаянность своего существования”. Наиболее патетичным памятником на этом пути и становится “Ессе Ното”, на самом деле описывающее или, точнее, показывающее расщепление традиционного автобиографического я, душу во власти разнородных побуждений.

Греза Ницше о множественности личности смыкается с его *amor fati*: ведь это просто приятие бафометовского порядка, веселое согласие с тем, что “я” ни в коем случае не фиксировано в прокрустовых рамках четко о-пределенной личности; пафос в том, что, соглашаясь утратиться, обретаешь бесконечную череду идентичностей²³, способных вобрать в себя и прошлое, и будущее существование, с улыбкой брачешься кольцом вечного возвращения с жизнью во всех ее проявлениях, от старости до юности.

Портрет художника в старости

Автопортрет (Клоссовски, глядя в прошлое): “Имел место абсолютный разрыв с письмом. Переходя от умозрения к тому, что оно отражает, я подпал в действительности под влияние образа. Именно видение требует, чтобы я сказал обо всем том, что оно позволяет мне увидеть. Несомненно, здесь не мешало бы вспомнить о таких позднеантичных авторах, как, например, Филострат Лемносский, которые изобрели отдельный риторический жанр, чтобы представить письмом воображаемые произведения пластических искусств. Или же Апулей, описывающий статую Дианы как произведение искусства. Одно время я и сам думал описывать своих персонажей как статуи, портреты, фигуры на картинах... которым эти персонажи послужили моделью. Но потом верх взяла моральная проблемати-

²³ “В тот момент, когда мне раскрывается Вечное Возвращение, я перестаю быть *hic* и *nunc* самим собою, я способен стать бесчисленным множеством других...”

ка. Я тогда был как раз погружен в чтение святого Августина, то есть в ситуации философской драмы, вращающейся вокруг образа и богословских прений относительно театрального. Образ являлся для меня сгустком непередаваемого опыта. Любое содержание опыта может быть когда-либо передано лишь по концептуальным колеям, проложенным в душах кодом повседневных знаков. И наоборот, этот код повседневных знаков цензурирует всякое содержание опыта. Выход: образ, стереотип. Стереотип обладает функцией затуманивающей интерпретации. Но если его безмерно подчеркнуть, он сам же и начнет осуществлять ее, этой затемняющей интерпретации, критику”.

Портрет чужой — отзывы о Клоссовском как человеке всегда были редки, слишком он сдержан и сложен, но дадим слово его близкому другу Жоржу Перро: “В нем нет ничего сентиментального. Он боязлив в дружбе. Потому что повелителен. Этот человек никогда не станет вашим другом. Но вы его — вполне могли бы стать. Если ему угодно. Но скорее — его сообщником, доверенным лицом, втянутым в его дела наперсником. Незауряден. Знакомство с ним невозможно забыть, и какое странное, какое неожиданное подтверждение тому, что я пытаюсь нашарить: год назад, когда мы собирались выйти из автобуса, какой-то крестьянин обернулся к П. К., которого никогда и в глаза не видывал, и безо всякого предупреждения вдруг сказал ему: “У вас, сударь, совершенно необыкновенная улыбка!”. Да. И не эту ли же самую улыбку я нахожу и в его творчестве, которое может давать повод стольким интерпретациям, но ее никуда не выкинуть. Улыбка всегда присутствует в нем словно нежная нота, не всегда одинаково насыщенная, ибо подчас на нее набегают тень злокозненности; улыбка, которая обволакивает, оберегает, затеняет...”.

И, наконец, собственно о художнике.

Стиль рисунков Клоссовского с годами меняется слабо, хотя и можно выделить в его живописи (мы в очередной раз не отличаем ее от графики) определенные периоды. С чисто ремесленной стороны за каждым его рисунком стоит огромный труд: чтобы покрыть сеть тончайших разноцветных линий, большинство из которых находится художником в процессе проб, огромный лист (как правило, формат его рисунков варьируется от полутора метров на метр до двух метров на полтора) не владеющему академически поставленным рисунком любителю требуется масса усилий и усидчивости. По живописной манере они столь же несвоевременны — причем во все времена, — как и мысль (в отличие от Ницше, все же не готовая назвать себя *размышлениями*), как и книги Клоссовского; их стиль идет вразрез как с академизмом, так и, в еще большей степени, с антиакадемизмом. Сам Клоссовски всегда под-

черивал, что в своей живописи опирается на многовековую традицию, ведущую от поздних римских фресок и мастеров итальянского Ренессанса и, добавим, маньеризма к академизму театрализованных полотен Давида и неоклассицизму Энгра, но при этом многим обязан и визионерам-одиночкам — Блейку и, особенно, Фюсли. Приходят на ум и другие имена, близко соприкасающиеся с его живописью той или иной своей гранью: рисованные истории Клингера, паутинные рисунки обнаженных Климта, темный пафос идиосинкразии Кубина... И, наконец, Клоссовски в своей живописи так же провокационно намекает на искусительность находящейся где-то рядом с ним и, стало быть, с нами, за неуловимой, но никогда не переступаемой гранью, порнографии, как поступает его младший брат с эротикой.

И на самый конец, все же, мой собственный взгляд: Клоссовски представляется мне одновременно зрелым — какой-то гипертрофированной зрелостью, включающей в себя и старость, но ни коим образом к старости не сводящейся; и юным — той детскостью, которая за чтением “Айвенго” еще с трудом провидит приближающееся отрочество и страстно и с опаской его предвкушает; чудовишно искушенным в путях культуры и совершенно, хронически неискушенным, вечно девственным в том, что предстоит ему самому.

Вечный отрок

Призвание может быть прервано, но его невозможно отменить. Тем более, когда сквозь него просвечивает преследующее всю жизнь видение прекрасного отрока, тем более, когда при помощи слова предлагается облечь в театральную плоть то, что, по рассказу в замечаниях к “Бафомету”, в виде спектакля некогда и провиделось: “Вновь поднимается занавес...”. И более двух лет по заказу одного из венских театров Клоссовски, не прекращая рисовать, komponует новую, сценическую, версию “Бафомета”, мечтая о спектакле, “который будет длиться больше трех часов”. Пьеса так и не будет поставлена, но на пороге своего девяностолетия Клоссовски все же публикует ее, прервав свое почти двадцатипятилетнее писательское молчание, столь дорог ему его “Вечный отрок”, каковым в душе он всегда и оставался...

*В. Лапицкий
Санкт-Петербург — Париж,
апрель — май 2002.*

Пьер Клоссовски

Бафомет. Купание Дианы. Приложение: М. Фуко. Проза Актеона / Пер. с франц. В. Лапицкого — СПб.: Академический проект, 2002. — 304 с.

Пьер Клоссовски (1905—2001) — одна из самых загадочных фигур в европейской культуре XX века. “Бафомет”, последнее художественное произведение писателя, получил в 1965 году престижную Премию Критиков. Писатель, в равной степени освоивший учение отцов церкви, взрывную мысль маркиза де Сада и вечное возвращение Ницше, по словам критика, стоит в этом романе “одной ногой в семинарии, а другой — в борделе”: действительно, с утонченной иронией теологические и метафизические построения сплетаются здесь с изысканно извращенной эротикой. В центре романа — фантастическое переосмысление знаменитой исторической легенды об ордене тамплиеров.

В книгу включено также развернутое эссе Клоссовски “Купание Дианы”, в котором огромная эрудиция автора смешивается с плодами самого прихотливого воображения, и посвященная творчеству писателя статья М. Фуко “Проза Актеона”.

Переплет *Ю. С. Александров*
Художественный редактор *В. Г. Бахтин*
Компьютерная верстка *А. Е. Сакулин*
Корректор *О. И. Абрамович*

ЛР №066191 от 27.11.98

Подписано в печать 20.08.2002. Формат 84×108/32
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times.
Усл. п. л. 12. Уч. изд. п. л. 14. Тираж 3000 экз.
Первый завод 1000 экз. Заказ № 3637

Гуманитарное агентство “Академический проект”
191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 26

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Академической типографии «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

Гуманитарное агентство
«Академический проект»

Французский писатель и мыслитель Пьер Клоссовски (1905—2001) — одна из самых загадочных фигур в европейской культуре XX века. Его жизнь насыщена и громкими именами (он — брат художника Бальтюса, ученик и друг Рильке и Жида, соратник Батая, переводчик, среди прочих, «Энеиды» и «Воли к власти», «Логико-философского трактата» и «Ницше» Хайдеггера, старший друг Фуко), и проявлениями своего рода возвышенного радикализма, от участия в знаменитом тайном обществе «Ацефал» до отказа от писательства ради рисования...

Роман «Бафомет» — последнее художественное произведение писателя — получил в 1965 году престижную Премию Критиков. В центре романа, в котором теологические и метафизические построения сплетаются с изысканно извращенной эротикой, — фантастическое переосмысление знаменитой исторической легенды об ордене тамплиеров. Не менее необычно и эссе «Купание Дианы», в котором огромная эрудиция автора причудливо смешивается с плодами самого прихотливого воображения, отражая классическую историю Актеона в череде противоречивых образов.

ISBN 5-7331-0244-6



9 785733 102443

